

КРЕМЛЕВСКИЕ НЕВЕСТЫ

ВАЛЕНТИНА КРАСКОВА

ВАЛЕНТИНА КРАСКОВА

**КРЕМЛЕВСКИЕ
НЕВЕСТЫ**



Новое произведение Валентины Красковой
«Кремлевские невесты» —

Это повествование о женщинах,
судьбы которых тем или иным образом были
связаны с Кремлем.

Поиски себя и своего места в сложном мире
заговоров и интриг, неограниченная власть
и внутреннее одиночество,
предательство и истинное благородство
характеров, спецобеспечение
и концентрационные лагеря
пройдут перед глазами читателя.



ВАЛЕНТИНА КРАСКОВА

КРЕМЛЕВСКИЕ НЕВЕСТЫ

**МИНСК
ЛИТЕРАТУРА
1996**

ББК 63.3(2)

К78

УДК 947

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части, а также реализация тиража запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Краскова В. С.

К78 Кремлевские невесты.— Мн.: Литература, 1996.— 480 с.

ISBN 985-437-079-8.

Новое произведение Валентины Красковой «Кремлевские невесты» — это повествование о женщинах, судьбы которых тем или иным образом были связаны с кремлевскими обитателями. Поиски себя и своего места в сложном мире заговоров и интриг, неограниченная власть и внутреннее одиночество, предательство и истинное благородство характеров, спецобеспечение и концентрационные лагеря проходят перед глазами читателя. Жены, сестры, дочери, любовницы и просто невинные жертвы — встречаются под одним переплетом в романе Валентины Красковой.

К 9470000000

ББК 63.3(2)

ISBN 985-437-079-8

© Литература, 1996

ОТ АВТОРА

Эта книга — продолжение книги «Кремлевские дети», подготовленной мною к печати в 1994 году. «Кремлевские дети» по своей сути являлись результатом чтения «с карандашом в руках» (пометки на полях, конспектирование). В свое время римский писатель Авл Геллий ночами читал и делал выписки для того, чтобы люди, которым не попала в руки та или иная книга, узнали о ней хотя бы из его заметок. Так возникли «Аттические ночи» — плод бессонных ночей и чтения «с карандашом в руках». Не хочу показаться нескромной, но примерно так же появились «Кремлевские дети» и данная книга.

Как говорил китайский писатель семнадцатого века Чжан Чао: «Собирать книги не трудно, трудно уметь просматривать книги. Просматривать книги не трудно; трудно уметь читать книги. Читать книги не трудно, трудно уметь использовать прочитанное. Использовать прочитанное не трудно, трудно уметь запомнить».

Я читала мемуары кремлевских обитателей, пытаясь воссоздать бытовую модель. Мне хотелось соорудить что-то вроде музейного макета: дома, квартиры, дачи, с которых в любой момент можно снять крышу и заглянуть внутрь, не боясь обидеть жильцов, — ведь все это прошлое. Было и прошло. Да мы и не затронем самого сокровенного, просто — посмотреть хочется.

Для меня это была своего рода увлекательная игра. Поэтому я с сомнением отнеслась к предложению

издать «Кремлевских детей» отдельной книгой. Я не верила в свой талант. Меня просто интересовало: были ли дети советских вождей теми «яблочками», которые не падают далеко от «яблони»? Была ли их жизнь «слаще меда»? И, соответственно, я самостоятельно пыталась разобраться в этих проблемах.

Судьба моей первой книги была поистине фантастической. Я с удивлением поняла, что она пользуется популярностью. Более того: «Кремлевские дети» были переведены на японский язык и были изданы в Японии. Иногда я представляю их стоящими на полке современного супермаркета.

И вновь вспомнились слова мудрого Чжан Чао: «Литературное произведение — это узорчатая вышивка, содержащая слова и фразы. Узорчатая вышивка — это литературное произведение без слов и фраз. У обоих общие истоки...

Посадив цветы, надо увидеть их, когда они распустятся.

Ожидая восхода луны, надо увидеть ее полной.

Начав писать книгу, надо увидеть ее законченной.

Что же до красавицы, то ее надо видеть веселой и счастливой.

Только тогда цель достигнута. Иначе все это ни к чему».

Успех приободрил меня, я поверила в свои силы. Кремлевские дети выросли. Сыновья приводили в дом своих невест, дочери спешили замуж. Далеко не всегда могущественные родители встречали эти браки с восторгом. Смотря на своих детей, кремлевские матери вспоминали молодые годы, время, когда

сами делали жизненный выбор... Не жалели ли они о нем?

Как справлялись женщины с испытанием властью, с теми самыми привилегиями, о которых в своей «Исповеди на заданную тему» писал Борис Николаевич Ельцин:

«Угодливость и послушание оплачивается льготами, спецбольницами, спецсанаториями, прекрасной «цеховской» столовой и таким же замечательным столом заказов, «кремлевкой», транспортом. И чем выше поднимаешься по служебной лестнице, тем больше благ тебя окружает, тем больше и обиднее их терять, тем послушнее и исполнительнее становишься. Все продумано. Зав. сектором не имеет личной машины, но имеет право заказывать ее для себя и для инструкторов. Заместитель заведующего отделом уже имеет закрепленную «Волгу», у заведующего «Волга» уже другая, получше, со спецсвязью.

А если уж ты забрался на вершину пирамиды партийной номенклатуры, тут все — коммунизм наступил! И оказывается, для него вовсе не надо мировой революции, высочайшей производительности труда и всеобщей гармонии. Он вполне может быть построен в отдельно взятой стране для отдельно взятых людей.

Про коммунизм — это я не утрирую, это не просто образ или преувеличение. Вспомним основной принцип светлого коммунистического будущего: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Тут все именно так. Про способности я уже говорил, их, к сожалению, не слишком много, зато потребности!.. Потребности так велики, что настоящий

коммунизм пока удалось построить для двух десятков человек.

Коммунизм создает Девятое управление КГБ. Всемогущее управление, которое может все. И жизнь партийного руководителя находится под его неусыпным оком, любая прихоть выполняется. Дача за зеленым забором на Москве-реке с большой территорией, с садом, спортивными и игровыми площадками, с охраной под каждым окном и с сигнализацией. Даже на моем уровне кандидата в члены Политбюро — три повара, три официантки, горничная, садовник со своим штатом. Я, жена, вся семья, привыкшие все делать своими руками, не знали, куда себя деть, — здесь эта, так сказать, самостоятельность просто не допускалась.

Удивительно, что эта роскошь не создавала удобства или комфорта. Какую теплоту внутри жилого помещения может создавать мрамор?

С кем-то просто повстречаться было почти невозможно. Если едешь в кино, театр, музей, любое общественное место, туда сначала отправляется целый наряд, все проверят, оцепят, и только потом можешь появиться сам. А кинозал есть прямо на даче, каждую пятницу, субботу, воскресенье специально появляется киномеханик с набором фильмов.

Медицина — самая современная, все оборудование импортное, по последнему слову науки и техники. Палаты — огромные апартаменты, и опять кругом роскошь: сервизы, хрусталь, ковры, люстры... А врачи, боясь ответственности, по одиночке ничего не решают. Обязательно собирается консилиум из пяти, десяти, а то и более высококвалифицированных

специалистов. В Свердловске меня наблюдал один врач, Тамара Павловна Курушина, терапевт, знала меня досконально, в любой ситуации точно ставила диагноз, сама решала, как поступить, если появилась головная боль, недомогание, простуда, слабость.

К этим безответственным консилиумам в четвертом управлении я относился с большим подозрением. Когда перешел в обычную районную поликлинику, у меня вообще перестала болеть голова, стал чувствовать себя гораздо лучше. Уже несколько месяцев не обращаюсь к врачам. Может быть, это совпадение, но очень символичное. А когда ты — в Политбюро, то закрепленный только за тобой врач обязан ежедневно осматривать тебя, над ним как дамоклов меч висит отсутствие профессиональной, человеческой свободы.

«Кремлевский паек» оплачивается половиной его стоимости, а входили туда самые отборные продукты. Всего спецпайками разной категории в Москве пользовалось 40 тысяч человек. Секции ГУМа специально предназначены для высшей элиты, а контингент начальников чуть пониже — уже другие спецмагазины, все по рангу. Все спец — спецмастерские, спецбытовки, спецполиклиники, спецбольницы, спецдачи, спецобслуга... Какое слово! Помните, понятие «спец» — специалист, особо одаренный. Левша блоху подковал, другие тысячи и тысячи мастеровых, которые действительно были спецами. А теперь это слово «спец» имеет особый смысл, всем нам хорошо понятный. Тут самые отличные продукты, которые готовятся в спеццехах и проходят особую медицинскую проверку; лекарства, имеющие не-

сколько упаковок и несколько подписей врачей, — только такое «проверенное» лекарство и может быть применено. Да мало ли таких «спец» в самых, казалось бы, незначительных мелочах, взлелеянных системой?!

Отпуск — и выбирай любое место на юге, спецдача обязательно найдется. Остальное время дачи пуствовали. Есть и другие возможности для отдыха, поскольку, кроме обычного летнего отпуска, существует еще один — зимний — две недели. Есть замечательные спортивные сооружения, не только для спецпользования, например, на Воробьевых горах — корты, закрытые и открытые бассейны, большой бассейн, сауна.

Поездки — персональным самолетом. Летит ИЛ-62 или ТУ-134 — в нем секретарь ЦК, кандидат в члены или член Политбюро. Один. Рядом лишь несколько человек охраны и обслуживающий персонал.

Тут забавно то, что ничего им самим не принадлежит. Все самое замечательное, самое лучшее — дачи, пайки, отгороженное от всех море — принадлежит системе. И она как дала, так и отнять может. Идея по сути своей гениальная. Существует некий человек — Иванов или Петров, неважно, растет по служебной лестнице, и система выдает ему сначала один уровень спецблаг, поднялся выше — уже другой, и чем выше он растет, тем больше специальных радостей жизни падает на него. И вот Иванов проникается мыслью, что он лицо значительное, ест то, о чем другие только мечтают, отдыхает там, куда остальных и к забору не подпускают. И не понимает

глупый Иванов, что не его это так облагодетельствовали, а место, которое он занимает. И если он вдруг не будет верой и правдой служить системе, сражаться за нее, на месте Иванова появится Петров или кто угодно другой. Ничто человеку в этой системе не принадлежит. Сталин умудрился отточить этот механизм до такого совершенства, что даже жены его соратников не принадлежали им самим, они тоже принадлежали системе. И система могла отобрать жен, как отобрала у Калинина, Молотова, а они даже пикнуть не посмели.

Нынче, конечно, времена переменялись, но суть осталась. Также некий широкий ассортимент благ выдается месту, которое кто-то занимает, но на каждом благе, начиная от мягкого кресла с жестким номерным знаком и кончая дефицитным лекарством со штампом Четвертого управления, печать системы. Чтобы человек, который по-прежнему — винтик, не забывал, кому на самом деле все это принадлежит.

При каждом из секретарей ЦК, члене или кандидате в члены Политбюро существует старший группы охраны, он же порученец, организатор. Моего старшего внимательного человека звали Юрий Федорович. Одна из основных его обязанностей заключалась в том, чтобы организовать выполнение любых просьб своего... чуть было не сказал — барина, своего подопечного.

Надо новый костюм справить, пожалуйста: ровно в назначенное время в кабинете тихонечко раздастся стук, портной в комнатке обмеряет тебя сантиметром, на следующий день заглянет на примерку, и извольте — прекрасный костюмчик готов.

Есть необходимость в подарке для жены на 8 марта. Тожe проблем нет: принесут каталог с целым набором вариантов, который удовлетворит любой, даже самый изощренный женский вкус, — выбирай! Вообще, к семьям отношение уважительное. Отвезти жену на работу, с работы, детей на дачу, с дачи — для этих целей служит закрепленная «Волга» с водителями, работающими посменно, и с престижными номерами. «ЗИЛ», само собой, принадлежит отцу семейства.

Забавно, что вся эта циничная по сути своей система вдруг дает циничный сбой по отношению к родным главы семейного клана. Например, когда охрана проводила инструктаж с женой и детьми, было потребовано, чтобы они не давали мне овощи и фрукты с рынка, поскольку продукты могут быть отравлены. И когда дочь робко спросила, можно ли есть им, ей ответили: вам можно, а ему нельзя. То есть вы — травитесь, а он — святое...

Что чувствовала женщина в кремлевских коридорах власти? Являлась ли она тем, что из нее делали? Ведь очень часто встречается не противопоставление мужчины и женщины, а женщины и человека. Или женщины и политика, женщины и писателя, женщины и художника. Бытует мнение: женщины-писательницы пишут плохо, то есть настоящие писатели пишут хорошо, а женщины пишут плохо; настоящие художники работают профессионально, а женщины делают это плохо; настоящие политики занимаются политикой хорошо, а женщины — плохо.

Известно, что средневековые аскеты выступали против самого института брака. Брак был заклеимен,

признавался «делом рук Сатаны», а фокусом зла считалось женское тело. Писатель Тертуллиан (160—230 годы новой эры) заявлял, что женщина — это красивый храм, воздвигнутый над большой пропастью.

Американская журналистка и поэтесса Наоми Вулф в своем эссе «Миф о красоте» рассуждала так:

«Общество рассказывает себе сказки точно так же, как это делается в обычных семьях. Генрик Ибсен называл их «необходимой ложью», а психолог Диниел Гоулман пишет, что они действуют на социальном уровне так же, как и внутри семьи. «Тайный сговор поддерживается отвлечением внимания от страшного факта или изменением его значения до приемлемого вида». Цена такой социальной слепоты, пишет он, — разрушительные общественные иллюзии.

Это не просто идея, она приобретает трехмерность, она становится Железной Девой. Настоящая «железная дева» была средневековым орудием пытки — футляр в форме тела с нарисованным туловищем и чертами прекрасной улыбающейся молодой женщины. Несчастную жертву медленно закрывали внутри, крышка захлопывалась, лишая возможности двигаться, и человек погибал или от голода, или от металлических шипов, вделанных внутри. Современная иллюзия, в которую, как в ловушку, женщины попадают или заключают себя добровольно, так же неподвижна и жестока и так же разукрашена для приличия. Современная культура привлекает внимание к внешнему виду Железной Девы, в то же время подвергая цензуре тела и лица настоящих женщин.

Почему общественный строй чувствует потребность защищаться, игнорируя факт существования реальных женщин, наших лиц, голосов и тел и сводя значение женщин к бесконечно воспроизводимым «прекрасным шаблонам»?

Я так думаю, что существует не только миф о красоте, но и миф о социальном положении. По крайней мере, в нашем обществе это действительно миф. Потому что сегодня это положение одно, а завтра совсем другое. Как говорится, «из грязи в князи» и обратно.

Я только хочу, чтобы вы прислушались к голосам кремлевских невест. Насколько все услышанное будет соответствовать реальности — судите сами.

Плутарх в знаменитом «Наставлении супругам» писал:

«Удаляясь от солнца, луна сияет ярко и отчетливо, но мерцает и становится невидимой, оказавшись рядом; целомудренная же супруга, напротив, должна показаться на людях не иначе, как с мужем, а когда он в отъезде, оставаться невидимой, сидя дома.

Тела, как утверждают философы, бывают трех видов: одни состоят из обособленных частей, как, например, флот или стоящее лагерем войско, другие — из сопряженных частей, как дом или корабль, третьи образуют единое, строящееся целое, как всякое животное. Примерно так же и супружеский союз, если он основан на взаимной любви, образует единое, сросшееся целое; если он заключен ради приданого или продолжения рода, то состоит из сопряженных частей; если же только затем, чтобы вместе спать, то состоит из частей обособленных, и такой брак пра-

вильнее считать не совместной жизнью, а проживанием под одной крышей. Словно жидкости, которые, по словам естествоиспытателей, смешиваясь, растворяются друг в друге без остатка, вступающие в брак должны соединить и тела, и имущество, и друзей, и знакомых.

Недаром римский законодатель воспретил супругам обмениваться подарками: для того чтобы они не могли иметь своего личного имущества и все считали общим».

Послушайте, что говорят сами женщины, и то, что о них сообщают другие.

Ведь каждый человек действует или говорит так, а не иначе, в силу определенных причин. Не осуждайте никого, не подумав об этом. Выявив скрытую причину слов или поступка, вы сможете понять человека. Можно сказать: получите ключ к его личности. Поняв причину, мы не сможем отвергать следствие.

Валентина Краскова, 1996 год.

ВЕНЧАНИЕ ПОД ГЛАСНЫМ НАДЗОРОМ ПОЛИЦИИ

23 июня 1889 начальнику самарского губернского жандармского управления было направлено секретное донесение: «4 минувшего мая прибыла состоящая под гласным надзором полиции Анна Ульянова на хутор при деревне Алакаево... Вместе с ней прибыли ее мать, сестры Ольга и Мария, брат Владимир, состоящий под негласным надзором полиции, и бывший студент, сын крестьянина Марк Тимофеевич Елизаров, человек сомнительной политической благонадежности».

Чтобы обвенчаться, она как состоящая под гласным надзором полиции должна была подать прошение, заявить о желании «выйти в замужество за действительного студента С.-Петербургского университета Марка Тимофеевича Елизарова».

Ходатайство было удовлетворено. Свадьба состоялась. В советской литературе был целый ряд писателей, посвятивших себя «воссозданию первых лет советской власти и образов соратников Ленина». Драбкина Елизавета Яковлевна — одна из этих писателей. Особенно привлекали ее образы женщин-соратниц, среди которых, конечно, оказалась и старшая сестра Ленина.

Анна Ильинична Ульянова, по мужу Елизарова, была старшей из детей в семье Марии Александровны и Ильи Николаевича Ульяновых. Она родилась в 1864 году и умерла в 1935-м, прожив более долгую

жизнь, чем все ее братья и сестры. На ее глазах они росли, становились подростками, молодыми людьми, революционерами. Она видела, как формировались их характеры, убеждения. Ближе, чем кто-либо другой, была она брату Александру. Перед ней прошла вся жизнь Владимира Ильича. В ее семье прожила много лет и умерла мать, Мария Александровна.

Хотя старший брат и не посвятил ее в тайну готовившегося 1 марта 1887 года покушения на царя, но у них были общие товарищи и друзья, она жила в кругу тех идей, которыми жил и во имя которых погиб Александр Ульянов. Арестованная по его делу, она отбывала ссылку в селе Кокушкино, неподалеку от Казани. Полгода спустя туда же был сослан брат Владимир, и они прожили в самом тесном общении — сперва в Кокушкине, а потом в Казани, Алакаевке и Самаре — несколько лет, которые, по словам Анны Ильиничны, были «самыми важными, пожалуй, годами в жизни Владимира Ильича: в это время складывалась и оформилась окончательно его революционная физиономия».

В 1917 году у нее в квартире на Широкой улице жили по возвращении в Россию Владимир Ленин и Надежда Крупская. После Октября Анна Ильинична работала в Наркомпросе в отделе охраны детства, а затем была одним из создателей Ист-парта и журнала «Пролетарская революция».

Из далекой глубины десятилетий перед нашим мысленным взором возникают запомнившиеся девочке Ане длинный-длинный гимназический коридор, квартира из идущих в ряд комнат, площадь перед зданием гимназии, бассейн посреди площади и

окружающие его бочки водовозов, мелькающие в их руках черпаки с деревянными ручками. Аллеи, спускающиеся по крутому склону к Волге. Тонкая фигура матери. Крохотный брат Саша. Случай, едва не закончившийся трагически: Саша, заигравшись, сорвался с откоса и маленьким комочком покатился вниз, а мать от страха закрыла глаза рукой. Любимая игра: в зальце и столовой расставлены стулья, изображающие тройку и сани. Саша — за кучера. Он увлеченно размахивает кнутиком, Аня сидит рядом с матерью сзади. Мать описывает восхищенным детям дорогу, по которой они «едут», лес, отягченные снегом ветви деревьев, дорожные встречи. Первые уроки грамоты, которые давала мать. Наклеив на картон вырезанные из бумаги буквы, она учила Аню складывать их в слова. Саша играл рядом. И вдруг оказалось, что он тоже знает буквы, собирает из них слова, читает не хуже Ани. На дошедшей до нас старинной фотографии мы видим девочку в сапожках. Рядом с ней — кудрявый темноглазый мальчик, одетый в просторную белую рубашку. Ане около десяти лет, Саше — восемь. Она сидит, он стоит, положив руку на ее плечо. В той доверчивости, с какой лежит эта детская рука, чувствуется неразлучная дружба, соединявшая брата и сестру. Лица детей не по годам сосредоточенны и серьезны. И, что всего примечательнее, Аня держит раскрытую книгу. Надо знать Россию того времени, чтоб понять, насколько характеризует облик семьи книга в руках ребенка, а тем более девочки.

«Я считаю, — писала она полвека спустя, — что пора детства имеет огромное, решающее значение

для всей последующей жизни. А затем, в детских поступках и проявлениях, когда человек не научился еще подчинять свои действия влияниям ума и рассудка, когда он непосредствен, чужд всякой приспособляемости, натура его видна, как в зеркале. И поэтому отражение некоторых ребяческих поступков детского периода может иногда дать для познания взрослого человека больше, чем иные сознательные и обдуманые поступки его, — во всяком случае может многое дополнить. Недаром так дороги эти проявления для чуткой матери, воспитательницы; недаром жены познают иногда, к своему удивлению, в детях те или иные, не вполне для них ясные свойства ума и характера своих мужей...

Достигнув отрочества, она (одна во всей семье) начинает писать стихи. Старшая среди детей, она первой оканчивает гимназию. Впереди — Петербург, Бестужевские Высшие женские курсы. Но она решает подождать Сашу и поехать в Петербург вместе с ним. А пока читает, учится, чтоб восполнить пробелы в образовании, которые оставляла после себя тогдашняя средняя школа вообще, а женская в особенности.

Последняя длинная осень, последняя долгая зима. И последнее лето в любимом всей семьей Кокушкине, навсегда оставившем в душе Анны Ильиничны воспоминания о самой милой и мечтательной поре ее жизни. «Это было то поэтическое время «детства с двумя-тремя годами юности», о котором Герцен говорит, что это — «самая настоящая, самая изящная часть жизни», — писала впоследствии Анна Ильинична...

Александр, а следом за ним Анна Ульяновы приехали в Петербург в то время, когда город был глубоко взбудоражен: только что в Париже умер Иван Сергеевич Тургенев. Согласно его последней воле, он должен был быть похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища, рядом с Белинским. 26 сентября 1883 года гроб прибыл в Петербург.

Никогда Россия не видала таких похорон, такой открытой скорби о скончавшемся писателе. С самого утра 27 сентября громадные толпы стояли вдоль улиц, по которым должен был проследовать траурный кортеж, растянувшийся на две с половиной версты. Как ни велика была похоронная процессия, она была с обеих сторон сжата кольцом казаков: ведь хоронили неодобряемого правительством, неудобного ему писателя. Полицейские наводняли и улицы, и кладбище, куда пропустили очень немногих. Среди тех, кто заполнял в этот день петербургские улицы, были Анна и Александр Ульяновы. Они пытались прорваться на кладбище, но полицейские их оттеснили. Потом они слышали со слов тех, кому удалось присутствовать при погребении, какое тягостное настроение там было.

В этот же день в Петербурге был распространен листок, напечатанный в одной из последних сохранившихся типографий «Народной воли» и посвященный памяти Тургенева, впервые опубликовано его стихотворение в прозе «Порог».

Вы его помните?

«Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью — угрюмая мгла. Перед высо-

ким порогом стоит девушка... Русская девушка».

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с ледящей струей выносятся из глубины здания медлительный, глухой голос:

«О ты, что желаешь переступить этот порог, — знаешь ли ты, что тебя ожидает?»...

«Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь, самая смерть?»...

«Отчуждение полное, одиночество?»...

«...Ты готова на жертву?»...

«На безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!»...

— Знаю и это. И все-таки я хочу войти, — отвечает девушка.

Прочли ли этот подпольный листок, узнали ли уже тогда это стихотворение темноглазые юноша и девушка, которые бродили в тот день по улицам огромного города, или же они познакомились с ним потом?

Это нам неизвестно.

Она боялась расспрашивать о чем-либо брата, но все же изредка, не выдержав, задавала ему вопросы. И всегда, словно на скалу, наталкивалась на его твердое молчание. Чувствуя, что брату грозит неведомая ей беда, она металась, пробовала разговаривать о нем с близкими друзьями, не спала ночей. Сидеть над книгами у нее не хватало сил. В пятницу, 27 февраля, она поехала в деревню Волково, чтобы послушать там урок учителя народной школы. Но слушала невнимательно и быстро ушла. Проходя мимо Волкова кладбища, заглянула туда. В то время

она и думать не могла, что здесь суждено покоиться ее сестре, матери, мужу и ей самой. Вся в слезах долго бродила среди могил. На обратном пути заблудилась. С трудом найдя дорогу, вышла на Петербургскую сторону. И вдруг увидела Сашу.

— Откуда ты? — спросил он. Узнав, что с кладбища, удивился. Что-то пробормотал и пошел своим путем. Это была их последняя встреча.

Примерно за год до ареста и гибели Саши в жизнь Анны Ильиничны вошел новый человек: Марк Тимофеевич Елизаров. Знакомство с ним произошло как бы «по цепочке»: сперва его узнал Саша, встретившись в студенческом землячестве, потом Саша познакомил с ним сестру.

Скрытная, как всегда там, где это касается ее самой, Анна Ильинична почти не рассказывает о Марке Тимофеевиче. Впервые она упоминает о нем лишь в связи с добродюбовской демонстрацией и даже в переписке с подругой Надей его имя называет не раньше чем через год по приезде в Кокушкино. Уже к моменту ареста Анны Ильиничны родные и друзья смотрели на Марка Тимофеевича и на нее как на жениха и невесту. В прошении на имя директора департамента полиции Дурново Мария Александровна, ходатайствуя о замене для Анны Ильиничны ссылки в Восточную Сибирь, называет Самару как не особенно отдаленную от местожительства жениха ее дочери. И сам Марк Тимофеевич, обращаясь к тому же Дурново, телеграфирует:

«Умоляю выслать мою невесту Анну Ульянову в Симбирскую или Самарскую губернию. Спасите. Действительный студент Елизаров».

Марк Тимофеевич Елизаров не случайно вошел дорогим и полноправным другом в семью Ульяновых: был он личностью весьма и весьма незаурядной.

Сын крепостного крестьянина, только что получившего «волю», он родился в 1862 году в деревне Бестужевке Самарской губернии, с детства проявил выдающиеся способности, кончил деревенскую школу, затем гимназию и в 1882 году, в возрасте девятнадцати лет, поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Благодаря успехам был освобожден от платы за обучение, иначе не смог бы довести свои университетские занятия до конца.

Наряду с математическими он обладал исключительными способностями к игре в шахматы. Будучи лишь любителем, выиграл во время сеансов одновременной игры партии у самых сильных, прославленных шахматистов его времени — Михаила Чигорина и Эммануила Ласкера.

Его массивная фигура с крупными чертами лица производила впечатление чего-то очень прочного и устойчивого. Недаром жена Дмитрия Ильича Ульянова, Антонина Ивановна Нещеретова, вспоминая Марка Тимофеевича и Анну Ильиничну, с которой в начале века она сидела в Киевской тюрьме, писала: «Спокойный, уравновешенный, умудренный большим жизненным опытом, Марк Тимофеевич дополнял в жизни порывистую, быстро загорающуюся Анну Ильиничну...»

С 1904 года Марк Тимофеевич работал на Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороге.

Весной 1905 года он был избран на первый съезд

железнодорожных рабочих и служащих, а затем — в постоянное Организационное бюро. Занялся выработкой пенсионного устава для железнодорожников, основанного на демократических принципах, и завоевал себе этим огромную популярность среди рабочих железных дорог. А в октябре 1905 года был одним из руководителей Всеобщей забастовки железнодорожников, которой собственно началась Всероссийская политическая стачка.

Эти бурные события заполнили весь 1905 год. В 1906 году, когда правительство, подавив Декабрьское вооруженное восстание, перешло в наступление по всему фронту, Марк Тимофеевич был арестован.

Премьер-министр С. Ю. Витте, до которого дошел протест Марка Тимофеевича против ареста, запросил о нем департамент полиции. «Елизаров, — ответил департамент, — очевидно, принадлежит к числу крупных и влиятельных в своей среде деятелей, стремящихся противопоставить государственной власти сильную организацию железнодорожных служащих».

Так как прямых улик против Марка Тимофеевича у департамента полиции не было (и на этот раз выручил шахматный столик!), после трехмесячного заключения он был выслан из Петербурга с запрещением служить на железных дорогах. Он выбрал местом ссылки Сызрань.

В 1916 году служба Марка Тимофеевича была связана с постоянными разъездами. Все заботы о доме, о тяжело больной матери, о мальчике Горе, которого взяли на воспитание Елизаровы, о находившейся в ссылке Марии Ильиничне лежали на Анне Иль-

иничны. Особенно тревожило здоровье Марии Александровны. Она очень ослабела, почти все время лежала, сильно тосковала по младшей дочери. Летом 1916 года, когда семья жила на даче, она совсем слегла.

По словам Анны Ильиничны, которая находилась при ней безотлучно, мать попросила: «Дай мне что-нибудь, ну облатку, ты знаешь что, я хочу еще пожить с вами!» А за два дня до смерти спросила: «Когда же папа наш ушел?» В день смерти была очень ласкова, обрадовалась цветку, который принесла ей Анна Ильинична, днем спокойно заснула и во сне умерла.

Работа на посту наркома путей сообщения оказалась физически не под силу Марку Тимофеевичу. По его личной просьбе он был от нее освобожден и введен в коллегию Наркомата торговли и промышленности. Весной 1919 года он поехал по делам работы в Петроград: да и хотелось ему присутствовать на торжественном акте по случаю столетия Петербургского университета.

Там, в Петрограде, Марк Тимофеевич заболел. Сначала предполагали, что это грипп (его называли тогда «испанкой»), но оказалось — сыпной тиф. Анна Ильинична тотчас поехала к мужу, но, как ни выхаживала, спасти его не удалось.

Владимир Ильич и Мария Ильинична приехали в Петроград, чтобы проводить Марка Тимофеевича в последний путь. Похоронили его на Волковом кладбище. На том самом Волковом кладбище, где покоились вечным сном Ольга Ильинична и Мария Александровна Ульяновы.

Жизненный путь Анны Ильиничны оборвался в 1935 году. За день до смерти, уже в полузабытии, она громким, голосом декламировала по-немецки стихи из «Buch der Lieder» — «Книги песен» Генриха Гейне, той самой книги, которую на прощальном свидании с матерью просил принести приговоренный к смерти Александр Ульянов.

ТАНЕЦ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Софье Мушкат было 28 лет, когда в 1910 году она совершила поход в горы с Феликсом Дзержинским. В 1911 году в женской тюрьме «Сербия» родился сын Ян. В феврале 1919 года Софья с сыном прибыли в столицу «первого в мире социалистического государства» и заселились в кремлевскую квартиру на первом этаже кавалерского корпуса. Софья Мушкат рассказывает о себе, своей жизни, замужестве и. т. д.

«Родилась я в декабре 1882 года в Варшаве. Мой отец Сигизмунд Мушкат, сын эконома небольшого поместья под Варшавой, начал работать с десятилетнего возраста мальчиком в одном из варшавских книжных магазинов. Тринадцатилетним подростком он принимал участие в восстании 1863 года, доставляя боеприпасы и еду скрывавшимся в лесах повстанцам.

Он рассказывал нам потом об этом восстании, о его подавлении и о тяжелой судьбе многих сотен повстанцев, сосланных в Сибирь. После подавления восстания отец продолжал работать мальчиком, а за-

тем приказчиком в книжном магазине в Варшаве. Это дало ему возможность познакомиться с произведениями польской литературы.

У отца не было систематического образования (в детстве он в школу не ходил, только юношей стал посещать воскресную школу), но был он начитан, сам научился читать, писать и неплохо говорить по-немецки, изучил также бухгалтерское дело, что позднее дало ему возможность работать счетоводом, бухгалтером и корреспондентом в торговых заведениях и на промышленных предприятиях.

Мы с братом Станиславом воспитывались в семье в атмосфере глубокого польского патриотизма.

От детства у меня осталось воспоминание необычайной душевной гармонии, настоящей любви и дружбы в семье, не нарушаемой ни одним резким словом, ни одной ссорой. В родительском доме не было лицемерия и лжи. Я никогда не слышала сплетен о ком-нибудь.

Моя мать, Саломея Станислава, урожденная Либкинд, была воплощением доброты. Она заботилась не только о муже и детях, но и о своих сестрах и братьях, которые были старше ее, а также и об их семьях. Мать была чутка и отзывчива к нуждам других. Она не только хорошо относилась к домашним работницам, но помогала, чем только могла, и их семьям. Старушка няня Юзефа Винтер, которая вынянчила брата и меня, продолжала жить у нас, хотя ослепла и ничего уже не могла делать.

Мать научила меня читать и писать. Она часто пела нам, детям. От нее я впервые услышала запрещенные царскими властями песни польского народа

«Боже, ты, что Польшу...», «С дымом пожаров...», те-
перешний государственный гимн Народной Польши
«Еще Польша не погибла...» и другие песни, которые
я запомнила на всю жизнь. Любила она также петь
народные песни «Эй, ты Висла», «Стась мне с ярмар-
ки привез колечко», «Эй, ребята, сплавщики» и арию
Йонтека из оперы Монюшко «Гальяка». Она никогда
не училась пению, но голос у нее был приятный.
Возможно, что именно ее пение еще в детстве зарод-
ило у меня горячее желание учиться музыке. Ког-
да мне исполнилось 7 лет, я начала брать уроки иг-
ры на рояле.

Одним из первых произведений, которые я тогда
играла, была специально обработанная для детей
прелюдия Шопена (opus 28, № 7A-dur). Эту прелю-
дию позднее, уже в польской школе, я пела с подру-
гами в хоре:

Наклонив головку,
Загрустил вьюнок,
И журчит, и шепчет
Чистый ручеек.
Светит месяц в небе,
Звездочки горят,
Над водой склонившись,
Розы тихо спят.

Семи лет меня отдали в только что открытый,
второй по счету в Варшаве частный детский сад, ор-
ганизованный моей двоюродной сестрой Юлией Ун-
шлихт.

В 1891 году кончилось мое счастливое детство.

Неожиданно на 37-м году жизни в расцвете сил умерла моя мать во время родов. Это был страшный удар, внезапно обрушившийся на нашу семью. Через несколько дней после смерти матери мы покинули нашу квартиру на Краковском предместье около Дворцовой площади с чудесным видом на Вислу, мост Кербедзя и Прагу и поселились в маленькой комнате на Маршалковской улице (дом № 148) в квартире моей тетки Дороты, которая за год до этого овдовела. Оставшись одна с семью детьми, она открыла в своей квартире небольшую белошвейную мастерскую.

По воскресеньям к тете часто приходили гости, и тогда ее старший сын Бенедикт Герц (позднее известный баснописец), прекрасно игравший на скрипке, под аккомпанемент фортепиано исполнял разные классические произведения. Чаще всего он играл траурный марш Шопена. Кто-нибудь из гостей проникновенно декламировал под звуки этой музыки волнующие стихи Корнеля Уейского, специально написанные им для шопеновского марша. До сих пор помню некоторые строфы:

Сколько звона! Где так звонят?

Шум в ушах ужасный!..

И куда ксендзы шагают с этой песней страшной?

Предо мною как в тумане очень близко дроги...

Как темно мне!.. и как больно...

О, как черны дроги!..

Я иду, плыву, как спящий,

Двигаюсь безвольно,

Только в сердце так щемяще,

Так ужасно больно.
В мозг впились и в сердце клещи,
Острые, кривые...
Звонят, звонят все зловещей,
Воронье крикливо...
А, и музыка!.. я слышу, хорошо играют...
Слезы жгут, потом скупые по лицу стекают...

Каждый раз, когда я слышала эту изумительную музыку Шопена и эти трагические слова Уейского, мне казалось, что я иду за гробом матери, и, притаившись за тяжелой оконной портьерой, заливалась горячими слезами. Через год после смерти матери отец женился вторично, и мы уехали от тетки. Женился отец на художнице Каролине Шмурло, дочери известного (в то время уже покойного) проф. Аугустина Шмурло, специалиста по древнегреческому и латинскому языкам, переводчика «Илиады» и «Одиссеи» Гомера на польский язык.

Мачеха моя была очень красивая. Мы с братом встретили ее с открытым сердцем, ожидая ласки и любви, которой нам не хватало. Была она женщина неплохая, но клерикалка, полная захолустных шляхетских предрассудков. Она заставляла нас с братом молиться по утрам и вечерам, ходить в костел по воскресеньям на мессу. По-своему она любила нас, но нашей родной матери заменить нам не могла.

Семейная обстановка резко изменилась. Не стало в доме прежней слаженности и дружбы. Между отцом и мачехой часто вспыхивали ссоры, возникали недоразумения на почве расхождения во взглядах. Отец был демократом, а мачеха считала себя аристо-

краткой и презирала всех, у кого не было «голубой крови». Все это чрезвычайно угнетало меня.

Через несколько лет родился брат Чеслав. Мачеха души в нем не чаяла и баловала его невероятно, потакая всем прихотям и капризам. В детстве я его очень любила. Долгие годы я с ним не виделась и только после второй мировой войны узнала, что он погиб в лагере смерти в Освенциме во время гитлеровской оккупации Польши.

В сентябре 1891 года меня приняли в подготовительный класс польской частной шестиклассной женской школы Ядвиги Сикорской (на углу Маршалковской и Крулевской улиц), где я училась шесть лет.

В Варшаве, насчитывавшей тогда около полумиллиона жителей, были только три частные шестиклассные женские школы и четыре казенные женские гимназии.

Царские власти проводили в Польше русификаторскую политику и даже в частных школах требовали вести преподавание всех предметов на русском языке. Но это не выполнялось. В частной школе Сикорской, где я училась, преподавание велось на польском языке нелегально. Когда приходил инспектор, поднималась невероятная паника. Начальница, учителя, а также ученики боялись, что, заметив что-нибудь недозволенное, он закроет школу. Мы торопливо собирали все польские учебники и тетради и бежали их прятать в спальни.

Несколько десятков учениц, главным образом дочерей помещиков из так называемых тогда кресов (окраин), т. е. Литвы, Западной Украины и Западной

Белоруссии, жили в школьном пансионе на том же этаже, где размещались классы. Вот к ним подальше от глаз инспекторов и другого «начальства» мы поспешно прятали все «недозволенное», все польское.

Учебников по таким предметам, как зоология, ботаника, всеобщая история, география, на польском языке не было. Преподавание тайком велось по-польски, а учебники были русские. Ими мы почти не пользовались. Помню, что уже во 2-м классе на уроке зоологии мы записывали объяснение педагога, а потом по этим записям учились. Географию и историю Польши вообще не изучали. С историей Польши, вернее, с историей польских королей, нас нелегально знакомила начальница Ядвига Сикорская на уроках рукоделия. В 5-м классе нелегально в 8 часов утра, за час до начала уроков, мы приходили в школу для прослушивания цикла лекций проф. Владислава Смоленского о разделах Польши, о положении Польши после разделов. Иногда эти лекции читались нам по вечерам после уроков, когда внезапное появление инспектора уже не предполагалось. На всякий случай, мы все же брали с собой рукоделие.

В том же 5-м классе мы также приходили к 8 часам утра на нелегальные уроки грамматики польского языка (и древнепольского). Этот предмет очень интересно преподавался проф. Мечинским. К тому времени он вернулся из Сибири, куда был сослан за участие в восстании 1863 года. Его уроки я тщательно и подробно записывала и долго хранила у себя эти записи.

Но наибольшим уважением у учениц пользовался А. Бем, преподававший польский язык и поль-

скую литературу начиная с 3-го класса. Это был человек прогрессивных взглядов, демократ и, как говорили в ученической среде, атеист. Был он, кажется, родственником генерала Юзефа Бема, прославленного героя освободительной борьбы 1848 года в Венгрии.

Начальница, опасаясь, как бы Бем не выступил перед нами со своими вольнодумными взглядами, почти всегда присутствовала на его уроках. Мы любили Бема за то, что он прекрасно, почти артистически читал нам произведения классической польской литературы. До сих пор помню, как замечательно он читал «Оду к молодости» или «Импровизацию» из III части «Дзядов» Адама Мицкевича. Для чтения этого произведения он, выбрал день, когда начальницы не было в классе.

Недужинной фигурой был преподаватель закона божьего ксендз Ян Гралевский, иезуит, человек очень образованный, прекрасный оратор. Его уроки по истории церкви в 5-м классе были интересны тем, что он иллюстрировал их репродукциями выдающихся произведений искусства на религиозные темы. Но именно благодаря своему красноречию, умению увлечь своих слушателей этот человек оказывал пагубное влияние на девичьи умы. Он доводил учениц, особенно в дни говения, прямо-таки до религиозного экстаза. Этому способствовали специально создаваемая в эти дни почти театральная обстановка и особая атмосфера в школе. В одном из самых просторных классов устанавливался алтарь, утопающий в цветах. Одурачивающий запах цветов и ладана, полумрак, тишина и в этой тишине проникновенный го-

лос проповедника, грозящего всеми ужасами ада за грехи, страстный шепот молитв, а затем церковное песнопение — все это вызывало необычное настроение.

Нелишне будет упомянуть, что этот же ксендз Гралевский сыграл немалую контрреволюционную роль во время революции 1905—1907 годов, а затем в буржуазной Польше выслуживался перед самой черной реакцией. Но в те времена, когда я была в 5-м классе, ни одна из более или менее впечатлительных школьниц, в том числе и я, не могли устоять перед вредным влиянием его красноречивых проповедей.

Окончив 5-й класс школы Сикорской с похвальной грамотой, я перешла, по желанию отца, во 2-ю женскую гимназию, которая находилась на Вильчей улице. (Частные учебные заведения не давали никаких прав, даже права преподавать в частных домах.) Из-за недостаточного по гимназическим требованиям знания русского языка меня приняли не в 6-й, а в 5-й класс, причем пришлось сдавать экзамены по русскому языку, арифметике, алгебре, геометрии, а также, что было самым трудным, по церковнославянскому языку, который в гимназии изучали в 4-м классе и о котором я не имела ни малейшего понятия. На подготовку по церковнославянскому языку у меня был всего лишь один день. Весь этот день и всю ночь напролет я зубрила церковнославянскую грамматику. Поняла я ее без особого труда, так как в ней было много общего с древнепольской грамматикой. Но читать библейские тексты на церковнославянском языке и переводить их на русский язык — этому научиться за один день было невозможно.

Шла я на этот экзамен как на казнь. Однако случая было угодно, чтобы после ответа на вопросы, касавшиеся грамматических правил, меня не заставили читать библейские тексты, а предложили прочесть какой-то отрывок по-русски и разобрать его этимологически и синтаксически, что не представляло для меня ни малейшей трудности. Я сдала экзамен, о чудо! Этот экзамен — на пятерку!

В гимназии строго запрещалось говорить по-польски не только в классе, но и вне его — в коридорах, на лестнице, в небольшом дворике. За этим неотступно следила немолодая классная наставница Вишнякова. Поэтому во время перемен мы или молчали совсем, или говорили между собой шепотом. Насильственная русификация вела к тому, что гимназия дала нам знания не живого русского языка, а только книжного и то лишь в весьма ограниченных размерах.

Не получали мы знаний и по русской классической литературе. Пушкин преподавался казенно, скучно. О его прогрессивном, демократическом творчестве мы ничего не знали, как и о большой дружбе Пушкина с Мицкевичем. Гораздо больше я любила поэзию М. Ю. Лермонтова. С увлечением я перечитывала поэму «Мцыри» и охотно учила ее наизусть.

В старших классах одна из гимназисток дала мне почитать Л. Н. Толстого. С поэзией поэта-гражданина Н. А. Некрасова я познакомилась, уже будучи революционеркой, и читала ее с великим наслаждением.

Самыми яркими поляконенавистниками были Коялович, учитель русского языка и логики в 5-м и 6-м классах, хорошо знавший польский язык, по-ви-

димому, поляк по происхождению (в период реакции он был кандидатом в депутаты от черносотенцев Королевства Польского в одну из Дум), и начальница гимназии баронесса Бойе, старая дева, ненавистная ученицам и прозванная ими Крокодилом.

Уроки польского языка в гимназии (только для полек) кончались в 5-м классе. Но это были уроки не изучения польского языка, а издевательства над ним. Состояла эта учеба в том, что переводились на русский язык тексты учебника, составленного на корявом польском языке каким-то Дубровским.

Преподавательница польского языка Гуминская, очень, впрочем, трусливая, пыталась нелегально познакомить учениц с Мицкевичем и Словацким и стала жертвой провокации со стороны Кояловича. Однажды на уроке русской стилистики, объясняя разные стихотворные формы, Коялович стал утверждать, что поэзия Пушкина и Лермонтова богаче поэзии Мицкевича и Словацкого. Это потому, доказывал он, что ударения в польском языке бывают всегда только на предпоследнем слоге, в то время как в русском языке нет постоянного места для ударения. Он обратился к нам со словами:

— У вас, наверно, имеется при себе какое-нибудь произведение Словацкого? Дайте мне его, и я продемонстрирую вам превосходство русской поэзии.

В этот день у нас как раз был урок польского языка и в партах лежало несколько экземпляров «Отца зачумленных» Юлиуша Словацкого. Одна из учениц, не подозревая провокации, передала эту книгу Кояловичу, и он продемонстрировал разницу между польским и русским стихом.

Но через несколько дней после этого Гуминская была уволена с преподавательской работы в гимназии. А с Крокодилом у меня было такое столкновение. За несколько дней до выпускных экзаменов, будучи уже кандидаткой на золотую медаль, я после уроков спускалась вниз по лестнице с 3-го этажа, где помещался наш класс. Кто-то снизу окликнул меня и спросил по-польски, нет ли наверху такой-то (следовала фамилия) ученицы. Я оглянулась назад, не обнаружила за собой девочку, про которую спрашивали, и ответила тоже по-польски: «Нет».

В ту же секунду меня схватила за руку Крокодил, как раз поднимавшаяся вверх по лестнице и не замеченная мной вовремя. С грозным окриком начальница потащила меня на третий этаж и приказала классной даме Вишняковой запереть меня в карцер на три часа. За одно только слово, сказанное по-польски! Я просидела три часа без обеда, голодная, запертая в пустом классе. Хорошо еще, что не в подвале, куда нередко сажали провинившихся.

Эти три часа, проведенные в карцере, значили, что в конце недели мне запишут в дневник двойку по поведению, а это, в свою очередь, повлияет на снижение годовой отметки до четверки; следовательно, золотая медаль исключается.

Когда на следующее утро я пришла в школу, Вишнякова заявила мне, что баронесса готова простить меня и не поставит двойки по поведению, если я попрошу у нее прощения. Я, разумеется, с возмущением отказалась и мысленно уже попрощалась с медалью.

Но руководству гимназии, по-видимому, неудоб-

но было перед высшим начальством, в последний момент отказываться от одной из двух золотых медалей, которые в тот год полагалось получить на всю гимназию.

Отказ от медали бросил бы тень на работу руководства и педагогического персонала 2-й гимназии. Поэтому столкновение мое с Крокодиллом не нашло отражения ни в моем школьном дневнике, ни в годовом табеле, и золотая медаль была мне вручена. Много лет спустя, когда я в третий раз была арестована и понадобились деньги на оплату места в детских яслях для моего сына, брат Станислав по моей просьбе заложил эту золотую медаль в ломбард, получив за нее 50 рублей. Потом брат выкупил медаль и хранил ее для меня. Во время войны гитлеровцы в Варшаве разрушили дом, в котором жил брат с семьей, и медаль погибла в развалинах вместе со всеми вещами брата.

Слово «социализм» я впервые услышала в 1898 году, будучи в 6-м классе гимназии в Варшаве, от своей школьной подруги Софьи Смоларской. Ее зять Людвиг Кульчицкий находился в то время в ссылке в Сибири. Зосья Смоларская не смогла мне тогда толком объяснить, что значит «социализм», но из ее рассказа я все же поняла, что социалисты — это люди, борющиеся за свободу и лучшее будущее, за справедливый социальный строй, а царское правительство за это их преследует.

К нам домой иногда приходил, навещая мою маму, ксендз каноник Матушевский. Мне вдруг пришло в голову в разговоре с каноником спросить, что значит «социализм». Помню, какое «священное» воз-

мущение вызвал у него этот вопрос. Он осенил себя и меня крестным знамением.

— Откуда у тебя, дитя мое, такие мысли? — в ужасе спросил он почти шепотом.

— Социалисты, — сказал он, — это выродки общества, это дети сатаны.

Но я не поверила ему. Социалисты, которых царское правительство ссылает в Сибирь, как ссылало польских повстанцев 1863 года, не могут быть плохими людьми, думала я, скорее всего, это люди благородные, заслуживающие уважения. Однако с социалистами я столкнулась лишь осенью 1904 года.

Весной 1900 года я окончила гимназию и провела так называемый пробный урок, что давало право преподавать в частных домах и частных учебных заведениях. Но продолжить образование мне не удалось, так как женщинам в бывшем Королевстве Польском был совершенно закрыт доступ в университет. А средств на то, чтобы поехать учиться за границу или на Бестужевские курсы в Петербург, у меня не было. Я занялась музыкой.

После смерти матери мне пришлось прекратить уроки музыки из-за отсутствия в доме инструмента. Только когда я была уже в 5-м классе и начала зарабатывать как репетитор в частных домах (за урок по 1 часу в день я получала 6 рублей в месяц) и когда брат Станислав, бывший на полтора года старше меня, студент математического факультета, также немного стал зарабатывать уроками, мы взяли напрокат пианино и возобновили занятия музыкой. У нас был очень хороший преподаватель — студент последнего курса Варшавской консерватории лито-

вец Игнас Прелгаускас. Он подготовил меня в консерваторию. В конце лета того же 1900 года я сдала экзамен в консерваторию и была принята на средний курс по классу проф. Ружицкого (отца известного композитора). Проучившись в консерватории всего лишь два года, из-за отсутствия средств мне пришлось уйти, не закончив даже второго курса. Плата за учебу в консерватории составляла 100 рублей в год.

В течение последующих двух лет я работала учительницей в частной начальной школе госпожи Гениш, а потом зарабатывала на жизнь частными уроками музыки для начинающих.

По воскресеньям или по вечерам я посещала так называемый летучий университет. Это был цикл лекций по отдельным предметам. Занятия проходили нелегально один или два раза в неделю, каждый раз в новом месте, на квартире у одной из немногочисленных слушательниц (6—10 человек). Лекции оплачивались слушательницами в складчину.

Слушали мы лекции по истории Польши. Фамилию преподавательницы не помню. Лекции по геологии читал проф. Вацлав Налковский, по психологии — проф. Марбург, по географии Польши — Суйковский. Помню, с каким возмущением говорил он нам о хищническом способе добычи угля в Домбровском бассейне иностранными капиталистами. Лекции Марбурга были очень интересными, но самыми ценными были лекции Вацлава Налковского, умело включавшего в геологию социальные темы.

Группы слушательниц часто распадались, и занятия прекращались, не исчерпав программы. Стои-

ло отсеяться несколькими слушательницам, посещавшим «летучий университет» ради моды, как оставшиеся были уже не в состоянии оплачивать преподавателя.

Одно лето мы с Зосей Смосарской самостоятельно и чрезвычайно усердно изучали «Эмбриологию» Нусбаума, экзаменуя друг друга.

Занимаясь в консерватории, я вступила в певческое общество «Лютня», которым руководил проф. Машинский, и уговорила Смосарскую тоже вступить. «Лютня» принимала участие в концертах филармонии, в том числе в концерте, где, кажется, впервые в Варшаве, исполнялась Девятая симфония Бетховена под управлением какого-то иностранного дирижера. Участие в «Лютне» давало возможность посещать концерты в филармонии, знакомиться с классической музыкой. Я старалась широко пользоваться этой возможностью.

Зося Смосарская, в свою очередь, вовлекла меня в нелегальное учительское общество. Деятельность его носила сугубо культурнический, просветительный характер, впрочем в весьма ограниченных размерах. Собрания общества проводились тайно один раз в несколько недель где-то на улице Новы-Свят, постоянно в одной и той же квартире какой-то зажиточной семьи, если не ошибаюсь, в квартире адвоката Гляса. На собраниях бывало человек 30 преподавательниц частных школ и домашних учительниц.

Большую роль на этих собраниях играла Стефания Семполовская, которая пользовалась огромным авторитетом.

С двумя участницами общества, Михалиной

Файнштейн и Барбарой Шпиро, позднее, в 1905—1907 годах, мне пришлось встретиться на партийной работе в Социал-Демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). Среди прогрессивных учительниц помню также Рихтер, посещавшую эти нелегальные собрания.

Общество выработало программу по самообразованию для своих членов. Каждая из нас выбирала для изучения и разработки определенную тему и могла пользоваться при надобности библиотекой общества. Библиотека эта возникла, вероятно, на средства, собранные в складчину.

На каждом собрании одна или несколько участниц выступали с рецензией на вновь изданные книги для детей и юношества. Помню, мне пришлось рецензировать какую-то книжку для юношества, где описывались жестокая эксплуатация и ужасные условия труда рабочих на золотых приисках в Клондайке.

Летом 1902 года мы вместе с Зосей Смосарской поехали на месяц отдыхать в Ойцов — живописное местечко в Келецкой губернии. Из Ойцова мы заехали на несколько дней к одному из братьев Зоси, который работал штейгером на шахте «Немцы» в Домбровском угольном бассейне. С его помощью мы получили разрешение посетить шахту. Спустились сначала на глубину 200, а затем 400 метров. Я никогда не забуду того тяжелого впечатления, какое произвела на меня работа шахтеров под землей.

Было жарко и невероятно душно. Полуголые шахтеры вырубали кайлом в породе шпурсы для закладки динамита. Когда поджигался фитиль, они то-

ропливо разбегались, чтобы при взрыве не попасть под обвал. Во время взрыва мы стояли в другом конце штольни, но и на наши головы сыпались куски угля.

Местами проход был так узок и низок, что продвигаться можно было только ползком. Каждый держал в руке фонарь с кусочком свечи. Со стен ручьями стекала вода, под ногами тоже была вода. Но ужаснее всего мучил недостаток воздуха. Из-за плохой вентиляции местами совсем нечем было дышать. Когда мы вернулись «на гора» и сняли шахтерскую спецовку, я подумала, что ни за что на свете не спустилась бы в шахту вторично. Всей душой сочувствовала я шахтерам.

В тот период (1902—1904 годы) меня очень волновал вопрос о положении женщин.

Поэтому из тем, предложенных для разработки в учительском обществе, я выбрала тему «Мужчина и женщина». Жадно набросилась я на рекомендованную литературу, надеясь найти в книгах ответ на вопрос, как преодолеть такое социальное зло, как бесправие женщин и проституция.

Но во всей прочитанной литературе я не нашла ничего, что могло бы зародить хоть какую-нибудь искру надежды на подлинное уничтожение этого зла. Только позднее, познакомившись с социал-демократами, прочитав известную книжку Августа Бебеля «Женщина и социализм», я поняла, что подлинное равноправие женщин наступит лишь после свержения капиталистического строя, в обществе, свободном от эксплуатации человека человеком, свободном от нужды и безработицы.

В один из морозных дней конца января или начала февраля 1905 года, принеся Ванде полученную мной корреспонденцию, я застала у нее в залитой солнцем столовой высокого, худощавого незнакомого товарища. Светлый шатен с коротко остриженными волосами, круглым бледным лицом без бороды, с огненным взглядом пронизательных красивых серо-зеленоватых глаз стоял передо мной.

Это был Юзеф, которого в тот день я увидела впервые. Но еще до этой встречи я слышала о нем от Ванды и других товарищей. Они говорили о нем как о самом лучшем, самом преданном партии товарище, наиболее стойком и самоотверженном, как о необычайно любимом руководителе польских рабочих. Я слышала легенды о его революционной страстности, неиссякаемой энергии, о его мужестве и героических побегах из ссылки.

Юзеф поздоровался со мной крепким рукопожатием. Меня удивило, что он как хороший хозяин знает обо мне, о той скромной партийной работе, которую я тогда выполняла. Он посмотрел на меня пристально, и мне показалось, что он насквозь меня видит. Он знал мою фамилию и, как оказалось, до своего приезда в Варшаву несколько раз присылал из Кракова письма на мой адрес.

Я отдала Юзефу принесенную почту и согласно требованиям конспирации сразу ушла, взволнованная и обрадованная неожиданной встречей с ним.

В другой раз, придя к Ванде, я снова застала у нее Юзефа, но с ним тогда не виделась: он задремал в маленькой комнатке рядом со столовой после бессонной ночи, проведенной за работой. Позднее я уз-

нала, что в тот период своей бурной партийной деятельности в первой половине 1905 года Юзеф не работал и ночевал в этой комнатухе.

Вся квартира Ванды была скромно обставлена. Деревянные полы не были покрашены, их чисто мыли. Единственным «излишеством» был рояль в столовой. В комнатке, где работал или отдыхал Юзеф, стояли простая железная кровать, небольшой столик и стул.

Как сейчас вижу эту квартиру, залитую солнцем, как в тот памятный день, когда я там впервые увидела Юзефа.

Настоящего его имени и фамилии я, конечно, не знала. Только несколько лет спустя, в 1909 году, когда Судебная палата приговорила Феликса Дзержинского к лишению всех прав и к ссылке на вечное поселение в Сибирь, я узнала настоящее имя и фамилию Юзефа из газет, сообщавших об этом процессе.

С биографией Юзефа я ознакомилась еще позднее.

Вернувшись в Краков, я продолжала помогать Юзефу приводить в порядок архив, писать письма, между строк которых он вписывал лимонной кислотой конспиративные партийные тексты товарищам в Варшаву, Лодзь, Ченстохову, Домбровский угольный бассейн. Я надписывала адреса на конвертах, так как почерк Юзефа был хорошо известен полиции и жандармам и письма с адресами, написанными его рукой, легче могли быть перехвачены и подвергнуты просмотру.

В это же время я начала помогать Юзефу переписывать материалы для «Червоного Штандара».

Я приходила на ул. Коллонтая рано утром, и мы писали целый день с кратким перерывом на обед, до позднего вечера, пока все не было переписано. Мы сидели в проходной комнатке-кухоньке Юзефа за его маленьким письменным столиком. Я диктовала с рукописей, присланных из Берлина, а Юзеф писал мелким бисерным почерком, очень четко и разборчиво на маленьких листочках бумаги специального формата для удобства с точки зрения конспиративных методов пересылки материалов.

Юзеф сам подсчитывал количество печатных знаков в рукописях, потому что, как он говорил, в Берлине не совсем точно считали, сообщая обычно меньше знаков в статьях, чем они на самом деле содержали. Это могло создать трудности товарищам, которые в Королевстве Польском занимались выпуском номера. Я предложила Юзефу, что я буду подсчитывать количество знаков. Тогда он показал мне, как это делается, и я стала его заменять в этой технической, но важной части работы.

В то лето я наглядно убедилась в том, как горячо Юзеф любит детей. Много раз заставляла я его работающим за письменным столиком, а из соседней комнаты за прикрытой дверью слышались детские голоса или детский смех. Оказывается, Юзеф собирал в свою квартиру детвору бедноты, населявшей этот дом, и организовывал для них у себя нечто вроде детского сада: позволял им бегать, шуметь, устраивать из стульев трамваи или поезда, делал для них простые игрушки из спичечных коробок и из каштанов. Однажды я застала его в таком виде: он сидел за письменным столом и работал. На коленях у него

был малыш, что-то сосредоточенно рисовавший, а другой, вскарабкавшись сзади на стул и обняв Юзефа за шею, внимательно смотрел, как он пишет.

Я спросила Юзефа, не мешают ли ему эти малыши, не мешает ли шум ребятишек, играющих в соседней комнате. Он ответил, что ничуть не мешают, что голоса и смех детей доставляют ему радость, а эти малыши около него сидят тихо: знают, что нельзя мешать работать. В хорошую погоду детишки играли во дворе. В слякоть же приходили на квартиру к своему взрослому другу.

На любовь Юзефа дети отвечали любовью: когда он, возвращаясь из города, появлялся в воротах дома, ребятишки бежали ему навстречу с криком:

— Наш дядя идет!

Уцепившись за его руки, они провожали «своего дядю» через весь двор до самых дверей квартиры.

В Кракове среди части товарищей господствовал распространенный в кругах интеллигенции обычай встречаться и проводить вечера за беседами в кафе. Юзеф работал днями и ночами и избегал бесцельного времяпрепровождения, но однажды случилось так, что несколько товарищей затащили его вечером в кафе на Краковском рынке. Пили кофе с ликером и пирожными. Каждый платил за себя. Юзефа поддерживала партия, и он считал, что деньги, которые ему давала партия, он имеет право тратить лишь на самое необходимое, а не на излишества, какими, по его мнению, были черный кофе, пирожные и рюмка ликера. Чтобы загладить свою «вину» перед партией, он на другой же день внес в партийную кассу из своей скромной зарплаты сумму, истраченную нака-

нуне в кафе. В связи с этим ему пришлось потом несколько ограничить свои расходы на самые неотложные нужды.

Через несколько дней после Августовской общепольской конференции СДКПиЛ Юзеф, измученный непомерной работой, обратился в Главное Правление с просьбой предоставить ему недельный отпуск. Еще в июне, когда мы с Кларой вернулись из Стасиковки, Юзеф говорил мне, что хотел приехать к нам хотя бы на один денек. Но сделать этого он не смог. Теперь он предложил мне совместный поход в Татры. Я знала уже дорогу к Морскому Оку и могла быть проводником туда. Товарищи советовали нам от Морского Ока перейти через хребет Рысы на другую сторону, дали небольшую карту и указали, по какому пути вернуться в Закопанэ. Мы приняли этот план и начали готовиться в дорогу. На этот раз и у меня был рюкзак, который я одолжила у Клары. Но специальной альпинистской обуви не было ни у меня, ни у Юзефа.

Во время нашего похода в горы Юзефа в Кракове замещал Мартин (Тлустый).

Мы выехали из Кракова утром 28 августа. Юзеф, который систематически недосыпал, заснул, сидя у окна вагона третьего класса. Его разбудил громкий и неприятный разговор рядом сидящих пассажиров. В то время польские реакционеры развязали в печати травлю социал-демократов. В числе этих реакционеров был и Анджей Немоевский — редактор и издатель так называемой «Мысли неподлеглой» («Независимой мысли»), атеист, считавшийся прогрессивным деятелем. Один из наших попутчиков-пассажи-

ров с пылом повторял клеветнические нападки Немоевского на СДКПиЛ и некоторых ее членов. Услышав это, Юзеф вскочил словно кипятком ошпаренный и дал такой отпор клеветнику, что тот вынужден был замолчать и перейти в другое отделение вагона.

Приехав в Закопанэ, Юзеф зашел на минутку к сестре Юлиана Мархлевского, которая там жила, и одолжил у нее трость-топорик. В тот же день мы отправились пешком в Гонсеницове гали. Мы добрались до них еще засветло. Там мы встретили брата нашего партийного товарища Марии Братман, в то время еще молодого паренька Генриха Ляуера, позднее видного деятеля КПП (Брандта).

Переночевав в убежище, мы намеревались утром двинуться дальше, но задержались в Гонсеницове галих еще на сутки и только рано утром следующего дня, обойдя озеро Чарны Став, начали восхождение на Заврат. Дорога была легче, чем в прошлый раз, потому что снега уже не было, синие пятна-указатели отчетливо виднелись, железные скобы, вбитые в гранитные скалы, были обнажены и доступны. Поэтому мы без труда поднялись на перевал. И снова взорам открылся чудесный вид на пять Польских озер. Погода была замечательная, горный воздух чист и упоителен. Мы спустились к озерам. Около них кружилось много птиц. В Юзефе проснулся охотник. Он жалел, что у него не было двустволки.

Мы продолжали восхождение. Снова ночлег в убежище в Ростоке и дальше путь к Морскому Оку. Мы немного свернули с дороги, чтобы увидеть водопады Мицкевича. Они очень понравились Юзефу.

Очарованный красотами природы, он мыслями оторвался от беспокоивших его партийных дел. Я сознательно не касалась их за все время нашей экскурсии, чтобы дать отдых его мозгу и нервам. К Морскому Оку подошли вечером, когда уже стемнело. Мы ощущали приятную усталость и были голодны. Расположились на отдых в убежище, вскипятили чай на спиртовке, которую взяли с собой, и принялись изучать дальнейший маршрут по карте. Но негостеприимные горы подшутили над нами. Уже когда мы подходили к Морскому Оку, небо нахмурилось, а ночью начался дождь.

Погода испортилась. На второй и на третий день лил проливной дождь. О подъеме на высокие и крутые горы Рысы не могло быть и речи. В первый день, несмотря на дождь, мы все же поднялись к озеру Чарны Став. Но Чарны Став был весь окутан туманом.

На следующий день мы совершили прогулку в противоположную сторону долины, которую пересекал горный поток. Он так стремительно и бурно катил по каменистому дну горного ущелья, что воды совсем не было видно — одна сплошная белая пена. Подойдя к потоку, мы увидели большое стадо косуль во главе с крупным самцом. Они, видимо, шли на водопой к потоку. Заметив нас, вожак на секунду остановился, повернул свою красивую голову, украшенную ветвистыми рогами, дал движением головы сигнал об опасности, повернулся и с быстротой молнии умчался. За ним мгновенно понеслось все стадо и исчезло в зарослях.

Мы стояли, очарованные этой волшебной карти-

ной, жалея, что спугнули красивых быстроногих животных. Вечером мы вместе написали открытку сестре Феликса Альдоне, которой он, занятый работой, давно не писал. Утром на следующий день шел мелкий дождик, все кругом заволочло таким туманом, что, стоя на берегу прекрасного Морского Ока, совсем не видно было озера.

О восхождении на Рысы и дальнейшем пути в горы нечего было и думать, тем более что близился к концу и недельный отпуск Юзефа. Не было другого выхода, как вернуться по шоссе от Морского Ока в Закопанэ. Мы так и сделали. Денег, чтобы нанять лошадей, у нас не было. Поэтому мы пошли пешком. Тридцать километров по шоссе до Закопана мы прошагали за 6 часов. Однако идти пришлось все время в таком густом тумане, что стоило только одному из нас отойти в сторону на несколько шагов, как мы уже не видели друг друга. Разумеется, не видели мы и живописных окрестностей у дороги, по которой шли.

Переночевав в каком-то домике на окраине Закопанэ, мы поездом вернулись в Краков.

Дождь и туман несколько испортили нашу вылазку в горы, но, несмотря на это, она доставила нам много радости. Ее можно назвать нашим свадебным путешествием.

Через несколько дней после возвращения в Краков я переехала к Юзефу. Мартин уехал из Кракова на отдых и освободил комнатку, которую он занимал в квартире, где жил Юзеф. Мы с Юзефом переебрались в эту комнатку. Вся наша обстановка состояла из двух железных кроватей и маленького столика у окна.

После возвращения с Татр Юзеф получил невыездные вести из Варшавы: были арестованы Гемборек и несколько других товарищей, о чем я уже упоминала.

В связи с отъездом Мартина (Тлустый) из Кракова Юзеф запросил Главное Правление, нет ли возражений против того, чтобы я помогала ему в работе. После этого Юзеф поручил мне заграничную администрацию «Млота». Я помогала ему также вести корреспонденцию с Королевством Польским. Кроме того, я продолжала приводить в порядок архив и переписывать рукописи прокламаций и материалов для «Червоного Штандара», отправляемых в набор и печать в Королевство Польское. Как и раньше, Юзеф сам занимался переписыванием и пересылкой этих материалов.

Характерной чертой Юзефа была его строгая конспиративность. Он тщательно соблюдал принцип, что о конспиративных делах должны знать только те лица, которых это непосредственно касается, которым полагается знать это для работы. И даже самый близкий, самый достойный доверия товарищ, если вопрос не касался его работы, не должен был знать об этом. В переписке с товарищами у него был для каждого свой особый ключ для зашифровки наиболее конспиративных текстов и слов, написанных химическим способом. Эти слова он зашифровывал сам. Так, например, в переписке с Вацлавом (Копець) он пользовался ключом «Матка боска ченстоховска» («Ченстоховская божья мать»), а в письмах к Олекку, рабочему Домбровского угольного бассейна, ключом были слова из популярной народной песни «Ког-

да будет солнце и хорошая погода». Поэтому о способах пересылки в Королевство Польское материалов для «Червоного Штандара» или прокламаций знал только тот, кому они были предназначены.

Однажды поздно ночью мы с Юзефом закончили переписывать материал в очередной номер «Червоного Штандара». Затем я увидела, что Юзеф что-то мастерит из куска картона. Не подозревая, что он занят конспиративной работой, я напомнила ему о сне. Юзеф ничего не ответил и продолжал свою работу с картоном.

Чем он тогда был занят, я узнала только в конце ноября 1910 года, когда собиралась уезжать в Королевство Польское для выпуска очередного номера «Червоного Штандара» и когда материалы для этого номера были предназначены мне. Оказалось, что эти материалы Юзеф высылал в картонном паспорту, замаскировав их какой-нибудь невинной картинкой.

Такая тщательная конспирация была необходима для того, чтобы избежать ненужных разговоров или провалов и чтобы в случае спровоцированного провала легче можно было раскрыть провокатора.

Сын Феликса и Софьи появился на свет в женской тюрьме «Сербия», куда его мать попала после провала организации.

«Во время общей прогулки политических заключенных я обычно проводила беседы на политические темы для нескольких товарищей, интересовавшихся этими вопросами.

Коротали мы время, занимаясь и полезным рукоделием — шили приданое для моего будущего малыша.

Мачеха прислала мне материал для приданого, в том числе и шерсть кремового цвета, из которой под руководством Франки я крючком связала две теплых кофточки. Они оказались спасительными в условиях холодной сырой камеры.

Питание в «Сербии» было очень плохое и недостаточное. Отец в связи с моим положением добился разрешения приносить мне обеды. Вблизи «Сербии» жил старый член СДКПиЛ Ян Росол. Старичок доставлял некоторым заключенным в «Павиак» и в «Сербию» обеды из находившегося поблизости дешевого ресторана. Он и меня снабжал обедами, которые, разумеется, мы съедали вместе с Франкой, физически слабой, нервной и малокровной.

Примерно в середине мая привезли в «Сербию» из X павильона социал-демократку Розу Каган и поместили ее в камеру рядом с нашей. Вскоре оказалось, что Каган психически больна. Целыми часами днем и ночью колотила она табуреткой в дверь или пела трагическим голосом душераздирающие песни. Это создавало совершенно невыносимую обстановку.

Мы вызвали начальника тюрьмы и потребовали перевода Каган в психиатрическую лечебницу. Но тюремные власти не торопились, и Каган оставалась в «Сербии» почти до конца июня.

Однажды, когда мы выходили на прогулку, она начала выкрикивать клеветнические обвинения, назвав и мою фамилию, и чуть не столкнула меня с лестницы. Это было 21 июня, а на следующий день меня перевели в тюремный лазарет, помещавшийся одним или двумя этажами выше, где у меня 23 июня рано утром родился сын Ян.

Лазарет состоял из двух или трех палат и ванной комнаты. Меня положили в одну из этих палат, довольно просторную и солнечную комнату с двумя обычными окнами с матовым стеклом, хотя и за решетками, но без железных заслонов, как в камерах. Окна выходили на Дзельную улицу. Когда для проветривания палаты их открывали, я видела противоположную сторону улицы и идущих людей. Видела я также небосвод, акацию, маленький садик, ребят-шек, играющих во дворе дома напротив.

Ребенок родился преждевременно. Был он таким худеньким и слабеньким, что все открыто говорили о том, что он жить не будет. На третий день после рождения у него начались судороги, и я думала, что он умирает.

Только через несколько дней пришел тюремный врач, но, не входя даже в палату и не взглянув на ребенка, бросил: «В тюрьме не место для детей».

Судороги повторились на девятый день. Ребенок был слаб, а помощи и совета ждать неоткуда. Официальным путем послала я письмо своему отцу, сообщая о болезни Ясика. Не помню точно, через сколько дней после родов неожиданно разрешили мачехе прийти ко мне в лазарет. Мачеха ужаснулась, увидев худобу младенца. Но ребенок так ей понравился, что она нарисовала его нежный профиль. Я уже писала, что мачеха моя была художницей. Рисунок этот послали Феликсу в Краков. К сожалению, он не сохранился.

Мачеха принесла с собой небольшую записку от Феликса, которую она незаметно для караулившей нас надзирательницы передала мне.

Эта записочка Феликса, уже знавшего о состоянии нашего малыша, ободрила меня. Он выражал уверенность, что Ясик, несмотря ни на что, будет жить и вырастет здоровым.

Через несколько дней после моих родов в палату привели роженицу — уголовную, убившую свою пяти- или семилетнюю дочь и приговоренную за это к 12 годам каторги. В течение двух дней она непрерывно шагала взад и вперед по палате и, загадывая, сопровождала каждый свой шаг словами «изменят, не изменят» (приговор) и, когда получалось «не изменят», в отчаянии ломала руки.

Я следила за каждым ее шагом и дрожала от страха, когда она подходила к колыбели моего сокровища, боясь, чтобы она не сделала ему чего-нибудь плохого.

А она все ходила и ходила до последней минуты, и только успела лечь, как раздался крик ее ребенка. Родилась девочка, на удивление крупный и упитанный ребенок, несмотря на долгие месяцы, проведенные матерью в тюрьме.

Меня удивило отношение этой преступницы к родившемуся ребенку — глубина ее любви и нежности. Я не могла понять, как женщина, которая убила своего первого ребенка, систематически истязая его до тех пор, пока не замучила до смерти, может любить второго ребенка.

Оказалось, что первый ребенок был внебрачным, и семья ее или муж так донимали ее попреками по поводу этого несчастного ребенка, что она решила его убить.

После трех недель пребывания в лазарете, 14 ию-

ля 1911 года, меня перевели в маленькую камеру, в отделение, где сидели уголовные, так как наше отделение ремонтировалось. Я оказалась совершенно оторванной от товарищей. А через несколько дней я вернулась со своим малышом в ту камеру, где сидела раньше. Она показалась мне еще более мрачной, темной и сырой, чем прежде. Мы опять были в камере вместе с Франкой. Она с величайшей нежностью относилась к моему сынишке.

Я была рада, что снова не одна, что вижусь с товарищами, могу с ними общаться. В лазарете за все время только один раз Франке разрешили меня навестить.

Снова я начала ходить на свидания с отцом, получать через него письма от Феликса.

Но для Ясика пребывание в тюрьме было вредным. Через несколько дней он простудился и начал кашлять и чихать.

У меня не было никакого опыта по уходу за грудными детьми, поэтому я попросила отца достать мне какое-нибудь книжное пособие и в точности придерживалась советов этой книги.

В тюрьме не с кем было посоветоваться. Тюремный врач, как я уже сказала, не смотрел даже на ребенка, и каждый раз, когда я его вызывала, он, стоя на пороге, только поучал меня, что в тюрьме не место для детей.

Между тем, несмотря на то, что я тщательно выполняла все книжные указания по уходу за ребенком, у него все время болел животик. Нас постигла новая беда: у меня не стало хватать молока.

Встал вопрос о прикармливании. А в тюремных

условиях это было нелегко. Варить Ясику и греть молоко было не на чем. Держать в камере спиртовку даже с сухим спиртом не разрешалось. Не помню уже, кто посоветовал мне варить на маленькой (кухонной) керосиновой лампочке, которая освещала камеру.

Для этого отец принес мне жестяной кружок, который надевался на ламповое стекло. На кружок этот ставился горшочек с водой и геркулесом или молоком. Такая керосинка была не из удобных. Во-первых, лампочка из-за недостаточного притока воздуха часто чадила, наполняя помещение вонью и копотью. Во-вторых, если я на минуту отрывалась от горшочка, чтобы заняться Ясиком, закипевшая овсянка заливала пламя, и лампочка гасла. Вечером в темноте трудно было и ребенка перепеленать, и лампочку очистить, и снова зажечь.

Все же кое-как я со всем этим справлялась и три раза в день прикармливала сынишку. Но такое питание для трехмесячного ребенка было не очень подходящим, и изо дня в день его сильно мучили боли в желудке и кишечнике. Бедняжка вечером плакал и кричал по нескольку часов, я же была совершенно беспомощна, носила его на руках и заливалась горькими слезами. Я искала совета в пособии для молодых матерей, но не нашла там ничего. Книжка не была рассчитана на ребенка, растущего в тюрьме. Снова вызвала я тюремного врача, надеясь, что, может быть, плач младенца тронет его, но он, как обычно, с порога камеры бросил мне свое: «В тюрьме не место для детей» и, не дав никакого совета и не сказав больше ни слова, ушел.

Более человеческой оказалась надзирательница. Она заходила в камеру, советовала дать ребенку чай, сделать компресс на животик.

В книжке прочла я и другие советы, но они были неподходящими. Тогда я убедилась в том, что слепо придерживаться книжных указаний без учета практики нельзя. Мой сын страдал из-за тюремных условий и моей неопытности, и меня в такие вечера охватывало отчаяние.

Зато, когда Ясик был сыт и здоров, он своей улыбкой и лепетом доставлял мне столько радости, что она вознаграждала за прочие муки и отчаяния вечера. В тяжелой тюремной обстановке, в мертвой вечерней тишине смех ребенка был ясным солнечным лучиком, напоминанием о радостях жизни».

До 1918 года Мушкат с сыном жила в Швейцарии. А потом, в разгар Красного террора, состоялась встреча после долгой разлуки.

«Тяжелые переживания и непрерывная работа днем и ночью очень истощили силы Феликса. Здоровье его уже давно было подорвано тюрьмой и напряженным трудом. В то время ему, естественно, было не до того, чтобы писать письма. Поэтому целый месяц я не имела от него никаких вестей. Только в начале октября получила я от Феликса письмо от 24 сентября 1918 года. От него веет большой усталостью: «Тихо сегодня как-то у нас в здании, — писал он в этом письме, — на душе какой-то осадок, печаль, воспоминания о прошлом, тоска. Сегодня — усталость может быть — не хочется думать о делах, хотелось бы быть далеко отсюда и ни о чем, ни о чем не думать, только чувствовать жизнь и близких око-

ло себя... Так солдат видит сон наяву в далекой и чужой стране... Так тихо и пусто здесь в моей комнате — и чувствую тут близость с вами. Как когда-то там, в тюрьме. Я сейчас все тот же. Мечтаю. Хотелось бы стать поэтом, чтобы пропеть вам гимн жизни и любви... Может, мне удастся приехать к вам на несколько дней, мне необходимо немного передохнуть, дать телу и мыслям отдых и вас увидеть и обнять. Итак, может быть, мы встретимся скоро, вдали от водоворота жизни после стольких лет, после стольких переживаний. Найдет ли наша тоска то, к чему стремилась.

А здесь танец жизни и смерти — момент поистине кровавой борьбы, титанических усилий...»

Весть о предполагаемом приезде Феликса к нам в Швейцарию несказанно обрадовала нас с Ясиком, и мы с нетерпением стали ждать. Значительно позднее, через 10 лет после смерти Феликса, в Музее Революции в Москве на собрании, посвященном памяти Ф. Э. Дзержинского, я узнала из выступления Клавдии Тимофеевны Свердловой, что инициатором этой поездки был Яков Михайлович Свердлов. Об этом же пишет она и в своей книге «Яков Михайлович Свердлов»:

«Пойдем-ка к Феликсу Эдмундовичу, — предложил Яков Михайлович, — не нравится он мне в последнее время. Вид у него архискверный, на квартире у себя со всем не бывает, пропадают круглые сутки на работе, надо посмотреть, как он живет.

Пришли мы на Лубянскую площадь, в ВЧК... Дошли до кабинета Дзержинского. Заходим. Феликс Эдмундович согнулся над бумагами. На столе перед

ним полупустой стакан чаю какого-то мутно-серого цвета, небольшой кусочек черного хлеба. В комнате холод. Часть кабинета отгорожена ширмой, за ширмой — кровать.

Увидев нас, Феликс Эдмундович с радостной улыбкой поднялся навстречу. С Яковом Михайловичем их связывала большая, горячая дружба. Мы сели к столу, причем я ясно видела кровать Дзержинского, покрытую простым суконным солдатским одеялом. Поверх одеяла была небрежно брошена шинель, подушка смята. Было ясно, что Дзержинский как следует не спит, разве приляжет ненадолго, не раздеваясь.

Просидев у Дзержинского около часа, мы вышли на улицу. Яков Михайлович был необычайно сосредоточен и задумчив. Некоторое время шли молча.

— Плохо живет Феликс, — заговорил Свердлов, — стогрит. Не спит по-человечески, питается отвратительно. Нельзя так дальше. Надо предпринять что-то, с Ильичом посоветоваться, но без семьи ему нельзя, пропадет Дзержинский... Семью обязательно надо вытащить. И им без него нелегко, и ему тяжело. Приедет семья, квартира оживет, Дзержинский хоть изредка станет бывать дома, сможет отдохнуть в домашней обстановке».

Клавдия Тимофеевна добавляет, что Свердлов не успокоился, пока Феликс не съездил к нам за границу и пока мы не приехали в Москву.

Однажды в начале октября меня вызвал к себе в кабинет советский посол Берзин и под большим секретом сообщил, что Феликс уже находится в пути к нам.

А на следующий день или через день после 10 часов вечера, когда двери подъезда были уже заперты, а мы с Братманами сидели за ужином, вдруг под нашими окнами мы услышали насвистывание нескольких тактов мелодии из оперы Гуно «Фауст». Это был наш условный эмигрантский сигнал, которым мы давали знать о себе друг другу, когда приходили вечером после закрытия ворот. Феликс знал этот сигнал еще со времен своего пребывания в Швейцарии — в Цюрихе и Берне в 1910 году. Пользовались мы им и в Кракове. В Швейцарии был обычай, что жильцы после 10 часов вечера сами отпирали ворота или двери подъезда. Мы сразу догадались, что это Феликс, и бегом помчались, чтобы впустить его в дом. Мы бросились друг другу в объятия, я не могла удержаться от радостных слез. Феликс только что приехал в Берн вместе со своим товарищем членом коллегии ВЧК Варлаамом Аванесовым. Остановились они оба в гостинице напротив вокзала. Феликс изменился неузнаваемо. Он приехал инкогнито, под другой фамилией (Феликс Доманский) и, чтобы не быть узнанным, перед отъездом из Москвы сбрил волосы, усы и бороду. Но я его, разумеется, узнала сразу, хотя был он страшно худой и выглядел очень плохо.

Мальчики уже спали, поэтому я показала Феликсу Ясика, спящего в кровати. Феликс долго всматривался в него, не в силах оторвать глаз. Он тихонько поцеловал его, чтобы не разбудить. На лице его отражалось сильное волнение и растроганность.

Мы вместе поужинали и провели несколько часов в беседе, потом Феликс вернулся в гостиницу. На следующий день утром он пришел к нам, чтобы уви-

деть Ясика. Сын, разумеется, знал уже от меня о приезде отца и с нетерпением ждал его прихода. Но когда я открыла входные двери Феликсу и Ясик увидел его лицо, не похожее на то, которое он хорошо знал по фотографии 1911 года, постоянно стоявшей у нас на столе, а также по другим фотографиям его с густой шевелюрой, с усами и бородкой, мальчик с плачем убежал и спрятался за дверями, ведущими в столовую, и в течение нескольких минут не хотел выходить оттуда.

Мы оба, я и Феликс, убеждали ребенка, что это и есть его собственный отец, но Ясик хоть и успокоился, однако долго не хотел верить, что это его отец.

Феликс великолепно умел говорить и играть с детьми, поэтому вскоре завоевал доверие и симпатию Ясика. Он привез сыну купленный в Берлине замечательный подарок: большую коробку «мекано» (конструктор) с металлическими частями разной величины и формы. Из них можно было собирать самые различные предметы по приложенным образцам: здания, ветряные мельницы, мосты и т. д.

Ясик очень обрадовался подарку и многие годы часами строил разные конструкции. А когда вырос, подарил эту коробку «мекано» воспитанникам польского детского дома имени Розы Люксембург в Москве.

На время пребывания Феликса в Швейцарии мне дали в Советской миссии отпуск. Мы все троем пошли гулять в город. Ясик сводил отца в свое любимое местечко, где среди деревьев и цветочных клумб в глубокой яме находились бурые медведи. Ясик любил часами наблюдать за медведями, кормить их

пряниками и любоваться их смешными движениями.

В тот же день Феликс тяжело заболел гриппом и несколько дней пролежал в постели с высокой температурой. Я сидела около него целыми днями, к тому же в гостинице некому было за ним ухаживать. Но на третий день, когда температура спала, Феликс ни за что не захотел остаться в помещении и, несмотря на мои просьбы, встал и вышел со мной на воздух.

В Берне не было условий для отдыха, который был так необходим Феликсу, и мы решили поехать на неделю в Лугано, где был чрезвычайно здоровый климат и прекрасные виды. Поехали мы втроем поездом сначала в Люцерну, а переночевав там, — в Лугано. Феликс был еще очень слаб после перенесенной болезни, но счастлив и весел. В вагоне было мало людей, и мы сидели только втроем в купе. Нет слов, чтобы описать ту радость и счастье, какое испытывали, сидя рядышком, разговаривая и играя, сын и отец. Они ведь, собственно, впервые были вместе и познакомились друг с другом. Феликс рассказывал Ясику разные интересные и смешные вещи, учил его всевозможным фокусам и веселым проделкам. А Ясик весело смеялся.

В Лугано мы приехали вечером и остановились в гостинице на самом берегу озера с чудесным видом на него и на окружающие это озеро горы. В Лугано мы совершали замечательные прогулки и катались на лодке. Феликс очень любил грести и садился на весла, а я управляла рулем. Мы сфотографировались на берегу озера, затем на подвесной дороге поднялись на вершину ближайшей горы, где провели несколько часов.

Однажды произошел неприятный случай. В тот момент, когда мы на пристани в Лугано садились в лодку, тут же рядом с нами, с правой стороны, пристал пароходик, на палубе которого рядом с трапом стоял... Локкарт, английский шпион. В Советской России он занимал высокий дипломатический пост и был организатором ряда контрреволюционных заговоров против Советской власти. Незадолго до этого он был арестован в Москве, и Дзержинский лично допрашивал его. Как официального дипломата, его не подвергли заслуженному наказанию, во выслали за пределы Советского государства.

Феликс узнал его сразу. Об этой встрече он сказал мне, когда мы уже отплыли от пристани. Английский же шпион, к счастью, не узнал Феликса. так была изменена его внешность. Притом этому врагу даже в голову не могло прийти, что председатель ВЧК находится в Швейцарии.

Увы, через несколько дней в Лугано испортилась погода, густой туман окутал озеро, пошел дождь, и прогулки наши пришлось прекратить. Мы ждали день, другой: не улучшится ли погода, проводя время в длительных душевных беседах. Феликс отсыпался и немного отдохнул от своих сверхчеловеческих трудов. Потом мы вернулись в Берн.

25 октября Феликс должен был с Аванесовым уехать из Берна, кончался срок их отпуска. Они торопились с отъездом еще и потому, что пришло сообщение о начале революции в Германии.

Нам с Ясиком ехать в Москву вместе с Феликсом было нельзя, поскольку Феликс был в Швейцарии инкогнито. Кроме того, Феликс боялся, что тяжелые

условия, какие в то время были в Москве, плохо отразятся на здоровье Ясика. Поэтому он советовал мне еще немного повременить с отъездом в Советскую Россию.

Мы распрощались с ним, как оказалось потом, на несколько месяцев.

Еще до переезда швейцарско-германской границы из Винтертура 25 октября Феликс послал мне небольшое прощальное письмо с обещанием часто писать.

Но обстоятельства сложились так, что наша переписка снова прервалась на продолжительное время.

Представитель Советского Красного Креста Сергей Багоцкий, вероятно, при помощи швейцарских социал-демократов получил разрешение отправить из Швейцарии через Германию в Россию большое число русских военнопленных, бежавших из германского плена в Швейцарию, где они довольно долго были интернированы. Был организован специальный эшелон, которым отправлялись на Восток 500 русских военнопленных.

С этим эшелоном выехала также небольшая группа политэмигрантов из России, коммунистов и членов других партий: Сергей Петропавловский (старый большевик) с женой и двумя сынишками, я с Ясиком, бывший сотрудник Советской миссии Рейх, интернированная в Берне жена Любарского и, кажется, еще два-три лица. Комендантом эшелона был Петропавловский. До границы, до Базеля, эшелон сопровождал швейцарский левый социал-демократ, потом коммунист Ф. Платтен, который в 1917

году сопровождал В. И. Ленина во время его возвращения из Швейцарии в Россию. Он же организовывал и предыдущие эшелоны с политэмигрантами в Россию.

В Базеле мы узнали от Платтена о преступном убийстве германским социал-демократическим правительством Шейдемана-Носке вождей Коммунистической партии Германии Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Весть эта удручила меня страшно, и я всю дорогу не могла прийти в себя.

Везли нас в неудобных швейцарских вагонах, не приспособленных к длительным поездкам, с короткими скамейками на два сидячих места. Поэтому всю дорогу, продолжавшуюся свыше двух недель, невозможно было лечь и отдохнуть.

Вагоны были запломбированы, поезд на станциях нигде не останавливался. Германские социал-демократические власти, точно так же, как власти императора Вильгельма II, боялись «коммунистической заразы». Польское буржуазное правительство не дало, видимо, разрешения на проезд нашего эшелона кратчайшим путем через Польшу. Поэтому мы ехали через Пруссию до Кенигсберга (ныне Калининград), а оттуда в Белосток и дальше, в сторону Минска.

Однажды вечером мы прибыли на станцию Замирье (Белоруссия), находившуюся в то время еще в руках немцев. Там нужно было перевести наш поезд на другой железнодорожный путь. Но паровоза не было.

Поздно ночью ко мне подошел товарищ Петро-

павловский и под большим секретом от других товарищей и от своей жены, чтобы их не волновать, сказал мне об угрожающей нам опасности. Он узнал, что противоположный перрон, к которому должен быть подан наш состав, и часть пути к Минску находятся в руках петлюровцев, люто ненавидевших большевиков. Они могли с нами расправиться. Петропавловский и я провели ночь в большой тревоге. Среди ехавших в нашем эшелоне были анархисты, враждебно настроенные по отношению к большевикам и вообще недовольные Петропавловским и мной за противодействие их авантюризму еще во время нашего пребывания в Цюрихе и моей работы в секретариате русских эмигрантских касс.

К счастью, паровоза ночью не подали, а когда рассвело, мы неожиданно, к величайшей радости, услышали крики «ура!» и увидели солдат в красноармейской форме. Оказалось, что ночью Красная Армия прогнала петлюровцев, очистила от них противоположный перрон и дальнейший путь к Минску. Мы были спасены. Нас охватила неопишуемая радость при виде красноармейцев. Мы были среди самых близких друзей. Выйдя из вагона, я с радостью увидела в руках нескольких красноармейцев газету.

Вскоре подали паровоз и нас перевели на другой путь. Мы благополучно доехали до Минска. Хотя это было уже недалеко, но ехали мы несколько дней. Поезду приходилось останавливаться и простаивать часами, чтобы пропускать следующие на фронт эшелоны с советскими войсками.

В Минске мы переночевали в совершенно пустом, без всякой мебели, вокзале на голом полу, но счаст-

ливые тем, что мы на советской земле. Из Минска товарищ Петропавловский послал телеграмму Дзержинскому, сообщая о прибытии эшелона с русскими пленными и нами.

На следующее утро в Минске нам подали уже русский состав, а швейцарский вернулся обратно.

Поезд наш состоял исключительно из товарных вагонов. Была только одна теплушка — пассажирский вагон четвертого класса. Этот вагон обогревался. Все остальные вагоны не отапливались, а ведь был тогда конец января, и морозы стояли трескучие. В теплушку поместили нас — женщин и детей, а также больных эмигрантов и военнопленных. Петропавловский и Рейх ехали в неотапливаемом вагоне. Только время от времени, когда поезд стоял, они заходили к нам в теплушку, чтобы немного обогреться.

Мы продолжали двигаться вперед очень медленно, пропуская военные эшелоны. От Смоленска движение пошло быстрее.

Первого февраля 1919 года, в субботу, мы прибыли в Москву, в столицу первого в истории социалистического государства.

На Александровском вокзале (ныне Белорусский) нас встречал Феликс вместе со своим помощником чекистом Абрамом Яковлевичем Беленьким.

Феликс занялся прежде всего устройством прибывших из Швейцарии политэмигрантов и военнопленных. Политэмигранты временно были помещены в третьем Доме Советов. Покончив с этими делами, Феликс вернулся к нам, и мы поехали на машине по Тверской улице (ныне ул. Горького) в Кремль на квартиру Феликса, которую он получил незадолго до

нашего приезда. Это была просторная, высокая комната с двумя большими окнами на втором этаже так называемого кавалерского корпуса. Рядом с нами жил секретарь ВЦИКа А. С. Енукидзе. С другой стороны дверь из нашей комнаты вела в большую комнату с тремя окнами, где тогда помещалась столовая Совета Народных Комиссаров. Кухня была на противоположной стороне коридора, и ею пользовались все товарищи, жившие в этой части корпуса.

Через некоторое время мы перебрались в небольшую квартиру на первом этаже этого же кавалерского корпуса.

На следующий день после нашего приезда, несмотря на то что было воскресенье, Феликс, как обычно, пошел на работу в ВЧК на Большую Лубянку, 11 (ныне улица Дзержинского).

Мы вышли с ним вместе. Феликс вывел нас из Кремля через Троицкие ворота. Это были тогда единственные открытые ворота Кремля как для пешеходного движения, так и для машин. Только позднее для въезда и выезда были открыты Спасские ворота. Феликс пошел с нами через Александровский сад на Красную площадь. Здесь он показал нам могилы борцов, погибших в дни Великой Октябрьской революции и похороненных у Кремлевской стены. Показал он нам также памятники старины на Красной площади: храм Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Лобное место. Потом мы вышли на площадь Революции, где как раз проходили учебные занятия Красной Армии: Феликс с гордостью и любовью говорил нам о молодой Красной Армии и ее героических подвигах. Тут мы распроща-

лись. Феликс пошел на работу в ВЧК, а мы с Ясиком походили еще немного по городу и вернулись домой.

Зима в тот год была исключительно хороша: морозная и солнечная. За весь февраль не было ни одного пасмурного дня, температура держалась постоянная — 20 градусов мороза. Я была восхищена московской зимой, особенно в сравнении с цюрихской зимой с ее туманами даже в хорошие дни. Москва имела тогда необычный вид. Почти все магазины из-за отсутствия товаров были закрыты, витрины забиты досками. В просветы окон, между досками, было видно, как бегают крысы в поисках съедобного. На улицах вдоль домов тянулись высокие валы обледелого снега. Даже в Кремле горы снега были так высоки, что закрывали весь первый этаж. Тротуары были покрыты толстым слоем льда. Движения, кроме пешеходного, на улицах почти не было. Изредка лишь проходили трамваи, переполненные людьми. Сесть в такой трамвай было невозможно. Легковых машин было очень мало, и из-за их малого количества и нехватки бензина ими пользовались лишь ответственные партийные и государственные работники для служебных целей.

Я. М. Свердлов с семьей жил в Кремле. В Аде, как уменьшительно звали их мальчика, Ясик нашел товарища своих детских игр. Они вместе ходили в детский сад, организованный для детей рабочих и служащих Кремля. Потом мальчики вместе посещали начальную школу в Кремле. Заведовала этой школой Клавдия Тимофеевна Свердлова.

Когда мы уезжали из Швейцарии, Ясик ни слова не знал по-русски. По пути в Москву, находясь в

русском окружении, он научился кое-что понимать и усвоил какое-то количество русских слов, но говорить по-русски не умел. Чтобы иметь возможность работать, я отдала Ясика в детский сад. Там он в течение нескольких недель настолько овладел русским языком, что свободно понимал и мог говорить.

В течение всего 1919 года Феликс Эдмундович работал целыми днями и ночами в своем кабинете на Большой Лубянке, 11, заходя лишь наскоро пообедать, и то не всегда, в кремлевскую столовую и заглядывая на минутку к нам. Мы с ним мало виделись. Раза два я была у Феликса в кабинете на Лубянке. Это была небольшая комната с одним окном, выходящим во двор. Большой письменный стол стоял прямо против входа. На небольшой этажерке стояла в деревянной рамке фотография 5-летнего Ясика с грустным, задумчивым личиком. Эту фотографию я послала Феликсу в тюрьму. Она всегда была с ним и стояла у него в кабинете до последней минуты его жизни. Старая большевичка М. Л. Сулимова говорила мне, что, зайдя однажды по делу к Феликсу Эдмундовичу, она увидела эту фотографию и стала ее рассматривать. Феликс, заметив это, объяснил: «Я так мало бываю дома, так редко вижу сына».

На стене позади письменного стола висела в плюшевой рамке фотография Розы Люксембург, а также плакат с надписью: «Дорога каждая минута». Феликс сам умел использовать каждую минуту для работы и требовал, чтобы приходявшие к нему товарищи отнимали у него не больше времени, чем это было необходимо для решения вопроса, по которому они пришли.

Вскоре после приезда в Москву я вступила в группу СДКПиЛ при Московском комитете РКП(б).

По решению VIII Всероссийской конференции РКП(б), состоявшейся 2—4 декабря 1919 года, были организованы из коммунистов части особого назначения (ЧОН). Все коммунисты и комсомольцы были обязаны входить в ЧОН для того, чтобы обучиться владеть оружием.

Мы, члены партийной организации, в которую я входила, мужчины и женщины, собирались 2—3 раза в неделю на военные занятия на Страстном бульваре. Там нас знакомили с устройством винтовки и проводили с нами строевые занятия.

После определения Ясика в детский сад я начала работать в Народном комиссариате просвещения сначала инструктором в школьном отделе, а потом в отделе национальных меньшинств в качестве заведующей польским подотделом. Отделом национальных меньшинств Наркомпроса руководил Феликс Кон. Наркомпрос помещался тогда на Зубовском бульваре. В 1919 и последующих годах не хватало топлива. В квартирах и советских учреждениях было холодно. В Наркомпросе, где я работала до весны 1920 года, было так холодно, что замерзали чернила. Приходилось сидеть в зимних пальто, невозможно было выдержать больше нескольких часов. Это, конечно, отражалось на работе.

Снабжение населения продуктами питания было тогда очень плохим. По карточкам выдавали по четверти фунта (100 граммов) ржаного хлеба, часто с соломой. В государственных учреждениях для работников были организованы столовые, но обеды там

были плохие. О мясе не было и речи. В кремлевской столовой, которая снабжалась лучше, чем другие столовые, обеды состояли главным образом из пшенной каши. В Наркомпросе кормили кислыми щами, изредка сушеной воблой, поэтому уже при входе в здание в нос ударял запах кислой капусты.

Несмотря на голод, холод и страшные трудности, переживаемые Советской страной в первые годы революции, дети были окружены особым вниманием и заботой. Для них существовали особые продуктовые карточки. Отказывая себе в самом необходимом, детям давали все, что только было возможно.

Лето 1919 года наша семья провела в Москве. Только раза два или три мы вдвоем с Феликсом выезжали на воскресенье в Сокольники, где несколько руководящих работников МЧК жили на небольшой даче. Ясика мне удалось на короткий срок поместить в летнюю колонию для детей сотрудников ВЧК в Пушкино под Москвой.

Феликс был скромен в пище и не позволял, чтобы ему давали лучшую еду. Чтобы заставить его съесть что-нибудь попитательнее или повкуснее, приходилось прибегать к хитрости, но и это не так легко удавалось.

В Кремле Феликс не раз сам ходил в кубовую за кипятком, не позволяя мне это делать. До конца своих дней он сам чистил себе обувь и стелил постель, запрещая это делать другим. «Так приучила меня мать», — говорил он, когда я пыталась это сделать».

«ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ»

В 1858 году основоположник научного коммунизма Карл Маркс писал:

«Каждый, кто сколько-нибудь знаком с историей, знает также, что великие общественные перевороты невозможны без женского фермента».

В ноябре 1918 года продолжатель учения и дела Маркса — Ленин говорил с трибуны I Всероссийского съезда работниц: «Не может быть социалистического переворота, если громадная часть трудящихся женщин не примет в нем значительного участия... Из опыта всех освободительных движений замечено, что успех революции зависит от того, насколько в нем участвуют женщины».

Большевистские позиции по женскому вопросу широко пропагандировались во время празднования Международного женского дня 8 марта. Старая большевичка Александра Григорьева-Алексеева отмечала, что уже первое празднование этого дня в России в 1913 году проходило под лозунгом «Женское рабочее движение — это приток, вливающийся в многоводную реку пролетарского движения и придающий ему силы».

Зинаида Ивановна Легоньякая (Холоднова) родилась в 1895 году. Член КПСС с 1918 года. Участница октябрьских боев в Москве. До 1922 года была в Красной Армии, работала в ВЧК — ОГПУ. В счет парттысячи была послана на учебу в Московский финансовый институт, который окончила в 1933 году. До 1941 года находилась на хозяйственной рабо-

те, оставила воспоминания о своих молодых годах.

«Московские большевики, получив сведения о свержении Временного правительства, немедленно создали боевые центры партии и Советов для руководства восстанием. Были избраны районные военно-революционные комитеты. Замоскворецкий военно-революционный комитет находился на Калужской площади. Штаб Красной гвардии привел в боевое состояние красногвардейские отряды, наметил важные объекты, которые необходимо было взять в свои руки. Большевики организовали сотни, боевые десятки вооруженных рабочих, добывали оружие, создавали санитарные отряды, перевязочные и питательные пункты.

В 1917 году я работала кондуктором в Замоскворецком трамвайном парке. Наши рабочие готовили материальные средства, оборудовали броневой, разведывательный и санитарные вагоны, собрали лопаты, кирки, подготовили мешки с песком и т. д.

25 октября (ст. ст.), после экстренного партийного собрания, на котором нам объявили о начале вооруженного восстания в Москве, мы направились в штаб Красной гвардии. Сюда же прибыли представители от воинских частей, расположенных в районе, и от имени солдат заявили, что они готовы стать в ряды революционной армии.

После собрания меня оставили дежурить в Совете у телефона. Около часу ночи телефонная связь прервалась. Меня вызвал начальник разведки т. Сычев и поручил подобрать несколько верных товарищей из рабочих трамвайного парка и пойти в разведку. Маршрут — Пятницкая улица — Москворецкий

мост — Красная площадь — площадь Скобелевская. Здесь в теперешнем здании Моссовета помещался Московский военно-революционный комитет; мы должны были доставить ему результаты разведки, получить от него инструкции и вернуться в районный штаб.

Рабочие и работницы нашего парка Коркин, Чугунов, Крюкова, Иванов, Лапин и я через Москворецкий мост прошли к Красной площади. Чтобы знать, сколько у ворот Кремля стоит юнкеров, мы условились: я пойду вдоль Кремлевской стены и у ворот буду класть крестные поклоны. Мои же товарищи, идя по трамвайной линии (тогда трамвайная линия проходила очень близко от Кремлевской стены), будут наблюдать и подсчитывать число поклонов, что должно означать количество юнкеров. Так мы и сделали. Когда я, «помолившись», прошла к Никольским воротам по аллее (где сейчас братские могилы погибших в дни Октября), меня юнкера стали гнать на мостовую, приставать и говорить пошлости. Притворилась, что ничего не знаю. Спрашиваю: «Почему нельзя идти? Мне надо на работу в Сокольнический парк».

Юнкера говорят:

— Завтра вам работать не придется, будем вешать большевиков. Идти же здесь нельзя, потому что в Кремле засели большевики, ждут помощи. Не дождутся: уморим голодом...

После этого я отправилась к Никольским воротам и опять стала бить поклоны. Отсюда были видны юнкера, расположившиеся и в Историческом музее, и вдоль Александровского сада. Соединилась со своими

товарищами, идем вместе. И вдруг вылетают из Александровского сада двое верховых казаков, кричат:

— Стой, кто идет?

Говорим:

— Трамвайчики, идем на работу в Сокольники.

Мы с Крюковой были в кондукторской форме, с сумками, а ребята в кожаных куртках — слесари.

Не хотят нас пропускать, а мы не останавливаемся, идем вперед. Тогда один из казаков махнул рукой: «Ну черт с ними, пусть идут. Попадет шальная пуля в голову — туда им и дорога...»

Выбрались на Воскресенскую площадь, пошли к городской думе. Там тоже юнкера, но немного больше. Через Театральную площадь около «Континенталя» идем на Большую Дмитровку, доходим до Столешникова переулка. Здесь мертвая тишина. А у Камергерского уже наши патрули, красногвардейцы.

Приходим в Московский ревком, сообщаем о пройденном маршруте и юнкерах.

Получаем новое задание — пройти к Большому и Малому театрам и гостинице «Метрополь», посмотреть и снова вернуться в ревком. Разделились «по парочкам». Я с Коркиным прошла к Большому театру, а Иванов с Крюковой — к Неглинному и, обойдя Малый театр, вышли к нам навстречу. Видели юнкеров и в «Метрополе», причем из ворот слышался конский топот. У театров никого не видели, двери были закрыты. Вернулись в ревком, получили новое задание — пробраться к манежу и к Александровскому саду. Путь был опасный: всюду юнкера. Выручило то, что мы были молоды, легко вошли в роль

влюбленных парочек. Хотя и с грубыми окриками, но пропускали, а вслед грозились: «Увидим опять — пулю в лоб получите».

Мы шли по мостовой и нарочно громко разговаривали и смеялись. Манеж был ярко освещен, оттуда выходят уже не юнкера, а офицеры. Увидев нас в форме, кричат: «Идите, идите, черт вас тут носит!»

Доходим до Каменного моста. Мост освещен очень ярко. По эту сторону, на Ленивке и у храма Христа-Спасителя стоят офицеры. Беспрепятственно переходим через мост. Здесь нас встречает наша охрана, встретились и трамвайщики в своей засаде — трамвайном вагоне с погашенными огнями у Малого Каменного моста. Выполнив задание, мы явились в штаб.

На второй день боев вместе с вагоновожатым большевиком Панкратовым мы отправились на трамвайном моторе через Устинский мост по маршруту «А» к главному почтамту. Надо было узнать, кто занял почтамт. Около Мясницких ворот по нашему вагону стали стрелять. Панкратов быстро перешел к заднему контроллеру-мотору и погнал трамвай обратно. Мы поняли, что почтамт занят юнкерами. Возвратились в штаб, доложили о результатах разведки и пошли с отрядом красногвардейцев на Мытную улицу рыть окопы. Кончили это дело, опять ходили в разведку к Крымскому мосту.

Спустя несколько дней меня вновь вызывают и говорят:

«Вот, Легоньяка, нужно доставить бумажку в Московский военно-революционный комитет. Бумажка важного значения. Ее нужно спрятать так,

чтобы никто не мог найти. А доставить ее надо во что бы то ни стало...»

Бумажку тщательно скатали и зашили мне в петлицу кондукторской шинели. Отправилась я опять с Коркиным, хотя ему неизвестно было, с каким поручением я иду. Через Крымский мост, Зубовскую площадь, переулками вышли на Арбатскую площадь. Здесь в помещении Александровского военного училища находился штаб белых. Коркина со мной не пропустили, а я направилась через Арбатскую площадь к Никитскому бульвару. На площади меня задержал молодой офицер и отправил в комендатуру, в помещение кинотеатра, а затем меня повели в самое училище. Я испугалась, что важного поручения не выполнила и что бумажку могут обнаружить. В помещении у белых паника: наша тяжелая артиллерия обстреливает Арбат.

Меня обыскали и нашли только паспорт с пропиской 2-й Якиманской части. Какой-то офицер, увидев мою кондукторскую форму, закричал: «Ведите эту сволочь на чердак, пусть она послужит мишенью своим товарищам!» Ну, думаю, пропала: и поручения не выполнила — товарищей подвела и убьют зря. В глазах зарябило, не помню, как на чердаке оказалась. Помню лишь, когда втолкнули в низенькую дверь, я споткнулась и упала, а ноги остались за порогом. От ударов прикладом по ногам я потеряла сознание.

Сколько я так пролежала, не помню, но к вечеру меня повели на допрос. Спрашивают, кто я, откуда, куда направлялась. Я прикинулась простоватой и объясняю, что я кондуктор Замоскворецкого трам-

вайнго парка, была на дежурстве в Уваровском парке еще до боя и вот никак не попаду домой. Хотела, мол, пройти через Крымский мост, да большевики не пропускают.

Стали выпрашивать, много ли там большевиков и есть ли у них латыши и матросы. Начала я им сыпать, что у большевиков тьма-тьмушая народу, есть и латыши и китайцы, есть и те, «кто по небу летает». Говорю, а сама думаю: не повредила ли своим-то? Прошу пропустить меня хоть через Устинский мост. Посмотрели на меня, выругали и отпустили. Идти мне было очень трудно, опухли ноги. Одновременно со мной допрашивали солдата, его тоже освободили, и мы пошли с ним вместе по Знаменке и по Никитской.

У Никитских ворот шел сильный бой. Пошли через Брюсовский переулок к Моссовету, едва пропустили нас. Обрадовалась я, что все же дошла — выполнила поручение.

В военно-революционном комитете вспороли петлицу, вынули записку. Оказывается, я принесла план нашего наступления и расположения наших боевых частей. Тут же в записке просили прислать в район знающего военное дело товарища.

Когда узнали про мои больные ноги, поместили меня на 2-м этаже в помещении пулеметной команды. Здесь я помогала набивать пулеметные ленты. Пробыла я там около суток, а потом меня отправили в наш район. Вместе со мной на грузовике поехали солдаты с пулеметами «Максим» для Замоскворецкого района. С нами поехал молодой военный специалист. Окольными путями мы благополучно добрались в штаб своего района.

Вспоминается еще один эпизод — из поисков разведчика.

Было задание: чтобы установить расположение белых и их численность, выехать в трамвайном вагоне через Зацепу, Садовники, Устинский мост, Китайский проезд, Варваровскую площадь, Лубянскую площадь. До Лубянской все шло более или менее благополучно, но тут мы попали под перебитый провод и нас окружили юнкера и учащиеся в форме. Скомандовали: «Руки вверх!»

Обыскали нас. Ничего не обнаружили. От расправы нас, видимо, спасло то, что было объявлено перемирие и, на наше счастье, явился дежурный электростанции, указавший нам другой путь, по которому можно объехать. Объяснили юнкерам, что мы выехали на осмотр поврежденных линий, без чего, дескать, нельзя приступить к работе.

Выехали на Маросейку; у Армянского переулкa нас снова обступили белые, но тут как раз подошел красногвардейский отряд Рогожско-Симоновского района. Завязывается перестрелка, белые отступают. Сообщаем командирам о том, что видели, и едем дальше — к Земляному валу.

У Курского вокзала в это время разоружали поезд с офицерами-фронтовиками. Получили и мы часть оружия; поехали через Таганку в свой район, где и сдали оружие в штаб военно-революционного комитета.

В последние дни боев нас снова отправили с вагоном, но уже не в разведку, а за оружием в Симоновские пороховые погреба. Ехали в двух вагонах с прицепами. Было нас человек пятнадцать. Нагрузи-

ли вагоны и отвезли оружие в «арсенал» — в кино «Великан» на Серпуховской площади.

Другой раз мы ездили за оружием на Казанский вокзал, где оказался целый эшелон новых трехлинейных винтовок. Везили мы эти винтовки целый день...

Революция победила.

Штаб Красной гвардии Замоскворецкого района, а также наш штаб 3-й сотни при парке участвовали в охране города, банков и учреждений, несли патрульную службу.

Софья Ароновна Свириновская родилась в 1893 году. В дореволюционные годы по окончании Политехнического института работала в различных управлениях Министерства земледелия. После Октябрьского переворота — в Комитете государственных сооружений при Высшем совете народного хозяйства. С 1920 по 1934 год заведовала статистическим отделом ВЦИК. В последующие годы работала в Институте советского строительства. Министерстве высшего образования. Свои воспоминания назвала «Женщины в Советах».

«Осенью 1920 года меня вызвали в Центральное статистическое управление (ЦСУ) и предложили работать во Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете в качестве заведующей статистикой.

С большим внутренним волнением ступила я на землю древнего русского Кремля. Здесь теперь помещался ВЦИК — высший орган власти первого в мире пролетарского государства.

Длинные, немного сумрачные коридоры здания

правительства, полные тишины и строгости, усилили мое волнение. В управлении делами ВЦИК приняли меня приветливо и предложили сейчас же приступить к работе.

Вскоре я впервые встретила и разговаривала с председателем ВЦИК — «всероссийским старостой» Михаилом Ивановичем Калининым. И я подумала тогда: так вот он какой, президент нашей рабоче-крестьянской республики — мудрый, простой, доступный и благожелательный.

В течение всех лет, когда мне приходилось встречаться с Михаилом Ивановичем, он оставался таким же простым, человечным, готовым всегда помочь, приободрить. О порученной мне работе М. И. Калинин сказал, что считает статистику крайне необходимой для нашего молодого социалистического государства. Михаил Иванович посоветовал прочесть труды Ленина по вопросам статистики и, в частности, указал на доклад Владимира Ильича об экономическом положении рабочих Петрограда и задачах рабочего класса, где говорится:

«Не в организации лиц, а в организации всей трудящейся массы лежит залог успеха, и если мы этого достигнем, наладим хозяйственную жизнь, то само собой отменится все противодействующее нам».

Вот, говорит мне М. И. Калинин, если Вы сможете отразить в цифрах участие трудящегося населения в управлении государством, как в центре, так и, в особенности, в местных органах власти, это очень ценно, очень важно, это будет помогать и нам — руководителям.

Михаил Иванович сказал, что нужно особо учи-

тывать участие женщин во всех органах Советской власти.

В связи с этим мне вспоминаются высказанные им мысли о значении Советов. Советы возникли в результате революционной борьбы пролетариата. Советы выстраданы массами, созданы ими. Советы — результат коллективного творчества народа, исканий миллионов трудящихся, в этом их ценность, жизненность, внушал нам Михаил Иванович. Советы — это форма выражения широчайшей демократии для трудящихся, которая не может быть действительной без поголовного участия в нем женщин-тружениц.

Если при выборах в Советы мы не сумеем привлечь на свою сторону женщин, их использует враг. Взяв под влияние партии и Советской власти женщин, мы отнимем последнее прибежище у врага.

Работая в Советах, каждый трудящийся научится мыслить по-государственному, станет действительным хозяином своей социалистической Родины, строителем новой жизни. Задача Советской власти — не только вовлекать женщин в управление государством, но и научить их работать, говорил М. И. Калинин.

Выполнение этой задачи в то время встречало много препятствий и трудностей. С одной стороны, мешала отсталость, неграмотность самих женщин, особенно крестьянок; с другой стороны, — косность, консервативность некоторой части трудящихся мужчин, особенно в деревне. Это объяснялось тем, что на протяжении многих и многих лет самодержавие насаждало неприязнь к женщине, считало ее неспособной на какую-либо общественную деятельность.

Вполне понятно, что такое систематическое воздействие на население не прошло даром, и Советской власти пришлось отстаивать равноправие женщин.

За время войны крестьяне привыкли к тому, что на сходку начали ходить вдовы и солдатки. Но когда стали их посещать и «мужние жены» да поднимать голос, то это им не понравилось. Бывали случаи, что крестьяне демонстративно покидали собрания, когда женщины приходили на выборы в Совет. Стоило называть первую женскую кандидатуру в состав сельского Совета, как поднимался неимоверный шум, оскорбительные крики и издевательский смех. Не всегда местные советские работники умели разъяснить необходимость вовлечения женщин в Советы. Имея в виду известное указание сессии ВЦИК об увеличении в Советах крестьянок, один незадачливый руководитель сказал, почесывая затылок:

— Ничего не поделаешь, надо выбирать и баб, есть такой приказ.

А другой досужий «теоретик» даже так рассудил:

— Конечно, выбрать нужно, но надо иметь в виду, что если женщину мы будем пускать в органы власти, да еще в особенности крестьянку, то мы можем пойти по пути к первобытному коммунизму.

Поэтому в первые годы пришлось преодолевать в деревне большие препятствия на пути вовлечения женщин в Советы».

Не обошлось без «женского фермента» и в первом советском правительстве. Вспоминает личный секретарь Сталина Борис Бажанов:

«Собственно, у Ленина две секретарши — Глиссер и Фотиева. Из остальных близких сотрудниц в

последнее время болезни Володичева и Сара Флаксерман выполняли вместе с ним обязанности «дежурных секретарш», то есть дежурили, чтобы в любой момент быть в распоряжении Ленина, если он захочет продиктовать какое-нибудь письмо, распоряжение или статью. Сара Флаксерман переходит в Малый Совнарком (это своего рода комиссия, придающая нужную юридическую форму проектам декретов Совнаркома), становясь его секретарем, Фотиева, занимающая официальную должность секретаря Совнаркома СССР, продолжает работать с Каменевым. Она рассказывает Каменеву достаточно мелких секретов ленинского секретариата, чтобы продолжать сохранять свой пост. Впрочем, Каменев не Сталин, и мелочами ленинского быта не очень интересуется.

Но из двух секретарш Ленина главная и основная — Мария Игнатьевна Гляссер. Она секретарша Ленина по Политбюро. Лидия Фотиева — секретарша по Совнаркому. Вся Россия знает имя Фотиевой — она много лет подписывает с Лениным все декреты правительства. Никто не знает имени Гляссер — работа Политбюро совершенно секретна. Между тем все основное и самое важное происходит на Политбюро, и все важнейшие решения и постановления записывает на заседаниях Политбюро Гляссер: Совнарком затем только «оформляет в советском порядке», и Фотиева должна только следить за тем, чтобы декреты Совнаркома точно повторяли решения Политбюро, но не принимает того участия в их подготовке и формулировке, как Гляссер.

Гляссер секретарствует на всех заседаниях По-

литбюро. Пленумов ЦК и важнейших комиссий Политбюро. Это маленькая горбунья с умным и недобрым лицом. Секретарша она хорошая, женщина очень умная: сама, конечно, ничего не формулирует, но хорошо понимает все, что происходит в прениях Политбюро, то, что диктует Ленин, и записывает точно и быстро. Она хранит ленинский дух и, зная ленинскую вражду последних месяцев его жизни к бюрократическому сталинскому аппарату, не делает никаких попыток перейти к нему на службу. Сталин решает, что пора ее удалить и заменить своим человеком — пост секретаря Политбюро слишком важен — в нем сходятся все секреты партии и власти.

В конце июня 1923 года Сталин получает согласие Зиновьева и Каменева и снимает Гляссер с поста секретаря Политбюро. Но не так легко найти замену. Работа секретаря Политбюро требует многих качеств. Секретарствуя на заседании, он не только должен прекрасно понимать суть всех прений и всего, что происходит на Политбюро: он одновременно должен: 1) внимательно следить за прениями, 2) следить за тем, чтобы все члены Политбюро вовремя были обеспечены всеми нужными материалами, 3) руководить потоком вельмож, вызванных по каждому пункту повестки, 4) вмешиваться в прения всегда, когда происходит какая-нибудь ошибка, забывается, что раньше было уже решено по вопросу что-то иное, 5) делая все это, успевать записывать постановления, 6) быть памятью Политбюро, давая мгновенно все нужные справки.

Гляссер со всем этим справлялась. Сталин пробу-

ет заменить ее двумя своими секретарями — Назаретяном и Товстухой, надеясь, что вдвоем, разделяя работу, они смогут ее выполнить.

Увы, дело кончается полным провалом. Назаретян и Товстуха не могут сосредоточить свое внимание на всех задачах, не успевают, путаются, не схватывают, не понимают; работа Политбюро явно расстраивается».

Исполнилось 100 лет со дня рождения Марии Поповой — санитарки Чапаевской дивизии, которая послужила прототипом легендарной Анки-пулеметчицы.

Родилась Мария в селе Вязовый Гай Саратовской губернии. До двадцати лет выгребала навоз из кулацких коровников. Слыла девицей крутой, физически сильной и в гражданскую подалась к большевикам. Пять лет воевала в 225-м Балаковском полку Чапаевской дивизии.

Под селом Дураево у реки Демы Мария Попова заменила убитого пулеметчика и вместе с дедом-обозником Провоторовым отправила на тот свет около взвода соотечественников-белогвардейцев. А Анкой в фильме ее назвали в честь жены Фурманова Анны Никитичны.

Историю же трогательного флирта с чапаевским любимчиком Петькой режиссеры-однофамильцы Васильевы придумали. Конечно, в минуты затишья молодая женщина уединялась с однополчанами, но только не с Петькой. Командир этапного полка Пётр Исаев возил за собою жену с детьми и слыл отличным семьянином.

Самое интересное в жизни Анки-пулеметчицы

началось после войны. В 1928 году Мария получила орден Красного Знамени, а в 1930-м — диплом юрфака МГУ. После чего по заданию партии была направлена культурным атташе в Германию с целью втереться в доверие к будущему немецкому вождю Адольфу Гитлеру.

Про германскую жизнь Поповой ходило много баек. Вот одна из них. Якобы на нацистской сходке Мария у всех на глазах махнула несколько стаканов шнапса и бросилась танцевать на столе. И будто бы сам Гитлер выволакивал ее из пивной. Но люди сведущие говорят, что в начале 30-х годов Мария Попова представляла собой вполне светскую даму: вся в мехах, с утонченными манерами. Потому что в НКВД разведчиков натаскивали отменно.

А со Сталиным Мария познакомилась в 1934 году. Иосиф Виссарионович посмотрел фильм «Чапаев», и кто-то шепнул ему, что Анка недавно вернулась из Германии со спецзадания. Насколько близки были их отношения, ведает только Всевышний, однако вот что сообщила журналистам дочь Марии Поповой Зинаида:

— Я до сих пор не знаю точно имени моего отца. Им вполне мог быть как Гитлер, так и Сталин.

В конце 30-х Мария работала в советском посольстве в Швеции у Александры Коллонтай. Неожиданно пришел вызов из Москвы. Попова смекнула, что дело пахнет мордовскими лагерями, и, приехав в столицу, помчалась к Климу Ворошилову. Маршал по своим каналам моментально все выяснил. В паспорте Марии было указано, что ее дочь Зина родилась в Германии, и кто-то настучал в НКВД, будто

Попова спуталась с фашистом. Ворошилов дал Марии билет на поезд и приказал:

— Езжай в Швецию и не возвращайся, пока я все не улажу. Уладил. И она вернулась.

После войны Мария Попова работала в профсоюзе. До самой смерти она была главой «чапаевского братства» — дружной компании боевых товарищей Василия Ивановича. И сегодня, когда дети и внуки чапаевцев собираются у дочери комдива Клавдии Васильевны, второй тост всегда произносится за Анку-пулеметчицу — Марию Попову.

ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ ДРУЖЕСКИЕ ВЕЧЕРИНКИ

«Незадолго перед войной в Московский Художественный театр поступила очень молодая (лет ей было, кажется, семнадцать), но очень талантливая актриса Вера Александровна Делевская. Была она к тому же очень красива — вспоминал бывший секретарь Сталина Борис Бажанов. — По недостатку опыта она еще не дошла до крупных ролей, но была очень увлечена Художественным театром, жила им и только им и дышала. А Художественный театр был театром не только Чехова, но и Горького. А вокруг Горького все время вращалась какая-то чрезвычайно революционная публика. Когда кто-то из теат-

ральных товарищей попросил неопытную девчонку оказать услугу — прятать какую-то революционную литературу, то ей было и неудобно отказать, да она ничего в этом деле и не смыслила.

Сделала она это так неумело, что полиция немедленно все обнаружила; она была арестована и послана в ссылку. Известно, что царская полиция, посылая революционеров в ссылку, обеспечивала их постоянным жалованьем, оплачивавшим их стол, квартиру и прочие расходы: им оставалось ничего не делать и продолжать заниматься революционной деятельностью.

Собственно, они жили свободно, но под надзором полиции: надзора почти никакого не было, и было очень легко из ссылки уехать, но тогда приходилось перейти на нелегальное положение, что было связано с некоторыми неудобствами (впрочем, я не совсем понимаю, какими, потому что в случае поимки и нового ареста сбежавшего отправляли обратно в ссылку и без увеличения срока).

Но царская полиция простирала так далеко свою заботу о ссыльных, что в ссылке их группировали по партийной принадлежности, меньшевиков отправляли в одно место, большевиков группировали в другом. Это очень помогало сосланным жить дружной партийной жизнью, проводить время в заседаниях и спорах о программе и тактике, писании статей в партийную прессу и их обсуждении.

В месте, куда была сослана Вера Александровна, были сгруппированы видные большевики (кажется, революционная литература, которую она так любезно прятала, была большевистская), в том числе три

члена ЦК: Спандарян, Сталин и Яков Свердлов. И Сталин, и Свердлов увлеклись молодой и красивой артисткой и изо всех сил за ней ухаживали. Вера Александровна без колебаний отвергла мрачного, несимпатичного и некультурного Сталина и предпочла культурного и европейски образованного Свердлова.

По возвращении из ссылки Яков Свердлов вернулся к семье (у него была жена, Клавдия Новгородцева, и сын Андрей) и к своим новым высоким государственным функциям, и Вера Александровна перешла, так сказать, на холостое положение. Но когда ее увидел Вениамин Свердлов, он очень увлекся ею, и они поженились. Брачный союз их продолжался и во время моего с ними знакомства.

Четвертый брат, Герман Михайлович, был, собственно, им сводным братом: после смерти первой жены старик Свердлов женился на русской Кормильцевой, и Герман был их сыном. Он был много моложе (в 1923 году ему было девятнадцать лет), в революции участия не принимал, был еще комсомольцем, на редкость умным и остроумным мальчишкой. Я был на четыре года старше его. Он очень ко мне привязался, постоянно у меня бывал и был со мной очень дружен. О моей внутренней эволюции (когда я постепенно стал антикоммунистом) он не имел понятия. Впрочем, мы с ним разговаривали обо всем, кроме политики.

Свердлов обладал даром убеждения, и этот его талант, безусловно, проявился и в отношениях с женщинами. Яков пользовался популярностью не только в партийных кругах. Об этом свидетельству-

ет и эпизод, зафиксированный его женой. Все происходило в скором времени после женитьбы:

«Из Перми мы отправились пароходом в Нижний Новгород, к родным Якова Михайловича. Давно мечтал Яков Михайлович, с гордостью считавший себя истым волгарем, совершить такое путешествие по многоводной Каме и Волге. Мы радовались тому, что мы вместе, и не уставали восхищаться окружающей нас красотой. И только одно досадное происшествие чуть было не испортило все.

Начались наши злоключения на следующее утро после отплытия из Перми. Едва мы успели выйти на палубу, как к Якову Михайловичу с радостными возгласами кинулись две расфранченные девицы и, схватив его под руки, буквально поволокли в роскошный салон 1-го класса. Я было растерялась, но когда Яков Михайлович на мгновение обернулся и я увидела его обескураженную физиономию, то не смогла удержать улыбки. А он жалобно глянул на меня и моргнул: молчи, мол, потом объясню.

Как оказалось, девицы эти были дочерьми одного из богатейших сибирских купцов, крупного воротилы, перед которым сибирские власти и полиция ходили на задних лапках.

Дочки сибирского туза возвращались в Петербург, где они воспитывались в одном из столичных пансионатов. Яков Михайлович столкнулся с ними на обском пароходе, когда, бежав из Нарыма, пробирался на Урал. Оценив обстановку, он завязал тогда с недалекими девицами знакомство, выдав себя за коммивояжера. Усердствовал Яков Михайлович всю: напропалую ухаживал за своими спутницами,

писал им в альбомы пошленькие стишки, без конца говорил незатейливые комплименты и добился такого успеха, что девицы не отпускали его ни на шаг, каждому со стороны казалось, что путешествуют они вместе и что шустрый молодой человек если и не родственник именитого купца, то уж, во всяком случае, ближайший знакомый его семейства.

А Свердлову только этого и надо было. Какой полицейский чин мог даже подумать о проверке документов столь важной персоны, как друг семьи известного всей Сибири купца и промышленника? Кому могло прийти в голову, что преуспевающий молодой человек, путешествующий вместе с наследниками миллионного состояния, — не кто иной, как беглый политический ссыльный, тот самый Свердлов, в поисках которого сибирская полиция сбилась с ног?

Вот так-то и проехал Яков Михайлович чуть не по всей Оби, от Томска до Тюмени, а там распрощился с осточертевшими ему спутниками. Разве мог он предполагать, что через считанные дни нелепый случай вновь столкнет его с этими девицами, в «дружбе» с которыми теперь, когда в кармане у него лежали самые подлинные, безупречные документы, не было никакой нужды?

Но факт оставался фактом, и Яков Михайлович всю дорогу до Нижнего не имел никакой возможности избавиться от назойливости жеманных купеческих дочек. Мало того, что они ему шагу не давали ступить, так Якову Михайловичу приходилось контролировать каждое свое слово, чтобы случаем не проговориться, не впасть в противоречие с тем, что он рассказывал о себе во время путешествия по Оби.

Задача была не из легких, но Яков Михайлович справился с ней. Все сошло благополучно, и девицы ничего не заподозрили, а путешествие все же было испорчено.

За всю дорогу Яков Михайлович обмолвился только один раз, но зато как! Однажды вечером уже перед Нижним, желая поскорее избавиться от назойливых спутниц. Яков Михайлович начал с ними прощаться, говоря, что пора спать.

— Куда вы, еще рано. Посидим немного, — пытались те удержать его.

— Нет, — невозможно и четко произнес Свердлов. — Пора. Становится прохладно. Пойду в свою камеру.

В камеру! Так и сказал. Я похолодела. Ну, думаю, попался. Девицы захихикали. Им было невдомек, что их собеседник четыре года почти непрерывно провел в тюрьме и оговорка эта была не случайна. Они не задумались над причиной, побудившей человека назвать каюту камерой, и не придали оговорке Якова Михайловича никакого значения.

Впоследствии Свердлов неоднократно, смеясь от души, вспоминал эту «камеру», а тогда нам было не до смеха. Только беспредельная наивность и природная тупость избалованных девиц, не знавших жизни, спасли Якова Михайловича от провала».

Я так думаю, что путешествие было испорчено только для Клавдии Тимофеевны, а ее супруг Яков приятно проводил время.

С умилением рассказывает жена Свердлова о первой встрече, знакомстве и совместной жизни. Литературную запись ее воспоминаний сделал сын Андрей.

Познакомилась Клавдия со своим мужем — будущим главой советского государства в условиях глубокой конспирации.

Вот как это было.

«Внешний вид юноши ничем, на первый взгляд, не привлекал внимания. Был он среднего роста, стройный, подтянутый. Густые волнистые черные волосы упрямо выбивались из-под слегка сдвинутой на затылок кепки. Сухощавую фигуру ловко облегла простая черная косоворотка, на плечи был накинут пиджак, и от всей складной подвижной фигуры так и веяло юношеским задором. Все на нем было поношено, но выглядело чисто и опрятно.

Общее впечатление было благоприятным. Однако до чего же молод! Неужели это и есть тот самый товарищ Андрей, о котором столько говорили? Я впросительно взглянула на своего спутника. Он молча, чуть приметно кивнул головой, отпустил мою руку и, замедлив шаг, начал отставать. В свою очередь, товарищ Андрей, заметив нас, свернул в тихий переулок, и вскоре я присоединилась к нему.

Разговор сразу начался живо и непринужденно, будто мы не впервые встретились, будто давно и хорошо знали друг друга. Поистине обаятелен был голос Андрея — глубокий и мягкий бас, поначалу никак не вязавшийся с его некрупной фигурой. Но уже через несколько минут впечатление несоответствия сглаживалось, физический облик Андрея как бы сливался с его духовным обликом, и казалось, что иначе этот человек говорить и не мог.

Много лет прошло с тех пор, забылись детали этого свидания, стерлись в памяти отдельные мело-

чи, отдельные штрихи, но разве забудешь то неизгладимое впечатление, которое с первой же встречи произвел на меня Яков Михайлович Свердлов!

14 ноября вечером Якова Михайловича арестовали прямо на улице, невдалеке от нашего дома, а затем жандармы вломились ко мне и после обыска арестовали и меня.

На этот раз я просидела недолго, всего три месяца, и в феврале 1911 года была выслана из Петербурга на родину, в Екатеринбург, под особый надзор полиции. Такая мягкая мера наказания объяснялась тем, что я была на последних месяцах беременности и держать меня в тюрьме было неловко. Да и конкретных улик против меня было мало.

Яков Михайлович оказался в одиночной камере Петербургского дома предварительного заключения. Наши материальные дела перед арестом, как, впрочем, и во все годы подполья, обстояли неважно. Постоянного заработка у Свердлова не было. Основным источником его существования были средства, выделявшиеся ему, как профессиональному революционеру, партией, но средств у партии было очень мало, и Яков Михайлович брал деньги только в случае крайней нужды, получал их нерегулярно и мелкими суммами. Я зарабатывала немного, и мы с трудом перебивались.

В момент ареста у Якова Михайловича было всего 1 рубль 57 копеек. А деньги в тюрьме были нужны, так как кормили там плохо, приходилось продукты прикупать, кроме того, надо было приобретать книги, бумагу. Правда, Яков Михайлович уверял меня в письмах, что питается хорошо, чувствует себя

превосходно и ни в чем не нуждается, но я-то знала, каково ему в тюрьме. Да и сам он нет-нет, а проговаривался.

Выйдя на волю, я достала немного денег и перевела Якову Михайловичу. Меня очень волновало состояние его здоровья. Я понимала, как важно для него питание, и настойчиво просила тратить деньги преимущественно на продукты. Он успокаивал меня, но в одном из писем признавался: «Чтобы не экономил на питании? Грешен в этом. Благодаря экономии купил на 8 рублей 55 копеек книг, в том числе 4 т. Меринга, «Историю прибавочной стоимости» и др., и одну смену белья, по части белья, сама знаешь, у меня плохо».

4(17) апреля 1911 года у нас родился сын. Мысль о ребенке, о том, как я перенесу первые роды, глубоко волновала Якова Михайловича. Тяжело ему было сидеть в эти дни в тюрьме, чувствовать свое полное бессилие. Но и из тюрьмы он пытался чем-нибудь поддержать меня. Из его писем было видно, что он прочел много специальной медицинской литературы. Он давал мне в письмах квалифицированные советы по гигиене, по уходу за грудными детьми. И одновременно подробно разбирал проблему брака и рождения вообще, ссылаясь на Платона, Томаса Мора, Льва Толстого, на современных социологов — уж если Яков Михайлович брался за какой-либо вопрос, то изучал его самым обстоятельным образом.

Ребенок еще не родился, а Яков Михайлович уже думает о его воспитании, о том, чтобы он вырос «настоящим человеком».

«Самое воспитание, — писал мне Яков Михайло-

вич 29 марта 1911 года, — имеет решающее, почти исключительное значение, наследственные же черты только способности, которые могут развиваться от целого ряда условий, которые можно в общем называть средой».

Сколько нежности, сколько внимания и заботы в каждой строчке писем Якова Михайловича, написанных в эти дни! Какая горечь из-за полной невозможности помочь в тяжелую минуту, из-за того, что в такой момент жандармы оторвали мужа от жены, отца от сына.

«Невыразимо больно сознавать свое бессилие, — писал мне Яков Михайлович, — невозможность быть полезным самому близкому, дорогому существу. С какой радостью, охотой взял бы на себя самый тщательный уход, самую нежную, трогательную заботу, а тут сидишь за тысячи верст... Хотелось бы перелить весь свой «дух жив», в надежде на укрепление твоего. Тщетно придумываю что-либо наиболее ободряющее, — ничего не могу придумать. Не могу не по бедности своей, ибо я очень богат как твоим ко мне, так и своим к тебе отношением. Будь мы вместе — иное дело. Но пусть и вдали скажется сила моего чувства, пусть оно согревает, ослабляет муки, передает силы легче переносить их!»

А какой теплотой проникнуто каждое упоминание о будущем сыне! «Имя? — писал Яков Михайлович. — Да, это вопрос существенный. Ты подчеркнула в письме мое имя, не знаю, хотела ли этим указать и на имя сына или нет. Но предоставляю тебе полную свободу действий и в данном случае, назовешь ли последней буквой алфавита — Я или же

первой — А. Я заранее заявляю, что до определенного возраста буду называть зверьком, зверюшкой, зверинькой».

Редко, очень редко бывали мы все, всей семьей, вместе, но уж когда выпадало такое время, не было семьянина лучше Якова Михайловича, не было семьи счастливее и дружнее нашей.

После освобождения из петербургской тюрьмы я жила в Екатеринбурге под надзором полиции. В связи с рождением сына мне пришлось некоторое время там задержаться, но уже осенью 1911 года я, забрав ребенка, скрылась из Екатеринбурга.

Нелегально приехав в Москву, я устроилась у своей бывшей екатеринбургской приятельницы Сани Анисимовой. Здесь-то у меня и зародилась мысль о поездке в Нарым.

Едва устроившись, я сразу же пошла наводить справки и хлопотать о свидании. Принял меня в жандармском управлении какой-то полковник, по-видимому, крупный чин. Как только он услышал, что я жена Свердлова и приехала к мужу, причем не одна, а с ребенком, полковник стал необычайно любезен. Не интересуясь, скреплен ли наш брак церковным обрядом, он сразу признал меня за жену Якова Михайловича и тут же разрешил свидание, да какое! Не в общей канцелярии, через решетку, а в камере, у Якова Михайловича, без жандармов.

Я готова была прямо из управления бежать в тюрьму, но время было позднее, приходилось ждать утра. Уж и не знаю, как прошел этот вечер, эта ночь, спать я не могла. В голову лезла всяческая чепуха: то мерещилось, что Якова Михайловича в тюрьме я

не застану, что его куда-то перевели, загнали и концов не найдешь; то перед глазами маячил любезный полковник, с наглым смехом отменявший свое разрешение... Не верилось, что через двенадцать, десять, пять часов, через час я увижу Якова Михайловича, живого и невредимого. Ведь год и десять месяцев прошло с того дня, когда в ноябре 1910 года он ушел из нашей петербургской квартиры, ушел, чтобы больше не вернуться...

Да стоит ли об этом вспоминать?

Утром подхватила на руки сонного Андрея — и в тюрьму. Со скрипом открывается тюремная калитка... В канцелярии никого, рано!

Идут минуты, хнычет проголодавшийся малыш. Наконец канцелярия открыта, и меня вызывают. Последние формальности — и я в темном тюремном коридоре. Гремят ключи, дверь камеры распаивается настежь...

Яков Михайлович «совершал утреннюю прогулку», быстро шагая по камере из угла в угол — шесть шагов туда, шесть обратно. О свидании его никто не предупреждал, не знал он и о нашем приезде в Томск. На скрежет ключа в замке он лишь повернул голову, но когда вместо осточертевшего надзирателя через порог камеры шагнула я с маленьким Андреем на руках, Свердлов остолбенел. А дверь за мною закрылась, и мы остались с глазу на глаз...

Трудно рассказать о подробностях этого свидания, длившегося около часа, да я их и не запомнила. Час пролетел как минута, как мгновение. Кто из нас больше говорил, я или он, кто больше задавал вопросов, кто отвечал — не знаю, не помню. А тут еще

нет-нет да подавал свой голос маленький Андрей. Тогда в полумраке одиночки томской пересыльной тюрьмы Свердлов впервые увидал полуторогодового сына.

Казалось, мы не успели сказать друг другу и двух слов, как вновь загремели ключи. Свидание окончилось. Прямо из тюрьмы, занеся только Андрея к Наумовым и наскоро покормив его, я отправилась в жандармское управление. Меня снова принял вчерашний полковник. Как вчера, был он внимателен, любезен. Больше того, он сказал, что готов хлопотать... об освобождении Свердлова из тюрьмы и направлении его в ссылку, но при одном условии: если я с сыном поеду вместе с ним.

Чем дольше мы были в разлуке, тем больше росла у Якова Михайловича тоска по семье, по ребятам. 27 октября 1914 года он писал мне: «Карточки деток передо мной на столе... Нет, положительно необходимо видеть своих деток, свою любимую жинку. Родная! Нет момента, когда из памяти исчезали бы ваши дорогие образы... Так тепло и радостно сознание своей близости с милыми, дорогими сердцу. Да, грубым насилием, варварством является отрывание близких друг от друга. Будем верить, что подобному варварству придет конец».

Нечего и говорить, что не менее тягостно было и мне. Однако до весны 1915 года, пока не кончился срок моей ссылки, о поездке к Якову Михайловичу нечего было и думать. Но чем ближе был конец срока, тем больше я об этом задумывалась, тем настойчивее ставил этот вопрос Яков Михайлович. Все дело упиралось в средства.

В феврале 1915 года Яков Михайлович писал:

«Уже самая совместная жизнь всей семьей такое благо, такое огромное за, что должно сильно перетягивать чашу весов в эту сторону. И вообще все соображения за, кроме вопроса о средствах к существованию». Яков Михайлович жил тогда еще в Селиванихе, но он твердо решил добиваться перевода в Монастырское, где мне легче было бы найти работу и он сам мог иметь хоть какой-нибудь заработок.

В поисках заработка для меня Яков Михайлович списался с товарищами в Красноярске, и те обещали похлопотать у красноярской администрации о предоставлении мне какой-нибудь работы в Монастырском. Так решался материальный вопрос. Впрочем, я бы все равно выехала, если бы он даже никак не решился...

Сборы наши были недолги, и хотя путешествовать с двумя маленькими ребятами было не просто, в конце концов мы добрались до Красноярска. Здесь нас тепло встретили ссыльные большевики, товарищи Якова Михайловича. Был среди них кое-кто из тех, кого и я хорошо знала: наш екатеринбуржец Сергей Черепанов, другие.

От товарищей я узнала, что Якову Михайловичу уже удалось перевестись в Монастырское. Они помогли мне сесть на пароход, и в середине мая 1915 года я с ребятами двинулась вниз по Енисею, к Монастырскому.

Своеобразное детство было у наших ребятишек! Андрею едва исполнилось четыре года, а он уже побывал у отца в томской тюрьме, посидел с матерью в петербургской, около полугода отбыл с отцом и ма-

терью в нарымской ссылке, два года в тобольской и вот теперь ехал уже в третью — туруханскую ссылку. Во вторую ссылку ехала и двухлетняя Верушка.

Чем ближе было Монастырское, тем больше я волновалась. Ведь свыше двух лет прошло с той несчастной февральской ночи, когда я в последний раз видела Якова Михайловича, слышала его голос. Маленький Андрей уже совершенно забыл отца, а Верушка — та вообще никогда его не видела.

Прошли сутки... Еще сутки — и вот на высоком берегу вдали возникла белая колокольня, а рядом — церковь с пятью маленькими куполами. Вправо от церкви, вглубь и влево, вдоль по берегу, виднелись домишки. Монастырское!..

Очень любил Яков Михайлович дружеские вечеринки. Он по природе своей был чрезвычайно гостеприимен и рад был угостить товарищей чем мог. Продукты в Туруханке не отличались разнообразием, но и из того, что было, приготавливались очень вкусные вещи. Традиционным блюдом были, конечно, сибирские пельмени. Готовились они в Туруханке из оленины, другое мясо было недоступной для нас роскошью. Но и оленина, особенно молодая, была достаточно вкусна.

Готовились пельмени всегда коллективно: фарш и тесто приготавливал Яков Михайлович — этого он никому не доверял, — а лепили все: и молчаливый Зелтынь, и шутник Боград, и Маркел Сергушев, и Филипп Голощекин, и пекарь по профессии, настоящий артист своего дела Борис Иванов. Пельмени заготавливали впрок, сотнями.

Затем Яков Михайлович начинал священнодейст-

вовать у плиты — и все садились за стол. Веселью и шуткам не было конца, однако спиртного за столом никогда не было. Яков Михайлович совершенно не пил ни водки, ни вина, говоря, что искусственно подбадривать себя нужно лишь людям со скучной душой.

Пельменей готовили столько, что много оставалось, и их выносили на мороз. На улице пельмени моментально становились твердыми как камень. Храниться в таком виде они могли месяцами, и если неожиданно приезжал гость, то достаточно было опустить несколько десятков пельменей в кипящую воду — и обед (или ужин) был готов.

Излюбленным блюдом была также строганина. Приготовлять строганину Яков Михайлович научился еще на Максимкином Яру. Делалась она очень просто: сырую рыбину выносили на улицу и ждали, пока она промерзнет насквозь. Затем разрубали рыбу пополам и острым ножом стругали тонкие ломтики: их слегка солили, перчили, поливали уксусом, и строганина была готова. Рыбу не надо было ни варить, ни жарить.

Рыба вообще являлась одним из основных продуктов питания, особенно зимой. Мясо, и даже оленину, достать можно было далеко не всегда, и стоило оно дорого, а рыбу ссыльные ловили сами. Порою попадались крупные осетры. Из некоторых добывали до пуда осетровой икры, и тогда наступал праздник для ребят. Свежедобытую икру мы тут же солили, и через день-два она была готова к употреблению. Но такая удача не часто сопутствовала рыбакам. Порою мы не имели ни мяса, ни рыбы. Детей

огда выручало молоко, нам же приходилось поститься.

Из Селиванихи в октябре 1914 года Яков Михайлович писал мне: «У нас свои две возовые собаки, одна привезена мною из Курейки. Великолепный пес, которого и именуют «Пес». Так я его окрестил!»

Пес был действительно изумительной собакой. Я убедилась в этом сама, когда приехала в Монастырское. Размером он был с небольшого волка, на редкость силен и сообразителен. Был он весь черный, с проседью, с красивыми белыми метинами на лбу, груди и передних лапах, уши у него стояли торчком, как у волка.

Своеобразной «специальностью» Пса были стражники. Пес их ненавидел лютой ненавистью. Стоило какому-нибудь из стражников подойти к нашему забору, как Пес кидался на него с такой свирепостью, что стражникам нередко приходилось спасаться бегством. Благодаря Псу стражникам никак не удавалось нанести нам внезапный визит. Они вынуждены были подходить с той стороны дома, которая выходила на улицу, и стучать в окошко, а затем терпеливо ждать, пока Свердлов выйдет во двор и уговорит разбушевавшегося Пса.

В 1917 году, после Февраля, мы обнаружили в местном полицейском управлении донесение стражников. Они докладывали приставу, что вопреки его приказанию не могли установить, кто встречал у Свердловых Новый год. Окна дома замерзли, и рассмотреть через них что-либо не было никакой возможности, а во двор их не пустила «известная вашему благородию собака». Так Пес удостоился

чести быть упомянутым в полицейских реляциях.

Пес был бесконечно привязан к своему хозяину и никогда с ним не расставался. Куда бы ни отправлялся Свердлов, Пес следовал за ним по пятам. В Монастырском всегда можно было определить, где находится Яков Михайлович, так как у дверей того дома, куда он зашел, обязательно сидел неподвижный, как изваяние, Пес.

В свою очередь, и Яков Михайлович очень любил своего четвероногого друга. Когда в конце 1916 года Пес погиб, Яков Михайлович страшно горевал. Он попросил местного охотника выделать шкуру Пса, увез ее с собой из Туруханки, и потом, в Кремле, эта шкура всегда лежала у кровати Якова Михайловича.

Сразу после окончания VII съезда партии Советское правительство переехало из Петрограда в Москву. Поезд ВЦИК, в котором ехали и мы с Яковом Михайловичем, отправился из Петрограда 9 марта 1918 года и прибыл в Москву 10 марта. Владимир Ильич и Надежда Константиновна приехали 11 марта, с поездом Совнаркома. Поселились они вначале, как и ряд других товарищей, в том числе и мы с Яковом Михайловичем, в гостинице «Националь», преобразованной в 1-й дом Советов.

На следующий же день после приезда Яков Михайлович, Аванесов, еще кто-то, сейчас уж не помню, отправились осматривать Кремль, так как еще до отъезда из Питера было решено разместить там Совнарком и ВЦИК. Пошла вместе с ними и я.

Яков Михайлович осматривал все очень придирчиво, прикидывал, что где разместить. Кто-то из сопровождавших нас москвичей сказал было, когда мы

ходили по величественным залам Большого дворца, что вот, мол, подходящее помещение для Совнаркома.

— Что вы, батенька, — повернулся к нему Яков Михайлович. — Здесь — учреждение? Нет! Великолепный тут музей будет, для всего народа. Может, не сейчас, но со временем будет обязательно!..

Кремль тогда выглядел совсем иначе, чем теперь. На месте огромного здания, возвышающегося ныне возле Спасских ворот, которое примыкает к зданию бывших Судебных установлений и образует с ним единый архитектурный ансамбль, где помещается Советское правительство, в беспорядке громоздились десятки небольших, двух-трехэтажных домиков и несколько древних монастырей — Чудов монастырь, еще какой-то. Жили там преимущественно монахи, которых переселили из Кремля только в конце 1918 года, еще какой-то люд: бывшие царские дворецкие, прислуга и другие.

Большой дворец, Арсенал, здание Судебных установлений выглядели снаружи примерно так же, как и теперь, но внутри них за годы советской власти много перестроено и сделано вновь.

Улицы Кремля были покрыты булыжником, а площадь против Большого дворца — деревянным торцом. Асфальта не было и в помине.

Вправо от колокольни Ивана Великого, если встать лицом к Спасским воротам, где сейчас разбит сквер, простирался обширный пустынный плац. На нем проводились солдатские учения.

Летом ветер гонял по плацу тучи пыли, а зимой он утопал в сугробах снега. В конце плаца у спуска

в кремлевский сад буквой «Л» возвышалась громоздкая галерея, в центре которой на высоком пьедестале торчал чугунный памятник одному из Романовых, кажется Александру II. Потолки галереи были покрыты мозаичными изображениями всех царей династии Романовых. Тайнинский сад был запущен, зарос.

Большого труда стоило Павлу Дмитриевичу Малькову, назначенному комендантом Кремля (в Питере он был комендантом Смольного), поддерживать хоть какую-то чистоту и порядок в Кремле. Не хватало средств, людей. Правда, кремлевские улицы регулярно подметались, в домах хорошо топили, но вот, например, под Царь-колоколом я обнаружила как-то зимой труп неведомо как забравшейся туда собаки. Его долго не убирали. Стекла в здании против Арсенала были выбиты, стены изрешечены пулями. Перед Большим дворцом громоздились огромные поленницы запасенных впрок дров. Таков был Кремль в памятные дни 1918 года.

Закончив осмотр, Яков Михайлович пришел к выводу, что Совнарком и ВЦИК лучше всего разместить в здании Судебных установлений. Там же, в непосредственной близости от помещения Совнаркома, он присмотрел квартиру для Ильича, стремясь избавить его от излишних хождений. Правда, когда мы осматривали помещение, комнаты, предназначавшиеся Ильичу, были захламлены и загажены до ужаса, требовался солидный ремонт, но зато их расположение было очень удобно.

Через день или два после приезда Ильича Яков Михайлович повез его и Надежду Константиновну в

Кремль и поделился с ними своими соображениями. Владимир Ильич полностью одобрил предложения Якова Михайловича, и Совнарком и ВЦИК обосновались в здании Судебных установлений. В квартире Ильича начался ремонт.

Совнарком разместился в левом крыле здания, на третьем этаже, ВЦИК — в самом центре, на втором. Аппараты Совнаркома и ВЦИК были так малы, что не занимали и половины здания, большая часть которого первое время пустовала.

Владимир Ильич с Надеждой Константиновной прожили в «Национале» недолго и вскоре переехали в Кремль, не ожидая, когда будет окончен ремонт их квартиры. Поселились они поначалу в так называемом Кавалерском корпусе, на Дворцовой улице, в двух небольших комнатках.

Вслед за ними и мы с Яковом Михайловичем переехали в Кремль. Переехали туда Сталин, Дзержинский, Цюрупа, Менжинский, Аванесов, Демьян Бедный и другие товарищи. Мы с Яковом Михайловичем заняли две комнаты в Белом коридоре, на третьем этаже здания, что против Детской половины Большого дворца. По соседству с нами, в том же Белом коридоре, расселились Демьян Бедный, Аванесов и другие товарищи.

Получилось опять нечто вроде коммуны.

Яков Михайлович постоянно бывал у Владимира Ильича не только в кабинете, но и дома. Их отношения становились все ближе и ближе. Надежда Константиновна писала в своих воспоминаниях: «В кавалерские покои» к нам часто заходил Яков Михайлович Свердлов. Наблюдая, как Владимир Ильич стро-

чит свои работы, он стал убеждать его пользоваться стенографистом. Ильич долго не соглашался, наконец убедил его Яков Михайлович, прислал лучшего стенографиста».

Прошло недели две-три, ремонт в квартире Ильича закончился, и Ильич с Надеждой Константиновной перебрались в здание Судебных установлений. Вместе с ними поселилась и Мария Ильинична. А квартирка-то была всего три комнаты. Потом добавили еще одну. Так и жил Ленин.

Яков Михайлович пользовался каждой возможностью, чтобы повозиться с ребяташками, побыть с ними вместе. Мы оба уходили из дому около девяти часов утра и возвращались поздней ночью, когда детишки давно уже спали, и все же Яков Михайлович находил время пристально следить за их ростом, за формированием сознания, характера.

Прежде всего ребятам принадлежало утро. Если Яков Михайлович был не слишком измучен, он вставал немного раньше обычного и немедленно брал к себе сына и дочурку. В спальне у нас лежал большой пушистый ковер, и что только они на нем не вытворяли! То Яков Михайлович превращался в коня, становился на четвереньки и бегал по комнате, а ребята сидели на нем верхом, то начиналась «французская борьба» с сыном, по всей квартире неслись воинственные крики и громкий хохот.

Дома Яков Михайлович обедал не всегда, чаще в столовой, но хоть на полчаса домой днем обычно заглядывал. Часа в три-четыре у меня, в Секретариате ЦК, звонил телефон, и Яков Михайлович сообщал что он выходит. Встречались мы возле Троицких во-

рот и шли домой вместе. Ребята уже ждали. Яков Михайлович расспрашивал их, что они делали, как провели день.

С каким-то изумительным умением и тактом обращался Яков Михайлович с сыном и дочерью. Он никогда не повышал голоса, разговаривая с ребятами, держал себя с ними на равной ноге, по-товарищески, но авторитет его у ребят был непререкаем. Любую его просьбу они выполняли мгновенно и охотно, к каждому замечанию прислушивались. Разговаривал он с ними всегда вполне серьезно, никогда не сюсюкал и не поддельвался под ребячий разговор, но умел находить такие слова и такой тон, что понимали они друг друга великолепно, хотя сыну шел только восьмой год, а дочери — шестой.

У меня сохранился в памяти забавный эпизод из туруханских времен, когда Андрею было пять, а Верушке три года.

Андрей иногда дразнил сестру, пугал ее и порою доводил до слез. Несколько раз я и Яков Михайлович пытались внушить сыну, что так поступать нельзя, но нашего внушения хватало на несколько дней, а потом все опять шло по-прежнему.

Однажды, когда Андрей начал с серьезным видом уверять Веру, что под нашими окнами ходит страшный старик с мешком и собирается ее забрать и Вера готова была разреветься, Яков Михайлович, слышавший через стенку разговор, быстро вошел в комнату, опустил на четвереньки, взъерошил волосы, распустил бороду и двинулся на Андрея с таким грозным рычанием, что мальчишка заревел в голос. Яков Михайлович поднялся, по-

правил волосы и своим обычным голосом сказал:

— Что, брат, страшно? Не нравится? И Верушке не нравится, когда ты ее пугаешь. Так и условимся: будешь пугать Веру — буду пугать тебя».

КАК ВАША ФАМИЛИЯ?

«Бьют часы Спасской башни... Из ворот Кремля выезжает К. Е. Ворошилов — он принимает парад, — а навстречу ему, от Исторического музея, едет Семен Михайлович, — вспоминала третья жена Буденного, которая была в ту пору очень молодой женщиной. — Праздничная и торжественная тишина на площади. Рапорт принят, К. Е. Ворошилов поздравляет с праздником выстроенные для парада войска... Не подвела погода, и самолеты точно пролетели над Красной площадью, не понадобились и запасные тягачи. Торжественным маршем войска прошли перед Мавзолеем В. И. Ленина. Парад окончен. На душе спокойно. Все хорошо, это видно и по лицу Семена Михайловича. А вечером 7 ноября в Георгиевском зале Кремля был большой прием.

Впервые я присутствовала на таком приеме в 1939 году. Меня поразили необыкновенное сочетание торжественности приема и веселой, непринужденной обстановки на нем. Семен Михайлович со всеми меня знакомит. Соседями по столу были летчик М. М. Громов, Алексей Стаханов и их жены. Семена Михайловича позвали в президиум. После официальной части Иосиф Виссарионович Сталин лично поздрав-

лял заслуженных людей нашей Родины. Подошел и к нашему столу поздравить Громова и Стаханова. Они встали. Встала и я. Сталин посмотрел на меня и спросил: «Что-то я вас не знаю, как ваша фамилия?» Я назвала. Он обратился к военному, который стоял рядом: «Найдите Семена Михайловича, он, наверное, среди рабочих». Повернувшись ко мне, сказал: «Он любимец народа, мы даже немножко завидуем ему». Семен Михайлович быстро подошел к нам.

— Что же вы, Семен Михайлович, жену никому не представили?

— Нет, товарищ Сталин, я со многими познакомил, а сейчас представляю ее вам.

Иосиф Виссарионович пожал мне руку, поздравил с праздником и, пожелав здоровья детям, ушел к другим столам.

В 1946 году, приехав с майского праздника, Семен Михайлович рассказал мне, как он попал в затруднительное положение на обеде:

— Предложив тост за меня, товарищ Сталин сказал: «Товарищи, у меня есть вопрос к Семену Михайловичу. Я сейчас работаю над четвертым томом собрания сочинений. Этот том посвящен гражданской войне. В материалах этого периода есть много документов, в которых очень часто упоминается ваше имя, Семен Михайлович, и, если весь этот материал использовать, то том будет посвящен вам. Как вы считаете, надо писать все или нет?» От неожиданности, — продолжал Семен Михайлович, — я как-то замялся, а потом ответил: «Это на совести автора, как он найдет нужным, так и будет».

Товарищ Сталин улыбнулся и сказал: «А хитрый

Буденный, никогда его врасплох не застанешь, — все переложил на мою совесть».

Далеко не все семейные пары вызывали умиление у отца народа. Часто особенное внимание вождя было направлено именно на фамилию неудобного супруга.

В своих воспоминаниях Н. С. Хрущев затрагивал это явление, которое наглядно проявилось в реакции Сталина на замужество дочери Светланы:

«Я не знал этого человека (первого мужа Светланы — В. К.). Морозов, по-моему, фамилия его. Фамилия у него русская, а сам он еврей. Они жили какое-то время, и Сталин его терпел, но я никогда не видел, чтобы этот Морозов был приглашен Сталиным.

Когда родился первый сын, то, я думаю, Сталин его никогда и не видел. Это тоже откладывало свой отпечаток на душу Светланки. Потом вдруг этот приступ антисемитизма у Сталина после войны. Она развелась с Морозовым. Он умный человек. Мне говорили, что он сейчас хороший экономист, имеет ученую степень доктора экономических наук. Одним словом, он хороший советский человек.

В тот период, когда Сталин потребовал от Светланки, чтобы она развелась со своим мужем, он, видимо, сказал то же и Маленкову. Потому что дочка Маленкова, очень хорошая девочка Воля, еще раньше вышла замуж за сына друга Маленкова — Шамберга. Он очень хороший партийный работник, и я очень высоко ценил этого человека. У Маленкова он работал много лет в его аппарате, и все резолюции, которые поручались Маленкову, прежде всего гото-

вились Шамбергом. Это был грамотный и порядочный человек. Я много раз встречался с Шамбергом у Маленкова. Он мне очень понравился — молодой человек, способный, образованный. Он тоже был экономистом. Вдруг мне сказала жена Маленкова, Валерия Алексеевна, к которой я относился с большим уважением, — умная женщина — что Воля разошлась с Шамбергом и вышла за другого — за архитектора.

Я не буду сравнивать, кто из них хуже или лучше, — это ее дело. Жена определяет, какой муж у нее лучше, первый или второй. Я считаю, что и второй был тоже хороший парень. Он был моложе ее на несколько лет, но бросить сына друга — непонятно, и мне это не понравилось.

Маленков не был антисемитом, и Маленков мне не говорил, что Сталин ему что-то сказал. Но я убежден, что если Сталин ему прямо не сказал, то, когда он услышал, что Сталин потребовал, чтобы Светлана развелась со своим мужем, потому что он еврей, безусловно, Маленков догадался сам и сделал то же самое со своей дочерью. Сталин, кажется, знал, что дочь Маленкова вышла замуж за еврея.

Это тоже проявление такого низкопробного позорного антисемитизма: если Сталин так сделал, то он тоже это сделает. Я считал, что Маленков нормальный, здоровый человек и не болел этой позорной болезнью.

Вообще, большим недостатком, который я видел у Сталина, было неприязненное отношение к еврейской нации. Он вождь, он теоретик, и поэтому в своих трудах и в своих выступлениях он не давал и на-

мека на это. Боже упаси, если бы кто-то сослался на его разговоры, на его высказывания, от которых явно несло антисемитизмом.

У Сталина был старший сын Яша от первой жены, грузинки. Он работал инженером. Я совсем не знал его. Когда я начал приходить к Сталину домой, Яша бывал там лишь изредка. Он с женой и маленькой дочерью жил отдельно. В тех немногих случаях, когда он все-таки приходил на домашние обеды Сталина, он всегда приходил один, никогда не брал с собой жену и дочь.

Еще эпизод. В каком-то году, я сейчас точно не помню, был создан комитет — «Совинформбюро». Он создавался для сбора материалов, конечно, положительных, о нашей стране, о действиях нашей Советской Армии против общего врага — гитлеровской Германии — и распространения этих материалов в западной прессе, главным образом в Америке. Так как в Америке очень влиятельны круги еврейской национальности, поэтому и у нас этот комитет состоял главным образом из евреев, занимавших высокое положение в нашей Советской стране. Возглавлял этот комитет бывший председатель Профинтерна Лозовский. В этот комитет вступил генерал Крейзер — ему, конечно, рекомендовали, чтобы он вступил. В этом комитете состоял и Михозлс — крупнейший актер еврейского театра. В этот комитет, по-моему, входила и жена Молотова — товарищ Жемчужина.

Я думаю, что эта организация была создана по предложению Молотова или, может быть, сам Сталин предложил ее организовать. Она очень активно занималась вопросами пропаганды, и ее деятель-

ность в интересах нашего государства, в интересах нашей политики, интересах Коммунистической партии считалась очень полезной и необходимой.

Когда освободили Украину, в этом комитете составили документ (я не знаю, кто был инициатором, но, безусловно, инициаторы были в этой группе), в котором предлагалось Крым, после выселения оттуда крымских татар, сделать Еврейской советской республикой в составе Советского Союза. Обратились они с этим предложением к Сталину. Вот тогда и загорелся сыр-бор. Сталин расценил, что это акция американских сионистов, что этот комитет и его глава — агенты американского сионизма и что они хотят создать еврейское государство в Крыму, чтобы отторгнуть Крым от Советского Союза и, таким образом, утвердить агентуру американского империализма на европейском континенте, в Крыму, и оттуда угрожать Советскому Союзу.

Как говорится, дан был простор воображению в этом направлении. Я помню, мне по этому вопросу звонил Молотов, со мной советовался. Молотов, видимо, в это дело был втянут главным образом через Жемчужину — его жену.

Наиболее активную роль в этом комитете играли его председатель Лозовский и Михоэлс. Сталин буквально взбесился. Через некоторое время начались аресты. Был арестован Лозовский, а через какое-то время и Жемчужина. Был дискредитирован Молотов. Все материалы рассылались среди членов ЦК, и там все было использовано, чтобы дискредитировать Жемчужину и тем самым уколоть мужское самолюбие Молотова.

Я помню такой грязный документ, где говорилось, что, мол, она была неверна своему мужу, и указывалось, кто были ее любовники. Много гнусности было в этом документе.

Начались гонения на этот комитет, а это уже послужило началом подогревания сильного антисемитизма, потому что состав комитета был еврейским. Сюда же приплеталась выдумка, что евреи хотели создать свое государство и выделиться из Советского Союза. В результате борьба против этого комитета разрасталась шире, ставился вопрос вообще о еврейской нации и ее месте в нашем социалистическом государстве.

Начались расправы.

Долго тянулся следственный процесс этой группы, но в конце концов все закончилось трагически. Председатель этого комитета Лозовский был расстрелян, а Жемчужина и другие были сосланы. Я даже думал, что ее расстреляли, потому что об этом никому не докладывалось и никто в этом не отчитывался. Все было доложено Сталину, а Сталин казнил и миловал лично сам. О том, что она жива, я узнал после смерти Сталина — тогда Молотов сказал, что Жемчужина жива и находится в ссылке. Все согласились, что надо ее освободить. Берия ее освободил и торжественно вручил Молотову. Он сам рассказывал, как Молотов приехал к нему в Министерство внутренних дел и там он встретился с Жемчужиной. Она была еле жива. Он обнял и приласкал ее. Все это Берия рассказывал с какой-то иронией. Молотову и Жемчужиной он выражал сочувствие и показывал, что это, вроде, была его инициатива освободить ее».

Антисемитизм Сталина широко известен, он не мог простить сыну женитьбу на Юлии Мельцер. Не желал видеть и внучку — Галину.

Бывший Генеральный секретарь Компартии Израиля С. Микунис рассказывал об одной из встреч с Молотовым:

«...В 1955 году у меня произошла довольно любопытная встреча с Молотовым... в Кремлевский больнице в Кунцево, куда меня положили после того, как я немного прихворнул. Здесь совершенно случайно в одном из больничных коридоров я и встретил Молотова. До этого я его видел только один раз в Париже, когда он выступал на съезде сторонников мира...

Теперь, в Кунцево, Молотов был, как и я, в больничной пижаме, но, несмотря на это, он выглядел, как всегда, надменным, выражение лица холодное, жестокое. Увидев его, я подошел к нему и спросил: «Почему вы, как член Политбюро, позволили арестовать свою жену?».

Он окинул меня холодным взглядом и спросил, а кто я, собственно, такой. Я ответил: «Я Генеральный секретарь Коммунистической партии Израиля, и поэтому я вас спрашиваю, и не только вас, я спрошу об этом ЦК... Почему вы дали арестовать свою жену Полину Жемчужину?»

Он с тем же стальным лицом, на котором не дрогнул ни один мускул, ответил: «Потому что я член Политбюро и я должен был подчиниться партийной дисциплине... Я подчинился Политбюро, которое решило, что мою жену надо устранить...» Вот такая любопытная была сценка.»

В книге «Только один день» Светлана Аллилуева

писала: «Я видела уже постаревшего, поблекшего Молотова — пенсионера в его небольшой квартире, уже после того, как Хрущева сменил Косыгин. Молотов, по обыкновению, говорил мало, а только поддакивал. Раньше я всегда видела его поддакивающим отцу. Теперь он поддакивал жене. Она была полна энергии и боевого духа.

Ее не исключили из партии, и она теперь ходила на партийные собрания на кондитерской фабрике, как в дни молодости. Они сидели за столом всей семьей, и Полина говорила мне: «Твой отец был гений. Он уничтожал в нашей стране пятую колонну, и, когда началась война, партия и народ были едины. Теперь больше нет революционного духа, везде оппортунизм. Посмотри, что делают итальянские коммунисты! Стыд! Всех запугали войной. Одна лишь надежда на Китай. Только там уцелел дух революции!»

Молотов поддакивал и кивал головой. Их дочь и зять молчали, опустив глаза в тарелки. Это было другое поколение, и им было стыдно. Родители походили на ископаемых динозавров, окаменевших и сохранившихся в ледниках».

Вновь прислушаемся к тому, что говорила Мария Буденная: «Жить с Семеном Михайловичем было легко и интересно. Он был простым, душевным и обаятельным человеком. Строгость и требовательность к людям сочетались в нем с добротой и любовью. Общение с ним обогащало каждого, кто был рядом.

Дружбу и уважение друг к другу мы пронесли через всю нашу жизнь. Мы многое пережили вместе. Время по-новому высвечивает события, свиде-

лем которых мне довелось быть, но сейчас, перебирая в памяти дни нашей жизни, я на многое смотрю глазами Семена Михайловича.

В начале нашей жизни он сказал: «Мария, домом командуешь ты. Ты главдом и начальник штаба. Дома я не маршал, а твой муж, друг и товарищ. Подчас тебе будет не легко... Жизнь у меня беспокойная».

И действительно, в скором времени я убедилась в этом. Работал Семен Михайлович много, раньше трех-четырех часов утра домой не возвращался, часто бывал в командировках. Порой случалось, что в разгар семейного торжества он неожиданно уезжал, а сколько раз приходилось покидать театр, так и не досмотрев до конца спектакль.

Семен Михайлович рассказывал мне о своей жизни, о тяготах службы в царской армии, о том, как стал на сторону большевиков, как дрался за Советскую власть, о встречах с Владимиром Ильичом Лениным. Он был замечательным рассказчиком: ему были свойственны народная образность речи, юмор. А с какой любовью и гордостью рассказывал он о героических подвигах конармейцев, славных походах Первой Конной армии, о своих боевых соратниках, беззаветно преданных делу Революции. Все было так интересно, что, не надеясь на свою память, я вела записи.

Семен Михайлович много рассказывал и о своей молодости. Родился он и вырос на Дону, поэтому многие считали его казаком. «Я не казак, я — иногородний, — рассказывал Семен Михайлович. — Это большая разница. Казаки всех, кто приезжал на Дон

из других районов России, называли иногородними. Земля принадлежала казакам, а мы были безземельные, и жилось нам очень тяжело. Но я люблю донскую землю, ее народ с его вековыми обычаями, воинственным и смелым характером.

В семь лет я уже был подпаском, потом мальчиком на побегушках у купца, батрачил. Когда пришла пора идти в солдаты, хозяин предложил откупить меня от службы в армии, но я не согласился. Как иногородний я должен был ехать призываться в армию на родину отца и деда. Там получали и паспорта. И поехал я в Воронежскую губернию, а оттуда, уже солдатом, на Дальний Восток. Так с 1 января 1904 года я, батрак-крестьянин, любивший землю и крестьянский труд, стал военным на всю жизнь».

Семен Михайлович иногда делился со мной своими радостями и печалью. Помню, как однажды (он был тогда командующим войсками Московского военного округа) приехал домой особенно довольный и радостный. Вымыл руки, сел обедать.

— Ну, я сегодня выиграл великое сражение, — сказал весело. — Моссовет выделил первые дома для командного состава. Теперь смогу лучше разместить людей. Пришлось и спорить, и горячиться, и доказывать.

Сколько я помню, Семен Михайлович всегда о ком-то заботился, за кого-то хлопотал и делал это с удовольствием. Часто Семен Михайлович встречался со своими друзьями-конармейцами. Встречи проходили шумно, весело. Один и тот же эпизод каждый вспоминал по-своему. Каждый старался доба-

вить только ему запомнившуюся деталь, возникали споры.

Помню, как-то Андрей Васильевич Хрулев завел разговор о том, что Семен Михайлович просто и доходчиво мог разъяснить конармейцам непонятные для них вопросы. И рассказал такой случай.

«Однажды на митинге бойцы спросили выступавшего с трибуны Троцкого, какая разница между коммунистами и большевиками. Троцкий стал объяснять мудреными и непонятными словами, сыпал научными терминами. Ничего не поняв, бойцы недовольно загудели. Семен Михайлович вышел на трибуну и поднял руку. Наступила тишина. Командарм вынул спичечную коробку из кармана и, подняв ее на вытянутой руке, спросил: «Что это?» Часть бойцов ответила «спички», а часть — «серники». «Меняется от названия содержание коробки?» Все ответили: «Нет!» «Так же и большевик и коммунист — это одно и то же», — пояснил Семен Михайлович. «Ну, теперь понятно, — зашумели бойцы, — так бы сразу нам и сказали».

— Обставил я оратора своей логикой. Обиделся на меня Троцкий, — дополнил рассказ Хрулева Семен Михайлович. — В Москве он наговорил много нелестного о нас. Владимир Ильич нас защитил, он сказал: «Товарищ Буденный со своими бойцами бьет белых генералов и защищает Советскую власть. Вопрос этот снимается с обсуждения». Правда, об этом мы узнали уже много лет спустя...

Семен Михайлович обладал чувством юмора, любил шутку, умел рассказывать смешные истории из своей жизни.

— Как-то мне доложил адъютант, — рассказывал Семен Михайлович, — что звонил художник Василий Никитич Мешков. Освободившись, я позвонил ему. Он попросил разрешения писать мой портрет. Договорились встретиться у меня на квартире. Наши сеансы проходили интересно: он рассказывал о художниках, о различных течениях в искусстве. А я — о героизме конармейцев и разных случаях из времен гражданской войны.

Однажды, оставшись один после очередного сеанса, я стал рассматривать портрет, и мне показалось, что застёжка на гимнастерке не на середине и усы уж очень жесткие, торчат, как у кота. Я взял кисть и подправил портрет. Мне показалось, что портрет стал лучше. Но каково же было мое удивление, когда на следующий день, приехав домой, я ещё в передней услышал разгневанный голос художника. Вхожу в кабинет и вижу разъяренного Мешкова. Он ругался, что кто-то «изуродовал» портрет.

— Не изуродовал, а подправил, — сказал я.

Это окончательно вывело художника из равновесия. Я тоже вспылil. И в результате сеанс не состоялся.

Через некоторое время Василий Никитич позвонил.

— Семен Михайлович, вы на меня не сердитесь? — спросил он.

— Нет, — отвечаю, — я быстро отхожу.

— Я тоже, — сказал Василий Никитич. — Может, продолжим наши встречи?

— Пожалуйста, — ответил я.

Портрет получился хороший, и мне очень понравился.

— Но почему глаза вы сделали светлыми, с голубизной? — спросил я. — Ведь они у меня, как у кошки, карие с зеленцой.

— Глаза — зеркало души, а душа у вас светлая, — ответил художник с улыбкой.

Так был закончен портрет, и мы расстались друзьями. В дальнейшем я уже не подправлял портретов, хотя иногда очень хотелось. Свой опыт «художника» я уже забыл, но как-то в перерыве на одном из заседаний Михаил Иванович Калинин обратился ко мне: «Семен Михайлович, я знал вас как хорошего организатора, вояку, знал, что вы, как и я, мужик и любите землю, но не знал, что вы еще и художник». И рассказал всем историю с портретом художника Мешкова. Все смеялись...

...Вспоминаю, с каким торжественным волнением проходили в нашем доме праздники Первомая и Великой Октябрьской революции. Подготовки к парадом. Ночные поездки на репетиции войск.

Дети обычно просили взять их с собой. И если Семен Михайлович обещал это им, спали тревожно: то и дело подбегали к нему и спрашивали: «Не пора ли ехать? Ты не проспал?» В день праздника просыпались рано. Все шли смотреть парад и демонстрацию. Переживали за Семена Михайловича, очень хотелось чтобы все прошло хорошо.

Мне особенно запомнилась подготовка к параду 7 ноября 1937 года. Это был первый парад, который Семен Михайлович готовил как командующий столичным округом.

Он читал книги по истории парадом Москвы, истории московских улиц и Красной площади. Ездил

на тренировки войск, которые проходили большей частью ночью. Волнений было много. «Вдруг погода подведет, а самолеты должны пролететь над Красной площадью, или техника выйдет из строя и собьет порядок движения. Надо, чтобы тягачи были наготове. — говорил Семен Михайлович начальнику штаба округа А. И. Антонову, приехав вместе с ним с репетиции. — По старой русской традиции хорошо было бы, чтоб барабанщики открывали парад, но сейчас мы уже не успеем сделать этого. На будущее надо учесть...»

Этот замысел Семен Михайлович осуществил на параде в 1940 году, и эта традиция сохраняется до сих пор.

Много внимания уделял Семен Михайлович и своей личной подготовке к параду. Вместе с Климентом Ефремовичем Ворошиловым он каждое утро тренировался в верховой езде в Хамовническом манеже. В канун праздника, вечером, подгонял обмундирование... Все готово: ордена начищены, пояс с именным золотым оружием висит на пирамиде (сейчас это оружие находится в Центральном музее Советской Армии).

Наступило праздничное утро 7 ноября 1937 года. Семен Михайлович встал рано и за час до начала парада уехал в Кремль.

Семен Михайлович был заботливым отцом и хорошим мужем. Мы воспитали троих детей, и рождение каждого ребенка приносило ему большую радость.

В 1938 году родился первый сын Сергей. На следующий же день Семен Михайлович приехал в больницу нас навестить.

— Я приехал познакомиться с сыном. Что же я за отец, если не знаю своего сына. Покажите мне малыша. Я никогда не видел таких маленьких.

Рассматривая ребенка, изумлялся, какие маленькие у него пальчики и ногти. Я с горечью сказала:

— Нос только велик для такого маленького.

— Ничего, нос буденновский. Выправится, не беспокойся. Я послал телеграмму маме в станицу, поздравил ее с рождением внука. Они с Таней скоро прикатят, получив такое известие, не усидят дома.

И действительно, в скором времени мы с радостью встречали маму и сестру Семена Михайловича. Меланья Никитична меня расцеловала:

— Спасибо тебе за внука, порадовала ты меня на старости лет. Я уж думала, что не увижу внуков от Семена.

А через год родилась дочка. Семен Михайлович приехал к нам с цветами. Войдя в палату, сказал:

— Любимым женщинам почет и уважение. Мы, мужчины дома обсуждали, как назвать дочку. Я сказал Сереже: у тебя есть сестричка, как ее назовем? Он пролепетал что-то вроде «ни-ни». Так если ты, Мария, не возражаешь, давай назовем ее Ниной.

— Я не против, имя мне нравится, — сказала я.

— Ну а хозяйка имени молчит, а молчание — знак согласия, — пошутил Семен Михайлович. Потом серьезно добавил:

— Нападение фашистской Германии на Польшу создало тревожную обстановку на нашей западной границе. Я должен поехать в Белорусский военный округ. Хорошо, если бы ты вернулась домой до моего отъезда.

Семен Михайлович уехал. Охваченная тревогой, я с новорожденной поспешила домой, чтобы самой проводить Семена Михайловича в командировку. За годы совместной жизни мне приходилось часто его провожать и встречать, а иногда и сопровождать.

Дети подрастали. Семен Михайлович с нетерпением ждал первых их слов, радовался первым шагам.

...Началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года я проводила Семена Михайловича на фронт. А в середине августа я вместе с детьми уехала в Куйбышев.

Зная о большой любви Семена Михайловича к семье, я старалась как можно чаще писать ему на фронт, сообщала, как растут дети, что нового в их поведении, как они играют в войну, «помогают» папе воевать, выступают с речами, призывая защищать свою Родину. Я хотела, чтобы, читая эти письма, Семен Михайлович хотя бы на минуту переносился мысленно в свой дом, в свою семью и был спокоен за нас.

В ответ на одно из моих писем Семен Михайлович 24 сентября 1941 года писал: «Сегодня получил твое письмо и был очень рад. У нас идут сильные бои, противника уничтожаем много, а он, мерзавец, все лезет, но спесь ему сбили. Крепко целую тебя и наших деточек. Привет маме и В. И.» (мама и В. И. — мои родители. Мать Семена Михайловича и его сестры приехали в Куйбышев 21 сентября, но он еще не знал об этом).

А вот строки из письма от 30 ноября 1941 года: «Уж четыре дня, как прибыл в Сталинград. Здоровье

хорошее, работы много. Сегодня Ока Иванович выезжает в Куйбышев, вот я и решил написать пару слов. Дела здесь, на юге, идут неплохо, дерутся и фашистов уничтожают хорошо. Крепко тебя целую. Поцелуй за меня наших деток. До свидания. Привет всем нашим».

Переписывались мы с Семеном Михайловичем нечасто, только во время войны. Письма он всегда писал короткие, и только в том случае, если не было возможности позвонить.

В письме от 3 июля 1942 года Семен Михайлович писал: «Сегодня получил твое письмо и прочитал его с большим удовольствием. Сережа и Ниночка у нас замечательные. Беда с проклятой немчурой, лезет, сатана. Будем биться еще злее и в результате разобьем. Пока всего доброго, моя милая, поцелуй за меня наших милых и родных детей».

1942 год. Сентябрь. Мы живем, как все, тревогой за фронт. Однажды раздается телефонный звонок. Нам сообщают, что сегодня, 9 сентября, в Куйбышев прилетает Семен Михайлович. Радости нет конца. Вот мы на аэродроме. Приземляется самолет, и выходит Семен Михайлович. Нина не двинулась с места, а только сказала:

— Сережа, твой папа на фронте, а мой на фотокарточке. Сережа не раздумывая бросился к отцу и повис на шее.

— Нина забыла меня. Немудрено, больше года не видела, а ей тогда еще и двух не исполнилось, — с грустью сказал Семен Михайлович.

Дома нас ждали все родные: сестры и мать Семена Михайловича, мои родители. Расспрашивали его о

войне. Он отвечал: «Мы победим!» Старался расположить к себе Нину, она же никак не хотела идти к нему. Вечером же, когда мы все сидели, разговаривали, открылась дверь и вошла Нина с подругами.

— Вот мой папа, — сказала она и забралась к нему на колени. Так началась дружба отца и дочери.

На другой день мы повели Семена Михайловича к Волге. Нину он нес на плечах. Он ей что-то все время рассказывал, а Нина гладила его усы и негромко повторяла: «Киса...» Семен Михайлович смеялся.

11 сентября Семен Михайлович и я улетели в Москву. А к октябрьским праздникам (1942 года) вся наша семья вернулась в Москву. Мы встречали их на Центральном аэродроме. Сережа, выйдя из самолета, запел: «Москва моя, ты самая любимая...»

Дела на фронте шли успешно. В сводках Совинформбюро все чаще слышались названия освобожденных от оккупантов городов и сел. 3 июля 1944 года, в день освобождения Минска, у нас родился второй сын. Семен Михайлович предложил назвать его Мишей.

— Во-первых, в честь деда, — сказал Семен Михайлович. — А во-вторых, в Минске началась моя революционная деятельность под руководством Михаила Васильевича Фрунзе. Тогда я знал его как Михайлова. Все за то, чтобы назвать сына Мишей.

Семен Михайлович дома организовал торжественную встречу. Наше появление было встречено громким «ура». Сережа трубил в горн, а Нина била в барабан. Побыв немного с нами, Семен Михайлович уехал на работу. А я с ребятами пошла к бабушке

Малаке (так ребята звали Меланью Никитичну — мать Семена Михайловича). Она была уже старой, плохо себя чувствовала и из своей комнаты не выходила. Меланья Никитична была очень довольна, что ей принесли показать внука, который носит имя деда. Семен Михайлович звал ее жить с нами еще до войны, но она отказывалась, говорила, что здесь она никого не знает и ей будет скучно, ведь вся ее жизнь прошла в станице. Меланья Никитична была неграмотной, но остроумной и интересной сказочницей.

А с какой любовью и уважением относился к матери Семен Михайлович! Часто и подолгу они засиживались вместе, вспоминая свою тяжелую и безрадостную жизнь безземельных крестьян. Во время гражданской войны ей пришлось на себе испытать ненависть белогвардейцев: ее сыновья дрались против белых. Когда станицу заняли белые, начались расправы. Были расстреляны сотни людей. Белобандиты арестовали отца Семена Михайловича, расстреляли сестру Анастасию, но ночью она очнулась среди убитых и, окровавленная, добралась до дому. Меланью Никитичну били шомполами.

Семен Михайлович тогда со своим отрядом отбил станицу у белых. Но семьям, которые сочувствовали красным, пришлось покинуть свои родные места. Вместе с красными отрядами, отступавшими за Волгу, ушла и семья Буденных.

Однажды в станице, где остановились беженцы, появился разъезд белых. Отца Семена Михайловича соседи предупредили об этом. И Михаил Иванович, хотя и был болен, решил уходить за Волгу, но белые нагнали его и жестоко избили, оставив лежать на

льду. Станичники подобрали его, привезли в дом, через три дня Михаил Иванович умер.

Все, что умел делать и любил сам, Семен Михайлович старался передать детям. С раннего возраста приучал их к труду, прививал любовь к природе, ко всему живому. Гуляя по лесу, учил подражать пению птиц, ориентироваться на местности по звездам, по солнцу, по деревьям. Много рассказывал о тяжелом крестьянском труде, однако умел подчеркнуть и радость труда, его красоту. С особым чувством он говорил о сенокосе:

— Крестьяне считали сенокос легкой работой. На сенокос шли как на праздник, в лучших своих нарядах, работали весело, с песнями.

Сам Семен Михайлович косил красиво, легко, захватывая широкий ряд. Трава из-под его косы ложилась ровными рядами. Дети помогали ему: переворачивали ряды, потом складывали в копны. После работы на костре варили кулеш, жарили яичницу. Семен Михайлович что-нибудь рассказывал ребятам. Когда дети подросли, он и их научил косить.

Праздники, семейные торжества Семен Михайлович всегда организовывал интересно, с выдумкой. Были конкурсы для ребят на лучшую песню или пляску, при этом сам с удовольствием аккомпанировал им на гармошке. И вообще, все свое свободное время Семен Михайлович проводил с детьми. Он говорил:

— Слишком я их долго ждал. Я отдыхаю с ними.

Еще в раннем возрасте, едва нос стал виден из-за бильярдного стола, Семен Михайлович начал учить детей этой увлекательной игре: показывал,

как надо водить свой шар, куда бить, чтобы шар катился в нужном направлении или оставался на месте.

— Всем тонкостям игры на бильярде меня научил Глеб Максимилианович Кржижановский, — рассказывал Семен Михайлович. — Я считаю, что игра на бильярде очень полезна. Она развивает глазомер, придает телу гибкость, укрепляет мускулы ног. Ведь пока кончишь партию, сколько походишь вокруг стола, сколько раз поклонись ему.

Дети быстро овладели этой игрой, а повзрослев, иногда обыгрывали отца. Это его радовало, и он говорил: «Ученики частенько превосходят учителей».

С нетерпением ждал Семен Михайлович, когда дети подрастут и их можно будет учить ездить верхом. Сначала он брал детей к себе в седло. Я боялась, как бы они не упали, но Семен Михайлович успокаивал:

— Не бойся, не упадут, я же держу и лошадь, и седока: пусть с детства привыкают, чтобы ничего в жизни не боялись.

Дети подрастали. Летом Семен Михайлович вставал рано, поднимал ребят, и все вместе шли на час-полтора в открытый манеж заниматься верховой ездой. Семен Михайлович следил за их посадкой, подсказывал, как нужно выполнять тот или иной прием. Дети научились крепко держаться в седле. По воскресеньям выезжали с отцом в поле, затем стали учиться преодолевать препятствия. Занимались также фехтованием, стрельбой, играли в теннис. Семен Михайлович очень любил охоту и часто брал с собой мальчиков. Он поощрял занятия ребят спортом, но

следил, чтобы это никак не отражалось на учебе.

Еще в пятилетнем возрасте дети начали изучать иностранные языки. Так хотел Семен Михайлович.

— В наше время нельзя не знать языков, — говорил он. — И вообще, дети должны многое знать и уметь делать, вырасти образованными людьми. Полученные знания останутся с ними на всю жизнь. Ничто не потеряется и не сносится.

А перед тем, как посетить Мавзолей Владимира Ильича Ленина, Семен Михайлович рассказал детям о своих встречах с Ильичом, о великой скорби народа в дни похорон, о том, как в период гражданской войны обращался к нему за помощью. И Владимир Ильич всегда помогал.

— О партии большевиков, которой руководил товарищ Ленин, я услышал еще в царской армии, — рассказывал детям Семен Михайлович. — Мы, солдаты-крестьяне, с жадностью читали Декрет о земле. В нем говорилось, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает. Вот тут я и понял, что это партия наша, она борется за наши интересы безземельных крестьян. И всей душой встал на сторону большевиков. В 1919 году стал членом партии и всю свою жизнь посвятил служению партии и народу.

Закончив школу, Сережа поступил в Военно-инженерную академию имени И. Е. Жуковского. Помню, как, впервые вернувшись в курсантском обмундировании, он по-уставному представился отцу.

— Ну, мать, в семье прибавился еще один военный, — весело и одобрительно сказал Семен Михайлович.

В последний год жизни отца Сережа, уже подполковник, учился в Военной академии Генерального штаба.

— Сынок, я рад за тебя, — говорил отец. — В академии ты получишь превосходную теоретическую подготовку, а остальное будет зависеть только от тебя, от твоего отношения к службе.

Дочь Нина окончила Московский университет и стала журналистом. Отец любил подолгу беседовать с ней, рассказывал о гражданской и Великой Отечественной войнах. Мне казалось, что именно ей он хотел открыть ту высокую романтику, героическую подвиг истинного защитника Отечества. О живых и погибших своих боевых соратниках вспоминал он в беседах с дочерью, повторяя:

— Тебе все это может пригодиться, ведь ты журналист.

Он привлек дочь к переработке своей первой книги «Пройденный путь» и был доволен совместной работой. Сказал мне:

— Нина работать умеет, понимает автора.

Младший сын Миша окончил энергетический институт, стал инженером, специалистом по автоматике и телемеханике. Без отрыва от работы окончил Академию Внешторга.

Семен Михайлович был счастлив, что при его жизни дети стали на самостоятельный путь, обзавелись семьями. При его жизни росло и третье поколение Буденных — внуки, с которыми Семен Михайлович жил в большой дружбе».

Классик русской литературы Лев Николаевич Толстой утверждал:

«Есть два рода счастья: счастье людей добродетельных и счастье людей тщеславных. Первое происходит от добродетели, второе — от судьбы. Счастье, основанное на тщеславии, разрушается им же: слава — злоречием, богатство — обманом. Основанное на добродетели счастье — ничем».

Полагаю, семейное счастье Марии Буденной было неподдельным. Она оказалась как раз той женщиной, которой удалось освоиться в коммунистическо-номенклатурном раю.

«Счастливец, попавший в номенклатуру, т. е. зачисленный в некие списки, обеспечивающие до смертного одра жизнь в свое удовольствие за счет государства, — писал Олег Волков в новелле «Павшие ангелы», — паче всего должен уметь вдалбливать своим подчиненным — при помощи вышколенного аппарата и в полном смысле купленных пропагандистов и агитаторов — представление о несравненных достоинствах строя, привилегированном положении советских трудящихся, о непогрешимости партии и т. д. и т. п., и особой заслугой признается умение внушить окружению представление об исключительности «слуг народа», как всерьез себя называют самые разжиревшие тунеядцы, занимающие высокие и высочайшие посты, требующие, само собой, и чрезвычайной обеспеченности.

Эти присвоенные высокому чину привилегии ответственные работники, особенно высшая прослойка, до поры до времени маскировали. Сверхснабжение шло скрытыми каналами, и даже жены и любовницы министров-наркомов не рисковали щеголять драгоценностями и туалетами.

Из ряда вон выходящим случаем были бриллианты, как утверждали, из царского алмазного фонда, демонстрируемые со сцены актрисой Розенель, названной смелым карикатуристом «ненаглядным пособием Наркомпроса». Только положение дарителя — наркома просвещения Луначарского — спасало от скандала.

Но после того, как было предписано придерживаться лозунга «Жить стало лучше, жить стало веселей», а народ оказался взнузданным до состояния столбняка, фиговые листья были отброшены: лимузины, фешенебельные дачи, царские охоты, заграничные курорты и поездки, больницы-хоромы, дворцовые штаты прислуги, закрытые резиденции и, разумеется, магазины, ломящиеся от заморских яств, потому что-что другое, а выпивку и закуску номенклатура, как любые выскочки, ценит: все это сделалось узаконенной принадлежностью быта ответработников. Разумеется, в строгом соответствии с табелью о рангах — важностью занимаемой должности».

ТЕМНЫЙ УГОЛ

Только личная связь со Сталиным спасла его секретаря Бориса Бажанова от ареста и гибели в ходе первых массовых чисток. Руководитель ОГПУ Ягода уже в течение ряда лет сомневался в благонадежности этого молодого интеллигента, которого никак не удавалось поймать на чем-нибудь серьезном. Эти со-

мнения были не просто плодом подозрительности главы секретной полиции.

Ягода испытывал личную ненависть к Бажанову, который с подчеркнутым отвращением относился и к самому начальнику ОГПУ, и ко всем, кто за ним стоял. Когда в 1925 году Бажанов был смещен со своей кремлевской должности, слежка за ним со стороны «органов» лишь усилилась. Никким образом нельзя было допустить, чтобы человек с независимым образом мыслей, занимавший ключевые посты в партийной иерархии, покинул страну, унося с собой во внешний мир секреты Кремля.

Но Ягоде представлялось особенно заманчивым схватить Бажанова уже на границе, при явной попытке к бегству из СССР, ведь это было бы самым бесспорным доказательством его измены. Вероятнее всего, именно по этой причине Ягода и не чинил препятствий поездке Бажанова в Туркмению. Здесь, на границе, ОГПУ удалось схватить многих неудачливых беглецов. Однако в канун 1928 года произошла осечка: сталинский секретарь сбежал, прихватив с собой агента ОГПУ.

Борис Бажанов владел достоверной информацией о секретах Кремля, в том числе и о прошлом Ягоды:

У четырех братьев Свердловых была сестра. Она вышла замуж за богатого человека Авербаха, жившего где-то на юге России. У Авербахов были сын и дочь. Сын Леопольд, очень бойкий и нахальный юноша, открыл в себе призвание руководить русской литературой и одно время через группу «напостовцев» осуществлял твердый чекистский контроль в литературных кругах. А опирался он при этом главным

образом на родственную связь — его сестра Ида вышла замуж за небезызвестного Генриха Ягоду, руководителя ГПУ.

Ягода в своей карьере тоже немалым был обязан семейству Свердловых. Дело в том, что Ягода был вовсе не фармацевтом, как гласили слухи, которые он о себе распустил, а подмастерьем в граверной мастерской старика Свердлова. Правда, после некоторого периода работы Ягода решил, что пришла пора обосноваться и самому. Он украл весь набор инструментов и с ним сбежал, правильно рассчитывая, что старик Свердлов предпочтет в полицию не обращаться, чтобы не выплыла на свет божий его подпольная деятельность. Но обосноваться на свой счет Ягоде не удалось, и через некоторое время он пришел к Свердлову с повинной головой. Старик его простил и принял на работу. Но через некоторое время Ягода, обнаруживая постоянство идей, снова украл все инструменты и сбежал.

После революции все это забылось, Ягода пленил Иду, племянницу главы государства, и это очень помогло его карьере — он стал вхож в кремлевские круги...

Должен добавить о Свердловых, что Вениамин погиб в 1937 году, Леопольд Авербах был расстрелян в 1938-м, Ягода, как известно, тоже в 1938-м.

20 января 1929 года главному сопернику Сталина Льву Троцкому, который уже год как жил в ссылке в Алма-Ате, было приказано вместе с семьей покинуть пределы Советского Союза. Он направляется в Турцию. Турецкие власти предоставили в его распоряжение захолустную виллу в Бююк-Ада, на Прин-

цевых островах (в Мраморном море), до которых можно было добраться только парходом.

Но избавиться от влияния Троцкого было значительно труднее, чем удалить его лично. Он продолжал оставаться центром притяжения для многих коммунистов вплоть до самой смерти, последовавшей десятилетие спустя (и даже после смерти). Из всех стран мира в Бююк-Ада прибывали люди с одной только целью — повидаться с Троцким. Среди таких гостей оказался и Яков Блюмкин, который в то время был руководителем агентуры ОГПУ в Стамбуле.

Напомним, что Блюмкин начал свою революционную карьеру как левый эсер и какое-то время находился в оппозиции к большевикам. Возможно, в нем снова вспыхнул давний политический идеализм, и ему по-прежнему, как в годы юности, импонировал фанатик революции Троцкий. Может быть, была тут и какая-нибудь иная причина, но, во всяком случае, Блюмкин согласился доставить Троцкому секретное послание из Советской России, написанное сторонниками изгнанного деятеля.

Летом 1929 года он вернулся в Москву. Его уже подозревали в симпатиях к Троцкому, однако день массовой кровавой расправы с троцкистами еще не наступил. Ветерана революции, да к тому же находящегося на блестящем счету в ОГПУ, нельзя было арестовать просто так, на основании слухов. Его шеф Ягода решил добыть необходимые доказательства. Зная слабость Блюмкина к прекрасному полу, он предложил Лизе Горской, одной из самых неотразимых женщин-агентов ОГПУ, вступить в связь с

Блюмкиным и попытаться выведать у него секретные данные.

Можно предположить, что Лиза «обслуживала» не только Блюмкина, но и их общего шефа Ягоду. Как бы там ни было, Блюмкин не только откровенно рассказал ей все подробности своего путешествия на Принцевы острова, но пытался завербовать ее в сторонники Троцкого. Так Ягода получил подтверждение, которого ему недоставало. Где-то в конце августа или в начале сентября 1929 года он нанес удар: в одно прекрасное утро оперативники ОГПУ подъехали к московской квартире Блюмкина точно в тот момент, когда он вместе с Лизой отъезжал из дома, направляясь на вокзал — выполнять очередное служебное задание. Последовала короткая погоня по московским улицам, выстрелы — и Блюмкин сдался.

Якову Блюмкину было всего тридцать лет. Бывшие коллеги расстреляли его в подвале московской тюрьмы.

Вот запись из дневников Троцкого:

«Для того чтобы дать приблизительное представление о методах и нравах этого учреждения (ГПУ), я вынужден привести здесь цитату из официозного советского журнала «Октябрь» от 3-го марта этого года. Статья посвящена театральному процессу, по которому был расстрелян бывший начальник ГПУ Ягода.

«Когда он оставался в своем кабинете, — говорит советский журнал об Ягоде, — один или с холопом Булановым, он сбрасывал свою личину. Он проходил в самый темный угол этой комнаты и открывал свой заветный шкаф. Яды. И он смотрел на них.

Этот зверь в образе человека любовался склянками на свет, распределял их между своими будущими жертвами».

Ягода есть то лицо, которое организовало мою, моей жены и нашего сына высылку за границу; упомянутый выше в цитате Буланов сопровождал нас из Центральной Азии до Турции как представитель власти.

Я не вхожу в обсуждение того, действительно ли Ягода и Буланов были повинны в тех преступлениях, в которых их сочли нужным официально обвинить. Я привел цитату лишь для того, чтоб охарактеризовать словами официозного издания обстановку, атмосферу и методы деятельности секретной агентуры Сталина. Нынешний начальник ГПУ Ежов, прокурор Вышинский и их заграничные сотрудники нисколько, разумеется, не лучше Ягоды и Буланова».

Незадолго до гибели Троцкий написал для «Лайфа» статью «Отравил ли Сталин Ленина?» О богатейшей коллекции ядов, которой обладала советская полиция, о словах Бухарина, что «Сталин способен на все», наконец, об очень странном сообщении, которое в присутствии Троцкого, Зиновьева и Каменева Сталин сделал на заседании Политбюро: будто в конце февраля 1923 года Ленин просил у него яду на случай, если почувствует приближение нового удара. Просьба невероятная, учитывая, что к этому времени Ленин в прах рассорился со Сталиным из-за грубого и оскорбительного разговора того с Крупской, а 4 января продиктовал приписку с своему политическому завещанию о необходимости сместить властолюбца с поста Генсека.

Ленин не мог ничего просить у Сталина не только потому, что он ему не доверял, но и потому, что больше с ним не общался. К тому же самоубийство с помощью яда — это больше восточный, понятный грузину вариант. Решись Ленин в самом деле на самоубийство, он бы использовал скорее один из европейских способов. Только не похож он на самоубийцу, а тем более — на такого, который загодя обсуждает намерение уйти из жизни с кем бы то ни было, а особенно с лютым своим врагом Сталиным.

Сообщение Сталина на Политбюро — чистая выдумка. С его точки зрения, оно должно было послужить для отвода от него — в случае смерти Ленина — подозрений, хотя в действительности само по себе было в высшей степени подозрительно. А еще более подозрительно то, что Сталин телеграфировал Троцкому на Кавказ невероятную дату похорон Ленина. Когда Троцкий приехал, тело вождя было уже забальзамировано, а внутренности кремированы. И не затем ли выстроил Сталин Мавзолей и уложил ленинские останки в стеклянный гроб — в вопиющем противоречии с материализмом марксизма — чтобы с помощью восточного ритуала предотвратить попытки как современников, так и потомков произвести эксгумацию?

Журнал «Лайф» отказался печатать статью Троцкого, и за десять дней до его убийства сталинским агентом она была опубликована в херсонском издании «Либерти». Главный аргумент критиков гипотезы об отравлении Ленина: почему Троцкий хранил свою тайну до 1939 года? На самом деле он ее не хранил — просто не знал. В том была сила Сталина,

что никто из его коллег, включая Ленина и Троцкого, даже не предполагал в начале 20-х годов, на что он способен. Сообщение о просьбе Ленина дать яд не казалось Троцкому в 1923 году подозрительным, но он иначе оценил его и связал с другими событиями после процессов над вождями революции в конце тридцатых годов и сопутствовавшего им Большого Террора. Троцкий, с интеллигентской слепотой по отношению к Сталину, принял его только под конец своей жизни и тогда по-новому взглянул на смерть Ленина. Во всех отношениях запоздалое прозрение.

В своем очерке «Иосиф Сталин. Опыт характеристики» Троцкий обращается к описанию Кремлевского быта и попутно отмечает страх тирана перед отравлением:

«Я никогда не бывал на квартире у Сталина. Но французский писатель Анри Барбюс, написавший незадолго до своей смерти две биографии: Иисуса Христа и Иосифа Сталина, дал тщательное описание маленького кремлевского дома, во втором этаже которого находится скромная квартира диктатора. Барбюса дополнил бывший секретарь Сталина Бажанов, бежавший за границу.

У дверей квартиры постоянно стоит часовой. В маленькой передней висят солдатская шинель и фуражка хозяина. В трех комнатах и столовой простая мебель. Старший сын Яша от первого брака долгое время спал в столовой на диване, который на ночь превращали в постель...

Завтрак и обед раньше приносили из столовой Совнаркома, но в последние годы, из страха перед отравлением, стали готовить пищу дома. Если хозя-

ин не в духе, а это бывает нередко, за столом все молчат».

Анна Бухарина рассуждала о лжефармацевте Ягоде:

Ягоду я мало знала и смутно помнила, кажется, только в детстве единственный раз его и видела, когда однажды в нашей квартире звучали торжественные аккорды бетховенской увертюры к «Эгмонту». Играла жена Ягоды Ида, худенькая, щупленькая, с острым личиком, похожая, как считали многие, знавшие Я. М. Свердлова, на своего известного дядю, а Ягода, опершись локтем о пианино, приложив ладонь к лицу, казавшийся грустным и задумчивым, слушал музыку.

Там, в камере, толчком к размышлениям о нем послужил осужденный на смерть сотрудник НКВД. Меня занимала не столько судьба Ягоды, сколько вопрос, в какой мере он сам был в ней повинен.

Рассказывали в лагерном мире, что жена Ягоды до процесса была в колымском лагере, после процесса была отправлена снова в Москву и расстреляна.

Одно воспоминание наплывало на другое, как я ни старалась их гнать от себя, чтобы постараться уснуть. Я не исключала, что следующий день снова принесет сражение со Сквирским, — надо было экономить ничтожные силы.

Я основательно продрогла от промозглой сырости на нижних нарах и, наконец, возвратилась в ужасную реальность, почувствовав, что лежу не на воображаемой перине, а на жестких досках и до боли отлежала худые, костлявые бока. Пришлось напрячься и перебраться на верхние нары, на свою всегда

спасающую шубку, свернуться клубком, чтобы согреть ледяные ноги.

Но как только я сомкнула глаза, передо мной предстал образ мальчика, сына Ягоды. Он мне вспоминался не только в эту ночь в Новосибирском изоляторе, но не раз за мой долгий мучительный путь. Не потому, что я симпатизировала его отцу, у меня по отношению к нему было только чувство неприязни, тем не менее этот мальчик, восьмилетний Гарик, волновал мою душу и жил в моем воображении.

Вся семья Ягоды была срезана под корень, выкорчевана из жизни: старуха мать арестована, жена расстреляна, две его сестры одновременно со мной были в Астраханской ссылке и там арестованы; наконец, теща Ягоды, сестра Я. М. Свердлова, встрети-лась мне в томском лагере и еще до моей отправки в Новосибирск была взята в этап — слухи ходили, что на Колыму, не исключено, что расстреляна — мало ли о чем мог поведать многознающий зять.

Так мальчик остался без родных. У него были, правда, родственники со стороны Свердлова, отличавшегося от нас, «грешных», лишь тем, что Свердлов не дожил до 1937 года, который скорее всего преподнес бы ему тот же подарок, какой получили его ближайшие соратники и друзья. Тем с большей уверенностью можно об этом сказать, что тому, кто позже стал «отцом всех народов», известно было, как Свердлов относился к нему еще со времен Туруханской ссылки.

Так или иначе, родственники со стороны Свердлова о ребенке не позаботились, как это сделали, скажем, моя тетка, сестра моей матери, и ее муж,

взявшие к себе моего сына, которого воспитывали до 1946 года, пока их самих не арестовали: тогда мой Юра снова оказался в детском доме. Впрочем, не будем слишком суровы. Андрей, сын Я. М. Свердлова, был «то тут, то там», — то в тюрьме, то на свободе. Остальные родственники тоже сидели, как на трясине. К тому же разве можно было забыть, что в ягодинских лапах несколько лет назад оказался и сам Андрей, а «царь-батюшка» его освободил? Сталин любил выглядеть добрым спасителем. Зачем же этим родственникам ягодинский сынок!

Но, оказавшись в томском лагере в одно время со мной, Софья Михайловна Свердлова (фамилия ее по мужу Авербах) беспокоилась о своем маленьком, оставшемся без родных внуке. Ей в виде исключения разрешили послать запрос о ребенке, сообщили его адрес и позволили написать ему. До своего исчезновения из томского лагеря она успела дважды получить ответы от внука. Я видела конверты с надписанным неуверенной детской рукой адресом и читала коротенькие душераздирающие строки:

«Дорогая бабушка, миленькая бабушка! Опять я не умер! Ты у меня осталась одна на свете, и я у тебя один. Если я не умру, когда вырасту большой, а ты станешь совсем старенькая, я буду работать и тебя кормить. Твой Гарик».

Второе письмо было еще короче:

«Дорогая бабушка, опять я не умер. Это не в тот раз, про который я тебе уже писал. Я умираю много раз. Твой внук».

О наших осиротевших детях в то время нам знать не было дозволено, переписка с родственниками бы-

ла запрещена, и это письмо от ребенка, полученное в лагере, стало событием, но, увы, не радостным. Каждая думала о своем ребенке. Мы задавали себе вопрос: что же происходило с мальчиком? Многие, в том числе и я, сходились на том, что до такого состояния ребенка могли довести лишь специальными мерами. Так и мой Юра на втором году жизни был выцарапан из детского дома полутрупом. Для меня слова мальчика «опять я не умер» превратились в своего рода символ. В заключении, даже на фоне повседневной безысходности, были особые, невыносимо тяжкие моменты, когда, казалось бы, и выжить было немыслимо, а я все-таки оставалась в живых. В тех случаях я повторяла слова маленького сына Ягоды: «Опять я не умер!»

Впечатление от коротеньких писем мальчика, по-детски, но так поразительно точно выразившего ужас, трагизм своего положения, не выветрилось из моей памяти. По возвращении в Москву я пыталась узнать о дальнейшей его судьбе, но все мои старания оказались тщетными.

Ну а сам Ягода? Он исчез не бесследно, конец его известен, руки его в крови. Однако повинен он вовсе не в тех преступлениях, которые ему инкриминировались на процессе. Он виновен прежде всего в том, что пронес через все свои последние годы тайну сталинских преступлений и оказался их соучастником.

Три наркома возглавляли ОГПУ — НКВД — Ягода, Ежов, Берия. Ежов стал профессиональным бюрократом, ограниченным фанатиком, слепо верил в Сталина, беспрекословно подчинялся ему, он не был связан органически с большевиками ленинского по-

коления, и все уже катилось, как по рельсам, хотя и сам Ежов, как я слышала, под конец своей деятельности не выдерживал «ежовщины».

Берия — человек темной биографии и по своей вероломной психологии свой человек для Сталина.

Ягода отличался от них тем, что был профессиональным революционером, членом большевистской партии с 1907 года, следовательно, не из карьеристских побуждений в нее вступил. Но именно на его долю выпал жребий положить начало истреблению товарищей по партии. Эта акция далась ему не так легко. Но мощная сталинская бюрократическая машина засасывала его непреодолимым вихрем. Поэтому именно Ягода особенно ярко являет собой пример растления личности, духовного перерождения.

Летом 1935 г. Николай Иванович приехал к Горькому на дачу. На террасе за чаем сидели Алексей Максимович, его невестка — Наталия Алексеевна (в семье ее звали Тимоша), Н. И. и старик-приживалец, хиромант, кажется, приехавший вместе с Горьким из Италии. Через некоторое время пришел Ягода. Кстати, Ягода наезжал к Горькому довольно часто: он был увлечен невесткой Горького, вдовой его сына. Кроме того, он испытывал тяготение к самому Горькому как земляку. В Нижнем Новгороде Горький был близок семье Свердловых, усыновил старшего брата Я. М. Свердлова, Зиновия, не принявшего революцию и не вернувшегося в Советский Союз.

Итак, Ягода подсел к общему столу.

— Покажите вашу руку, Генрих Григорьевич, — попросил старик-хиромант. Ягода спокойно протянул руку. Старик недолго рассматривал линии на

ладони, затем, брезгливо отбросив руку, сказал: «А вы знаете, Генрих Григорьевич, у вас рука преступника!» Ягода разволновался, покраснел, ответил ему, что хиромантия не наука, а пустое занятие, и вскоре уехал.

Самое примечательное в этом эпизоде, как считал Н. И., заключалось в том, что Горький пропустил сказанное мимо ушей, не сделал замечания старику за бестактность по отношению к Ягоде ни при нем, ни после его ухода.

Согласно легенде Ягода вызывал кремлевских врачей в свой кабинет, каждого поодиночке, и путем угроз добивался от них, чтобы они неправильным лечением сводили в могилу своих знаменитых пациентов — Куйбышева, Менжинского и Горького. Из страха перед Ягодой врачи будто бы повиновались.

22 декабря 1927 года Владимир Михайлович Бехтерев произнес слово «паранойя». Вскоре он умер. Вообще-то факт смерти не удивителен для семидесятилетнего человека. Однако смерть Бехтерева взволновала всех.

В семейном предании эта дата осталась прочно. То был сочельник, наряжали елку. Вспоминает внучка Бехтерева — Наталья: «Перед сообщением о смерти деда была некая мистика. Мы наряжали елку, и отец стал зажигать свечи. Свечи он зажигал прямо над Дедом Морозом. Когда зажег три свечи, неожиданно сказал: «Смотрите, у этого деда лицо прямо как у моего отца. И три свечи у изголовья». Вскоре раздался звонок...

Неожиданную смерть Бехтерева, однако, сразу стали связывать с консультацией, которую он перед

тем дал Сталину. Прямых свидетельств, что одно событие сопряжено с другим, вроде бы нет. Между тем, в умах многих людей они накрепко соединились друг с другом и держатся уже не одно поколение.

Официальной причиной смерти объявили паралич сердца.

Прощание с Бехтеревым было пышным, по первому разряду. И в Москве, и в Ленинграде, куда доставили прах. Мертвый Бехтерев ни для кого уже не был опасен. Напротив, можно было воздать ему по заслугам.

Почти все, кто знал Бехтерева, были убеждены: его отравили. Ученики и коллеги передавали эту версию своим ученикам и коллегам, те — своим. Эти бесчисленные цепочки до сих пор тянутся и ветвятся. Продвигаясь от звена к звену обратным ходом, можно дойти до первоисточника.

В декабре 1927 года Бехтерев отправился в Москву для участия в съезде психиатров и невропатологов, а также в съезде педологов... Перед самым отъездом из Ленинграда он получил телеграмму из Лечсанупра Кремля с просьбой по прибытии в Москву срочно туда позвонить. Бехтерев позвонил, а затем отправился в Кремль.

На заседание Бехтерев приехал с большим опозданием, кто-то из делегатов спросил его, отчего он задержался. На это Бехтерев — в присутствии нескольких людей — раздраженно ответил:

— Смотрел одного сухорукого параноика.

После заседания Бехтерев вместе с делегатами отправился в Большой театр, там к нему подошли какие-то мужчины, которые не были делегатами и

никому не были известны. Они повели ученого в буфет, там он стал есть какие-то бутерброды. Потом спутники куда-то испарились, и более их никто не видел. Ночью Бехтерев скончался...

Его прах (кроме мозга) был кремирован без вскрытия... Урна была отправлена в Ленинград.

Вскрывал мозг Бехтерева академик А. И. Абрикосов крупнейший патологоанатом того времени. Позже А. И. Абрикосов вскрывал В. Р. Менжинского, Г. К. Орджоникидзе и многих других, причина смерти которых фальсифицировалась властями. А. И. Абрикосов всегда чувствовал над собою дамоклов меч НКВД...

Лидия Шатуновская пишет: «Многие задумываются, совершал ли он (Сталин) чудовищные преступления в здравом уме или страной правил на протяжении многих лет психически ненормальный человек.

В конце двадцатых годов Сталин впал в состояние тяжелой депрессии. Пригласили Бехтерева, который провел с ним несколько часов, а затем на вопросы окружающих сказал: «Диагноз ясный. Типичный случай тяжелой паранойи».

Еще одна версия: к отравлению Бехтерева причастна его вторая жена Берта Яковлевна. Домашние были убеждены, что это именно ее рук дело. Мотивы отравления, правда, предполагались меркантильные.

Бехтерев-сын всем рассказывал о своих подозрениях: отца отравили. Хотя подозревал он в злодеянии вовсе не отца народов, а всего лишь собственную мачеху, этого вполне могло оказаться достаточным,

чтобы кто-то ощутил необходимость убрать и его. В конце концов, Петр Владимирович, главный инженер одного из ленинградских оборонных КБ, был арестован. Десять лет без права переписки. Существовал тогда такой иезуитский эвфемизм, маскировавший слово «расстрел».

Спровалили в лагерь и его жену. Трое детишек начали скорбный путь по распределителям и детдомам.

Бехтерев женился на Берте Яковлевне незадолго до кончины, года за два. Это был странный брак. Она была намного моложе его, не принадлежала к его кругу.

По свидетельству Шатуновской, после смерти Бехтерева Берта Яковлевна бывала у них в гостях. И все удивлялась: отчего это умер Владимир Михайлович, ведь он был совершенно здоров? «Слушая ее, — пишет Шатуновская, — все переглядывались между собой». По завещанию Берта Яковлевна не получила ничего. В середине тридцатых она исчезла. Некоторые утверждают, что была она родственницей Ягоды.

Истинными мотивами отравления Бехтерева, конечно, не могли быть денежные.

В этот приезд в Москву Бехтерев остановился, как обычно, на квартире известного гинеколога Благоволина в Дурновском переулке рядом с Собачьей площадью.

Утром 23 декабря он был совершенно здоров и делился с окружающими научными планами. Днем участвовал в работе съезда, выступил с докладом о коллективной психотерапии при алкоголизме, сразу

после заседания осмотрел лаборатории Института психопрофилактики, а вечером поехал в Малый театр на спектакль «Любовь Яровая».

Сразу же по возвращении домой у него началась рвота. Утром был вызван профессор Бурмин, определивший желудочное заболевание. В течение дня самочувствие несколько улучшилось, но в 19 часов пришлось вновь обращаться за врачебной помощью в связи с резким ухудшением его состояния. На этот раз вместе с Бурминым приехал профессор Шервинский. Кроме них, у постели больного оказались еще два врача — Константиновский и Клименков (обе фамилии привела «Вечерняя Москва», в остальных репортажах Клименков фигурировал под псевдонимом «и др.»). Состоявшийся консилиум подтвердил диагноз острого желудочно-кишечного заболевания и установил ослабление сердечной деятельности. Вслед за этим, профессора уехали, а оба врача остались и отметили у больного сначала помрачение, а затем потерю сознания, расстройство дыхания и коллапс. Больному проводили искусственное дыхание и впрыскивали камфару. В 23 часа 45 минут была констатирована смерть, наступившая, по заключению врачей, от паралича сердца.

Всю ночь у тела Бехтерева дежурили его вдова, член ВЦИК Рейн, названный близким другом покойного, и все те же два врача. Утром 25 декабря состоялось совещание московской профессуры с участием Россоломо, Минора, Абрикосова, Крамера, Шервинского, Бурмина, Гиляровского и Кроля. Не исключено, что на нем присутствовали оба врача, не отходившие от Бехтерева до и после его смерти, но

уже под именем «представителей Наркомздрава».

Совещание постановило исполнить волю покойного о передаче его мозга в Ленинградский институт по изучению мозга. Днем Абрикосов вскрыл череп умершего, извлек его мозг, весивший значительно больше, чем предполагалось, отправил его на временное хранение в Патологоанатомический институт 1-го МГУ, а в тело ввел формалин.

После этого у гроба Бехтерева постоянно несли почетный караул его друзья, ученики, студенты. Утром 26 декабря в Москву прибыли вызванные телеграммой дети покойного.

Торжественный церемониал похорон 27 декабря был расписан по часам. Через 3 часа после кремации урна с его прахом и мозг были доставлены на Октябрьский вокзал и отправлены в Ленинград.

Похороны снимали на кинолентку; в газетах напечатали выдержки из траурных выступлений Калинина, Семашко, Луначарского, Вышинского.

Стоит выслушать М. С. Благоводину — дочь видного московского врача, на квартире которого жил в те дни Бехтерев:

«Профессор Бехтерев с женой бывали в Москве почти каждый месяц и всегда останавливались в нашем доме. Для него освобождали столовую, и, пока он там жил, ни мы, дети, ни наши родители в эту комнату не входили; поэтому узнать о болезни профессора наша семья могла только от его жены.

Скорее всего, именно она позвонила в поликлинику ЦЕКУБУ с просьбой прислать врача на дом. Если бы врача вызывал мой отец, он обратился бы, как обычно, к своему давнему другу, доктору Л. Г. Леви-

ну, лечившему нашу семью. Из поликлиники же прислали Д. А. Бурмина, которого в нашей семье считали хорошим клиницистом».

Состояние Бехтерева быстро ухудшается. Не исключено, что на самом деле он умирает в 22 часа 40 минут, когда пульс у него больше не прощупывается. Но смерть констатируют в 23 часа 45 минут, и в прессу не успевает просочиться соответствующая информация. Зато через три дня газеты доведут до сведения читателя принадлежащее тем же двум врачам заключение о причине смерти Бехтерева: «паралич сердца».

У тела Бехтерева сидела женщина, только что ставшая его вдовой.

«АННУ МИХАЙЛОВНУ ЖДЕТ СТРАШНАЯ СУДЬБА!»

Анна Михайловна Ларина была второй женой Николая Бухарина (Н. И. — так называла она его в своих мемуарах).

«Ларин и Н. И. были знакомы еще со времен эмиграции, впервые встретились в Италии в 1913 года, куда Н. И. наезжал из Австрии, в течение года (с лета 1915 по лето 1916) они жили по соседству в Швеции. В то время их уже связывала идейная близость — борьба с оборончеством. Затем с 1918 до середины 1927 года мы жили одновременно в «Метрополе». Отец и Н. И. не всегда сходились во взгля-

дах, но это никогда не нарушало их дружбы. Они были предельно откровенны друг с другом, старались спокойно доказать правоту своих взглядов по различным экономическим вопросам. Н. И. относился к отцу с большой нежностью. Часто приходя и заставляя его без посторонних, целовал в голову. Придумывал Ларину всевозможные прозвища — «Ларчик, который непросто открывается», Ларингит, Ландрин. Или же звал его просто Мика, как все родные, а уж если по имени и отчеству, что бывало в тех случаях, когда разговор происходил в возбужденном тоне, то обязательно Юрий Михайлович, а не Михаил Александрович. Именно поэтому нашего сына, в память о моем отце, по желанию Н. И., мы называли Юрий.

Я не открою секрета, если скажу, что из всех многочисленных друзей отца, бывавших у нас дома, моим любимцем был Бухарин. В детстве меня привлекали в нем неумемная жизнерадостность, озорство, страстная любовь и знание природы, а также его увлечение живописью. В то время я не воспринимала Н. И. вполне взрослым человеком. Это может показаться смешным и нелепым, тем не менее думаю, что я правильно передаю свое детское отношение к нему. Если всех самых близких товарищей отца я называла по имени и отчеству и обращалась к ним на «вы», то Н. И. такой чести удостоен не был. Я называла его Николаша и обращалась только на «ты», чем смешила и самого Н. И., и своих родителей, тщетно старавшихся исправить мое фамильное отношение к Бухарину, пока они к этому не привыкли.

Обстоятельства знакомства с Н. И. мне хорошо запомнились. В тот день мать повела меня в Худо-

жественный театр смотреть «Синюю птицу». Весь день я находилась под впечатлением спектакля, а когда легла спать, увидела во сне и Хлеб, и Молоко, и загробный мир — спокойный, ясный и совсем не страшный. Слышалась мелодичная музыка Ильи Саца: «Мы длинной вереницей идем за синей птицей». И как раз в тот момент, когда мне привиделся Кот, кто-то дернул меня за нос. Я испугалась, ведь Кот на сцене был большой, в человеческий рост, и крикнула: «Уходи, Кот!» Потом сквозь сон услышала слова матери: «Н. И., что вы делаете, зачем вы будите ребенка!» Но я проснулась, и сквозь кошачью морду все отчетливее стало вырисовываться лицо Бухарина. В тот момент я и поймала свою «синюю птицу» — не сказочно-фантастическую, а земную, за которую заплатила дорогой ценой. Разбудивший меня Н. И. весело смеялся и неожиданно для меня повторил слова, которые я произносила, когда жила в Беларуси и в сосновом бору видела множество дятлов: «Дятлей носом тук да тут, тук да тук». К дятлам я имела особое пристрастие за пестрое оперение, красную головку и трудолюбие, о чем мать рассказала Н. И. как большому знатоку птиц. Н. И. забавляло, что я говорила «дятлей носом», а не клювом «тук да тук».

Н. И. забегал к отцу чаще ненадолго, по характеру своему он был непоседа, да и время поджимало, но бывало, что и засиживался. Приходил и со своими учениками. В более позднее время хорошо помнятся Ефим Цетлин, Дмитрий Марецкий, Александр Слепков. Компания была шумная. На двери ларинского кабинета висело написанное моей рукой под диктовку отца объявление: «Спорить можно

сколько угодно, курить нельзя». Ну и спорили, действительно, сколько угодно...

Я всегда в детстве огорчалась, когда Н. И. уходил от нас, и все чаще и чаще забегала сама к нему. Он жил этажом ниже, под нами, в 205-м, таком же трехкомнатном номере. Квартира была расположена в конце коридора, а коридор упирался в фонтан, отгороженный стеклянной стенкой. После революции фонтан бездействовал, и Н. И. превратил его в зверинец. То там летали огромные орлы, то жила обезьяна-мартышка, то медвежонок. Все, кроме обезьяны, — охотничьи трофеи Н. И. В то время, т. е. в 1925—1927 годах, я часто заставляла Сталина у Н. И. Как-то раз там я слышала его циничную шутку, обращенную к отцу Н. И.: «Скажите, Иван Гаврилович, чем вы своего сына делали? Я хочу ваш метод позимствовать, ах какой сын, ах какой сын!»

Однажды Сталин вытащил из коробки с масляными красками Н. И. цинковые белила и написал ими на куске красной тряпки: «Долой троцкизм!» Тряпку привязал к лапе медвежонка и пустил его на балкон. Медведь старался освободить лапу от тряпки, махал привязанным «знаменем» с лозунгом на злобу дня. Троцкий в то время представлял для Сталина главную опасность, черед «правой» опасности еще не пришел.

Отец радовался, когда я бывала у Н. И., говорил: «Пошла в отхожий промысел». Ему всегда казалось, что его болезнь омрачает мою жизнь, что я не добиваю детской радости. Да и сам он старался меня к Н. И. «подбрасывать». Летом 1925 года мы с родителями и Н. И. были одновременно в Сочи, а в 1927

году — в Евпатории. По желанию отца и с согласия Н. И. я жила больше у него, чем у родителей. Ездила с ним в горы, он брал меня с собой на охоту, на этюды, мы вместе ловили бабочек, жуков-богомолов, он учил меня плавать. Какое прекрасное то было время.

По мере того как я подрастала, моя привязанность к Н. И. все усиливалась. Меня уже не удовлетворяло довольно частое пребывание Н. И. у нас. К тому же мне было ясно, что я есть нечто сопутствующее Ларину, ко мне бы он не приходил (так было до 1930 года), и я тосковала. По приезде из Сочи (в ту пору мне было одиннадцать лет) я написала Н. И. стихи:

Николаша-простокваша,
Так начнется песня наша.
У Николя много дел,
Весь от дел он похудел.
От бумаг карман распух,
Как в подушке мягкий пух,
Едет в Сочи поправляться
И на море любоваться... и т. д.

Всего не помню, но конец такой:

Видеть я тебя хочу.
Без тебя всегда грущу.

Показала стихи отцу, он сказал: «Прекрасно! Раз написала, пойди и отнеси их своему Николаше». Но пойти к нему с такими стихами я постеснялась. Отец

предложил отнести стихи в конверте, на котором написал: «От Ю. Ларина». Я приняла решение: позвонить в дверь, отдать конверт и тотчас же убежать. Но получилось не так. Только я спустилась по лестнице с третьего этажа на второй, как неожиданно встретила Сталина. Было ясно, что он идет к Бухарину. Недолго думая, я попросила его захватить Бухарину письмо от Ларина. Так, через Сталина я передала Бухарину свое детское объяснение в любви. Сразу же раздался телефонный звонок. Н. И. просил прийти. Но я пойти к нему не решилась.

Эпизоды моей жизни, связанные с Николаем Ивановичем, даже такие, какие навсегда остаются в памяти каждого человека светлыми: первый поцелуй, рождение ребенка, волнующие мгновения юности — никогда не были олицетворением чистой, легкой радости, а неизменно отягощались незримыми путами сложной общественной атмосферы тех лет: политическими дискуссиями, спорами, распрями, наконец, террором.

Я оказалась в Крыму одновременно с Николаем Ивановичем случайно; приехала с больным отцом и жила с ним в Мухалатке, доме отдыха для членов Политбюро и других руководителей. Н. И. умышленно избрал другое место и жил уединенно на даче в Гурзуфе. Вскоре после приезда в Мухалатку мы навестили его. Н. И. производил удручающее впечатление: осунувшийся, исхудавший, ослабленный, грустный. Не могло быть и речи, чтобы в таком состоянии присутствовать на съезде. Через несколько дней мы вновь его увидели, он был несколько крепче физически, но в таком же, если не в более подав-

ленном состоянии. В обоих случаях мы заставляли его в постели.

XVI съезд был единственным в своем роде. Если на предыдущих съездах шла речь об идейных разногласиях и было сражение оппонентов, то на этот раз ополчились на «войско», уже капитулировавшее. И началось «избиение младенцев». Требовались покаяния и саморазоблачения, саморазоблачения и покаяния. Томский заявил, что после всего этого ему остается только надеть власяницу и идти каяться в пустыню Гоби, питаясь там диким медом и акридами, и что «покаяние» — это религиозный, а не большевистский термин.

От Рыкова тоже требовали отречения, но он заявил, что несолидно было бы отказываться от взглядов Бухарина, которые он разделял и которые они вместе признали ошибочными. Рыкова упрекали в том, что на предсъездовской конференции на Урале он осмелился заявить, что они, «правые», хотели добиться тех же результатов, но с меньшими жертвами. (Время, когда они вынуждены были лгать, будто им грезилась реставрация капитализма, еще не наступило.) Такова была атмосфера на съезде. Оставалось три-четыре дня до его окончания, когда Н. И. настолько окреп, что, хотя и с большим напряжением сил, он, возможно, смог бы явиться на этот съезд. Но ситуация сложилась так, что мчаться из Крыма в Москву уже не было смысла.

Н. И. не послал никакого письменного заявления на съезд, в чем его тоже упрекали. И это молчание его было гордым молчанием. Однако не могу не вспомнить и то, как он искренне радовался, что фор-

туна ему улыбнулась и, расплатившись воспалением легких, он избавился от присутствия на этом съезде; сказать, что Н. И. легко переносил удары судьбы, никак не приходится.

Крымские встречи с Н. И. предстали передо мной в камере с удивительной яркостью, казалось, я вдыхала южные ароматы, а не затхлый запах камеры. Мне вспомнилось, как сильно меня тянуло в Гурзуф. Я знала, что Н. И. тоже ждет меня, я обещала его навестить. В Крым я приехала вдвоем с больным отцом, без матери — она к этому времени не получила отпуска. Часто ездить в Гурзуф ему не позволяло здоровье, да и не могу сказать, что мне хотелось ездить вместе. Но оставлять отца одного на длительное время было более чем жестоко: даже одеться и раздеться самостоятельно он практически не мог. Тем не менее отец охотно отпускал меня к Н. И., стремясь, чтобы его беспомощность никак не отражалась на моей жизни. Уезжая, я никогда не была вполне спокойна, и это несколько омрачало мои такие желанные встречи с Н. И.

Никакой регулярный транспорт, ни морской, ни сухопутный, из Мухалатки в Гурзуф в то время не ходил. С отцом я имела возможность ездить на легкой машине дома отдыха, а без него добиралась на грузовой, ездившей в Гурзуфские ремонтные мастерские.

Впервые одна я отправилась из Мухалатки еще на рассвете и ранним утром была в Гурзуфе.

Н. И. был обрадован моим приездом. «Я предчувствовал, что сегодня ты обязательно приедешь!» — воскликнул он.

Мы наскоро позавтракали и спустились по крутой дорожке к морю. Н. И. захватил с собой книгу, завернутую в газету. Было тихое утро. Небольшая ласковая волна, чуть пенясь, плескалась у берега и, шевеля морские камешки, издавала шуршащий успокаивающий звук, похожий на вздох.

Мы уселись меж скал, одна из них нависала над нашими головами и давала приятную тень. На мне было голубое ситцевое платье с широкой каймой из белых ромашек, черные косы свисали почти до самой каймы. Теперь об этом можно вспоминать, не нарушая скромности, — так давно это было, и так не похожа я на ту прежнюю, будто пишешь не о себе, а совсем о другом человеке. В детстве в шутку кто-то сказал мне, что у меня один глаз, как море, а другой — как небо, и я повторяла: «Один, как морье, другой, как небо». «Морье» — забавляло взрослых, в том числе и Н. И., и вдруг он вспомнил об этом.

— Ты как-то незаметно выросла, — сказал Н. И., — стала взрослой, и глаза твои уже не разные, а оба, как «морье».

Давний эпизод рассмешил нас, но я смутилась. Разговор как-то не клеился, Н. И. заметно волновался. Говорить о том, что нас тревожило, то есть о съезде, не хотелось. А наше чувство друг к другу было загнано внутрь, и никто не решался первым его проявить, хотя к этому времени обоим было уже ясно: оно претерпело метаморфозу, превратившись у меня из детской привязанности к Н. И., а у него — из привязанности к ребенку в чувство влюбленности.

Он раскрыл газету, в которую завернута была

книга. В газете публиковались выступления делегатов съезда. По поводу речи Ярославского Н. И. раздраженно заметил: «Ярославский считает, что троцкистов более не существует, а вот мы, как они все нас называют, «правые», в настоящее время представляем главную опасность. Чуть ли не какая-то, ерундистика. (Н. И. любил, как я их называла, словесные выкрутасы, и часто вместо слова «ерунда» говорил «ерундистика».)

Такой оппозиции, какой была троцкистская, у нас вообще не было». Н. И. в этом случае имел в виду не столько идейную позицию троцкистов (не сделаю откровения, если скажу, что он был яростным противником ее, Бухарин и Троцкий антиподы), сколько их методы борьбы за свои взгляды в нарушение партийной дисциплины.

Справедливо ли мнение, что Сталин руками Бухарина, Рыкова, Томского подавил оппозиции: «новую» в 1925 году, «объединенную» в 1927 году? С этим нельзя не согласиться. Но для них борьба за свои взгляды против троцкистской оппозиции не была борьбой за власть.

Для Сталина же это была блестяще сыгранная шахматная партия, в которой он победил, достигнув единовластия. Так, разжигая разногласия и натравливая большевиков друг на друга, он сумел убрать с политической арены все крупные фигуры, игравшие заметную роль при Ленине. К сожалению, это свойство Сталина (разжигать разногласия) большевики понимали не одновременно, а поочередно, а иные же понимали, но пытались использовать его в своих политических играх. Но теперь, оглядываясь назад,

можно сказать: за этими боями они проглядели палача!

Отбросив газету с речами, Н. И. взялся за книгу. Это была «Виктория» Кнута Гамсуна.

— Мало кому, — сказал он, — удалось написать такое тонкое произведение о любви. «Виктория» — это гимн любви!

Как я предполагаю, книгу эту Н. И. захватил с собой не случайно. Он стал читать вслух — не подряд, а выборочно:

«Что такое любовь? Это шелест ветра в розовых кустах. Нет, это пламя, рдеющее в крови. Любовь — это адская музыка, и под звуки ее пускаются в пляс даже сердца стариков. Она точно маргаритка распускается с наступлением ночи, и точно анемон от легкого дуновения свертывает свои лепестки и умирает, если к ней прикоснешься.

Вот что такое любовь...»

Прервав чтение, он задумчиво посмотрел куда-то вдаль. Потом перевел взгляд на меня и снова в море. О чем он думал тогда?..

Затем он продолжил:

«Любовь — это первое слово создателя, первая, осиявшая его мысль. Когда он сказал: «Да будет свет!» — родилась любовь. Все, что он сотворил, было прекрасно. Ни одно свое творение он не хотел бы вернуть в небытие. И любовь стала источником всего земного и владычицей всего земного, но на всем ее пути — цветы и кровь, цветы и кровь!»

— Почему же кровь? — спросила я.

— Ты хотела, чтобы были одни цветы? Так в жизни не бывает, она не проходит без испытаний,

любовь должна преодолевать, побеждать их. А если любовь не преодолевает испытаний жизни, не побеждает их, следовательно, ее и не было — той настоящей любви, о которой пишет Кнут Гамсун.

Дальше Н. И. прочел, как старый монах Венд рассказывал о вечной любви, любви до смерти, о том, как болезнь приковала мужа к постели и обезобразила его, но его любимая жена, подвергнутая тяжкому испытанию, чтобы быть похожей на своего мужа, у которого выпали все волосы от болезни, обрезала свои локоны. Затем жену разбил паралич, она не могла ходить, ее приходилось возить в кресле, и это делал муж, который любил свою жену все больше и больше. Чтобы уравнять положение, он плеснул себе в лицо серной кислоты, обезобразив себя ожогами.

— Ну, а как ты относишься к такой любви? — спросил Н. И.

— Сказки рассказывает твой Кнут Гамсун! Зачем себя специально уродовать, делать себя прокаженным, обливать лицо серной кислотой? Неужто нельзя без этого любить? Чужь какая-то!

Мой ответ рассмешил Н. И., и он пояснил мне, что «его» Кнут Гамсун такими средствами выразил силу любви, ее неприменную жертвенность. И вдруг, глядя на меня грустно и взволнованно, спросил:

— А ты смогла бы полюбить прокаженного?

Я растерялась, ответила не сразу, почувствовав в его вопросе тайный смысл.

— Что же ты молчишь, не отвечаешь? — снова спросил Н. И. Смущенно и по-детски наивно я произнесла:

— Кого любить — тебя?

— Меня, конечно, меня, — уверенно произнес он, радостный, улыбающийся, тронутый тем, с какой еще детской непосредственностью я выдала свои чувства.

И только я собралась ответить, что его я смогла бы любить (хотя и незачем было употреблять будущее время, когда все уже было в настоящем), он попросил меня: «Не надо, не надо, не отвечай! Я боюсь ответа!»

В то время он не хотел еще ставить точки над «і». При огромной разнице лет между нами он опасался дать ход нашим отношениям. Но так или иначе Кнут Гамсун помог нам приоткрыть наши чувства, которые мы оба старались утаить.

Не раз за долгие годы своих мучений вспоминала я роковой вопрос Н. И.: «А ты смогла бы полюбить прокаженного?»

Я пробыла в Гурзуфе лишь несколько часов. Шофер Егоров, добродушный альбинос с длинными белыми ресницами, растущими пучками, торопил меня. Ах, как не хотелось расставаться с Н. И.! Но надо было возвращаться к отцу в Мухалатку.

Другая моя поездка в Гурзуф принесла много волнений и радости.

Как только я появилась на даче, где жил Н. И., мне сообщили, что он с утра уплыл в море и исчез. Я в волнении побежала на берег. Там собралась толпа, море просматривали в бинокль. На берегу лежали вещи Н. И. — холщовые светлые брюки, синяя, выгоревшая от солнца старая сатиновая косоворотка и, несмотря на жару, сапоги: все его «богатство». На

вещи был положен тяжелый камень — позаботился, чтобы ветер не унес. Время было уже послеобеденное, даже я, зная, как далеко Н. И. мог заплывать в море, начала серьезно волноваться. Наконец, было решено послать на поиски моторную лодку. Лодка завершила долгие поиски у пограничного судна, где был обнаружен задержанный Н. И. Он заплыл в запретную зону, и его заставили подняться на судно для выяснения личности, а когда Н. И. объяснил, кто он, отказались верить, что он Бухарин. Кто-то из команды судна попросил предъявить документы. Такое требование в данной ситуации было более чем смешным. Нашелся какой-то «бдительный», крикнувший: «Не выдумывайте, что вы Бухарин, зачем бы ему в такую даль плыть. Лучше правду скажите, кто вы есть и с какой целью вы здесь оказались». (Знай об этом эпизоде Вышинский, на процессе цель была бы определена сразу же.) Наконец, капитан судна разумно решил, что если задержанный — действительно Бухарин, то его, в конце концов, должны начать разыскивать. Так оно и случилось, и вечером Н. И. благополучно был доставлен на берег. Толпа, ожидавшая результатов поисков, стала к тому времени еще больше, из соседнего дома отдыха пришли партийные работники, делегаты, приехавшие после окончания съезда.

Кто-то крикнул из толпы:

— Николай Иванович, когда вы перестанете озорничать?

Окрыленный своим новым спортивным рекордом и возбужденный «первым арестом» при Советской власти, он не сдержался и крикнул в ответ так, что-

бы все слышали: «Тогда, когда вы перестанете называть меня правым оппортунистом!» Кое-кто решился даже рассмеяться. После окончания съезда можно было посмеяться и пошутить и даже искренне порадоваться, что Н. И. нашелся и что он цел и невредим: но одновременно усилилось подозрение, не была ли его болезнь дипломатической, раз он смог проделать такое...

Мы поднялись в гору, к даче, в комнате на столе лежал конверт, на котором почерком Рыкова было написано: «Николаю Ивановичу» — письмо было послано с оказией. Н. И. с волнением вскрыл конверт, в него была вложена открытка. Последняя фраза этой открытки мне запомнилась почти дословно: «Приезжай здоровый, мы (имелся в виду и Томский) вели себя на съезде по отношению к тебе достойно. Знай, что я люблю тебя так, как не смогла бы любить даже влюбленная в тебя женщина. Твой Алексей».

Тем временем уже пора было возвращаться в Мухалатку. Н. И. проводил меня до ремонтных мастерских. Там мы узнали, что ремонт машин подходит к концу, и шофер Егоров решил не мотаться взад-вперед, а заночевать в Гурзуфе. Я заволновалась из-за отца, но удалось связаться с ним по телефону и передать, что я приеду на следующий день.

Так, оставшись в Гурзуфе, благодаря весьма прозаическим обстоятельствам я пережила волнующий романтический крымский вечер, отраженный в стихах, сочиненных в том страшном подвале одиночной камеры в Новосибирске.

Вот каким дыханием времени, предгрозовой политической атмосферой, не только южным теплом

были окутаны вспомнившиеся мне счастливые — да, несмотря ни на что, счастливые гурзуфские встречи с Н. И.

Неловко говорить о сокровенном чувстве: кто много говорит о нем, обычно им не дорожит. Но, погружаясь в прошлое, в воспоминания о далекой жизни, которую не каждому дано перенести, я убеждена, что бывают в ней и такие моменты (к сожалению, не всегда), когда что-то радостное уравнивает или, скажем, облегчает мрачные ее стороны. Для Н. И. источником радости в то время стала наша любовь. И на фоне переживаемых им тяжелых дней она казалась еще светлей и прекрасней.

На следующий день я получила в Мухалатке нагоняй от Серго Орджоникидзе за то, что оставила больного отца одного. После окончания съезда он приехал в Мухалатку вместе с Молотовым и Кагановичем. И случилось так, что через окно комнаты, в которой мы жили, выходящее на общую длинную террасу, Орджоникидзе увидел, как Ларин, готовясь ко сну, пытался снять с себя верхнюю рубашку. Серго поспешил ему на помощь. От отца он узнал, что я у Н. И. в Гурзуфе. Серго, встретив меня, проявил свой восточный темперамент в полной мере.

— Ты окончательно потеряла совесть, — кричал он, — и не стыдно тебе оставлять больного отца! Бухарчик на съезде не был, а с девчонками развлекается!

Возможно, Орджоникидзе рассержен был больше подозрением, что Н. И. не болел и, как ему показалось, игнорируя съезд, весело проводил время в Крыму. Затем, сменив гнев на милость, он посадил

меня на диван, сам же рядом и стал подробно расспрашивать, как Н. И. себя чувствовал во время съезда. Я была смущена и растеряна, объяснила причину, по которой я задержалась в Гурзуфе. Рассказала, в каком состоянии мы с отцом заставали Н. И., когда навещали его. Рассказала о последнем эпизоде с плаванием.

— Если бы он в Турцию приплыл, — заметил Серго, — я бы тоже не удивился.

Я не поняла, какой смысл вложил Орджоникидзе в свое замечание; быть может, шутя дал понять, что от того съезда можно было и в Турцию удрать? Не исключено, что Серго имел в виду отчаянный и безрассудный характер Н. И. и его физическую силу.

После возвращения из Крыма Николай Иванович почти ежедневно приезжал к нам на дачу в Серебряный бор. Мать немного посмеивалась над нашим увлечением, не принимая его всерьез; отец молчал и не вмешивался. Они (Н. И. и отец) часто беседовали, больше на политико-экономические темы, а я все вбирала в себя, как губка, и старалась быть в курсе всех нюансов политической атмосферы тех лет.

Осенью и зимой 1930 и в начале 1931 года свободное время мы старались проводить вместе, ходили в театры, на художественные выставки. Я любила бывать в кремлевском кабинете Н. И. Стены были увешаны его картинами. Над диваном — моя любимая небольшая акварель — «Эльбрус в закате». Были там чучела разных птиц — охотничьи трофеи Н. И. — огромные орлы с расправленными крыльями, голубоватый сизоворонок, черно-рыженькая горихвостка, сине-сизый сокол-кобчик и богатейшие

коллекции бабочек. А на большом письменном столе приютилась на сучке, точно живая, изящная желтовато-бурая ласочка с маленькой головкой и светлым брюшком.

Окно с широким подоконником было затянуто сеткой, образуя вольтер: в нем разросся посаженный Н. И. вьющийся плющ и среди зелени резвились и щебетали два небольших пестрых попугайчика-неразлучника.

Н. И. любил читать мне вслух. Помнится, как мы читали «Саламбо» Флобера. Н. И. восхищался страстными и мужественными героями романа. Он был очарован «Кола Брюньоном» Ромена Роллана и удивлен, что именно перу Роллана принадлежит это произведение. Для самого автора, как тот сообщает в своем предисловии к «Брюньону», эта работа явилась неожиданностью: после десятилетней скованности в доспехах «Жан Кристофа» он почувствовал вдруг «неодолимую потребность в вольной галльской веселости, да, вплоть до дерзости». Потому так близок был Н. И. «Брюньон» и потому восхищался он этой работой Роллана, что в нем самом жила потребность в вольной, конечно же, русской веселости, «вплоть до дерзости».

Помню, как заразительно смеялся он, когда мы прочли о том, как весельчак и балагур Брюньон вместе со своим другом нотариусом Пайаром, получавшим «истинное удовольствие отпустить вам со строгим видом чудовищную загогулинку», обучив сидящего в клетке дрозда гугенотскому песнопению, запустил его в сад бревскому кюре.

Н. И. и сам был способен на озорство: однажды,

рассказывал он, чтобы соблазнить Ленина поехать вместе с ним на охоту (занятый делами Владимир Ильич все откладывал и откладывал предстоящее удовольствие), Н. И. послал в пакете Ленину, сидящему в президиуме на заседании Совнаркома, подстреленную им накануне перепелку. Проказник сразу же был разгадан. Ленин, не сдержав улыбки, строго погрозил ему пальцем. Однако цель была достигнута.

Казалось бы, ничто не омрачало нашей жизни. По воскресеньям мы старались уезжать за город. Я любила бывать с Н. И. на охоте, наблюдать, как он в азарте, попадая в цель, кричал: «Есть!» — и бежал на поиски добычи (он охотился без собаки) и как был искренне удручен, когда его постигала неудача. Мы часто бродили по лесу, ходили вместе на лыжах. Все было прекрасно, да, действительно, прекрасно!

Так продолжалась наша дружба, но судьба не решалась: Н. И. слишком любил меня и берег, и его мучила наша огромная разница в возрасте.

Как-то вечером мы долго гуляли в Сокольниках — в то время Сокольники были окраиной Москвы, мы поехали туда трамваем. Н. И. довольно часто пользовался городским транспортом. Бывало, пассажиры узнавали его и говорили друг другу: «Смотрите, смотрите, Бухарин едет!» Или слышалось: «Здравствуйте, Николай Иванович!» Некоторые подходили и доброджелательно пожимали ему руку. Н. И. приходилось непрерывно раскланиваться, от проявления внимания к нему он смущался.

Не помню теперь, каким образом на обратном пути из Сокольников мы оказались на Тверском буль-

варе. Сели на скамейку позади памятника Пушкину, стоявшего в то время по другую сторону площади, и Н. И. решился на серьезный разговор со мной. Он сказал, что наши отношения зашли в тупик и ему надо выбрать одно из двух: или соединить со мной жизнь или отойти в сторону и долгое время меня не видеть, дать мне право строить жизнь независимо от него. «Есть еще одна возможность, — заметил он полусуто, — это сойти с ума», но эту третью возможность он сам отвергает, а из первых двух он изберет ту, которая больше привлекает меня.

Казалось бы, к чему слова, этот вопрос решился бы сам собой в самое ближайшее время. Но разве мог так поступить Бухарин! Он же теоретик. Ему нужно было «теоретическое обоснование»: он сойдет с ума!.. (Ситуация для Н. И. оказалась, как я понимаю теперь, сложнее обычной еще и потому, что, помимо огромной разницы в годах, сквозь мои 17 лет он видел во мне еще и маленькую девочку — Ларочку — да к тому же дочь своего большого друга.) Ответа от меня не последовало. Он увидел лишь одни слезы.

Мне трудно теперь объяснить свое состояние: должно быть, это были слезы и от радости, и от глубокого потрясения, и от нерешительности, свойственной в те юные годы моей натуре, и от того, что рядом со мной на скамейке Тверского бульвара сидел не какой-нибудь мальчишка-ровесник, а именно Бухарин, — но слезы лились ручьем. Н. И. смотрел на меня в недоумении, такой реакции он не ожидал. Он был убежден, что выбор уже мною сделан, иначе бы и не заговорил.

Мы сидели довольно долго молча. Слезы катились по моим холодным щекам. Н. И. безуспешно пытался узнать у меня, чем они вызваны. Я продрогла, Н. И. согревал мои замерзшие руки своими, горячими. Надо было возвращаться домой. Но ему не хотелось, чтобы в таком виде — взволнованная, с красными от слез глазами, я предстала перед своими родителями, и он предложил мне зайти к Марецкому, который жил недалеко от Тверского бульвара на улице Герцена, около Консерватории. И мы пошли туда. Сам Дмитрий Петрович уже был переведен из Москвы на работу в Академию наук, находившуюся в то время в Ленинграде. Нас приветливо встретила его милая жена, в кроватке уютно спал их маленький сын.

Мы отогрелись чаем, отдохнули и отправились домой, в гостиницу «Метрополь» — тогда Второй Дом Советов. Я повеселела, почувствовала себя самым счастливым человеком на земле и сказала Н. И., что сама себе не могу объяснить причину своих слез. Увидев, что мое настроение исправилось, Н. И. решил предложить мне пойти с ним вечером следующего дня в Большой театр на «Хованщину» Мусоргского. Я с удовольствием согласилась.

Поздно, уже за полночь, мы явились в «Метрополь». Мать спала. Отец сидел за своим письменным столом, работая над какой-то очередной статьей. Он все-таки заметил мои заплаканные глаза и растерянный вид Н. И. и предложил ему остаться ночевать, что тот и сделал, улегшись на диване в кабинете. Я плохо спала, проснулась поздно, когда Н. И. уже ушел на работу.

Утром отец, который, как я уже упоминала, никогда не вмешивался в наши отношения, неожиданно заговорил со мной:

— Ты должна хорошо подумать, — сказал он, — насколько серьезно твое чувство. Н. И. тебя очень любит, человек он тонкий, эмоциональный, и если твое чувство несерьезно, надо отойти, иначе это может плохо для него кончиться.

Его слова меня насторожили, даже напугали.

— Что это значит — может плохо для него кончиться? Не самоубийством же?!

— Не обязательно самоубийством, но излишние мучения ему тоже не нужны.

Позже от Н. И. я узнала, что утром он рассказал отцу о разговоре на Тверском бульваре.

Вечером Н. И. должен был зайти за мной, чтобы пойти в театр. Сомневаться не приходится, что после «Хованщины» все решилось бы так, как это решилось тремя годами позже, разговор с отцом сделал меня более решительной и многое дал понять. Суток было достаточно для осознания, что Н. И. необходимо было, чтобы решение исходило именно от меня. Но по моей вине я с Н. И. не встретилась.

Кто-то из моих однокурсников-рабфаковцев (я училась на рабфаке, готовившем в планово-экономический институт) позвонил и неожиданно сообщил мне, что вечером я обязана явиться на бригадные занятия для подготовки к экзамену по политэкономии. В то время практиковался бригадный метод занятий, в особенности подготовки к экзаменам. У нас была комсомольская бригада, взявшая обязательство сдать все экзамены на «хорошо» и «отлично». Теперь

можно над этим посмеяться, но тогда я относилась к этому вполне серьезно. В бригаде занимался также учившийся со мной на одном рабфаке, а затем в институте сын Сокольникова Женя, мой ровесник. Он жил тоже в «Метрополе» и довольно часто заходил ко мне. Н. И. видел, что Женя увлечен мною, я же в то время относилась к нему с полным равнодушием. Тем не менее присутствие Жени Н. И. раздражало, и он откровенно говорил мне об этом.

И случилось так, что, как мне ни хотелось пойти с Н. И. в театр, а после театра поговорить с ним, я решила отправиться на занятия, не нарушая комсомольского долга. Предупредить Н. И. по телефону мне не удалось — ни на работе, ни на квартире я его не застала. Родителей моих в тот вечер дома не было. Поэтому я оставила Н. И. записочку, в которой сообщила, что в театр пойти не смогу и объяснила причину. Я просила его зайти через день после экзамена. Записочку засунула в дверную щель и ушла на занятия. Через день Н. И. не пришел, не появился и в последующие дни. Я решила проявить инициативу и позвонила ему сама.

Он разговаривал со мной холодно, сухо, не так, как обычно. Поначалу он не поверил в причину, изменившую мое решение пойти в театр, но в этом мне удалось его как будто переубедить. Тогда последовал резкий вопрос: «Разве ты умеешь думать только коллективными мозгами? К чему эта бригада? Наконец, я позволю себе предположить, что по политэкономии я бы тебя смог подготовить не хуже, чем Женя Сокольников с бригадой».

Только я собралась ответить — объяснить Н. И.,

что у меня самой были обязанности перед бригадой, как он повесил трубку. В то время Н. И. было 42 года, но он был по-юношески вспыльчив и ревнив.

Я была подавлена случившимся и не могла понять, почему казавшийся мне невинным инцидент вызвал такую острую реакцию Николая Ивановича и привел к разрыву наших отношений. Н. И. упорно не появлялся, я звонила ему на работу, в НИС (так тогда называли научно-исследовательский сектор ВСНХ, затем Наркомтяжпрома, которым ведал Н. И.). Его милая, добрая секретарша А. П. Короткова, как называл ее Н. И., «Пеночка», по названию маленькой птички, — Августа Петровна была маленького роста, худенькая, — всегда нежным мягким голоском отвечала: «Н. И. занят». «Н. И. нет на работе», или, наконец: «Н. И. болен». Я позвонила на квартиру — действительно, болел.

Мне захотелось пойти к нему, он просил меня этого не делать и ждать его письма. Вскоре я получила его. И. И. писал, что после моей записочки, оставленной в двери, он понял, что ему надо отойти в сторону. Он рассыпался в бесконечных комплиментах в мой адрес, так что я могла задрать нос кверху, и написал много красивых слов, несмотря на весьма грустное содержание записки. Фраза: «Мой дорогой, нежный, розовый мрамор, не разбейся», — заставила меня сквозь слезы рассмеяться. Н. И. писал, как тяжка для него наша разлука — он даже заболел, что он решил уступить дорогу молодости и что ему не хотелось бы оказаться в роли короля Лира, даже при прекрасной Корделии.

Ах, эта «Хованщина»! И эта записочка!.. Что же

я натворила! И даже теперь, когда на театральных афишах я вижу, что в Большом — «Хованщина», перед моими глазами предстает эта записочка, аккуратно сложенная вчетверо, засунутая в дверную щель, и вспоминаются ее последствия.

Кстати, Н. И. до последнего времени был убежден, что тогда я совершила бестактность по отношению к нему, в особенности потому, что я отменила нашу встречу на следующий же день после того, как он решился на серьезный разговор со мной.

Позже, вспоминая этот эпизод, Н. И. шутил, как человек, знавший себе цену: «Я тебе не Женька Сокольников и не Ванька Петров (неизвестный Ванька Петров заставлял нас обоих смеяться), чтобы мне такие записочки в двери оставлять!»

Тремя годами позже мы, конечно, сходили и на «Хованщину» — любимую оперу Н. И.

После нашего разрыва Н. И. изредка появлялся у отца, но, предварительно договорясь с ним, приходил в мое отсутствие.

В январе 1932 года отец серьезно заболел. Из моей телеграммы, посланной в Нальчик, где тогда отдыхал Н. И., он узнал, что отец при смерти. Прервав отпуск, Бухарин выехал в Москву, но успел приехать лишь на следующий день после похорон.

После смерти отца Н. И. стал появляться у нас вновь, прежде всего потому, что чувствовал себя обязанным проявить внимание к нам, к моей матери и ко мне, в наши трудные дни. Не могу сказать, что присутствие Н. И. не стало волновать меня снова, но все же в то время это волнение приглушалось моим горем.

Я безгранично любила отца и тяжело переживала его смерть. Кроме того, были и другие причины, заставлявшие нас обоих сдерживаться: затаив в душе чувство обиды на Н. И. и расценивая наши прошлые отношения как светлый, но никогда не повторяемый период своей жизни, я искала забвения от глубокой тоски по нему, и тогда — только тогда — у меня, действительно, начался роман с Сокольниковым-сыном.

Чувство ревности, мучившее раньше Н. И., было вызвано его болезненным воображением: в то время для ревности не было причин. Мой роман с Женей Сокольниковым начался после разлуки с Н. И. и начал рушиться после того, как Н. И. стал появляться вновь. Время показало, что любовь к Н. И. прочно жила в моем сердце. Вероятно, так было и с Н. И., хотя дело обстояло сложнее.

Я узнала, что он не один, случайно в феврале 1932 года, через месяц после смерти отца. Н. И. отправил меня в дом отдыха «Молоденово» под Москвой. Он наезжал и туда; грустные это были встречи. Оба мы были обременены грузом, о котором молчали. Помню, как однажды Н. И. привез с собой трагедии Софокла — «Антигону» и «Царя Эдипа» и читал мне вслух. Я была смущена тем, что ничего не воспринимала, но заметила, что и Н. И. читал, а думал о чем-то другом, своем. Скоро он прекратил чтение. Я все вспоминала и вспоминала отца; как Н. И. ни старался отвлечь меня, он невольно втягивался в разговор и сам.

Как-то раз, проводив Н. И. из Молоденова, я брела в одиночестве по лесной дорожке парка: издали я

заметила Яна Эрнестовича Стэна, известного в то время философа, отличавшегося независимым характером; на Сталина он смотрел всегда сверху вниз, с высоты своего интеллекта, за что он расплатился ранее многих. В гордом и величественном облике этого латыша с выразительным умным лицом, сократовским лбом и копной светлых волос было что-то величественное. Ян Эрнестович шел мне навстречу вместе со своей женой Валерией Львовной. Оба молодые, красивые, счастливые, влюбленные, только так их можно было воспринять. Я позавидовала им, и пронеслась у меня тогда мысль: вот у них-то все так просто, а у меня столько сложностей. Возможно, мне это казалось — у каждого свое... Мы встретились и остановились. Стэн обратил мое внимание на маленькую дачку в глубине леса.

— Узнаете, кто сидит там, возле дачи? — спросил он.

У крыльца сидела в плетеном кресле, обложенная подушками, одетая в шубу и укутанная в плед, как мне показалось, старуха. Я ее не узнала.

— Это Надежда Михайловна Лукина, бывшая жена Бухарина, — сказал Стэн.

Н. И. был женат первым браком еще до революции на своей двоюродной сестре. Надежда Михайловна была немного старше Н. И. Брак их распался в начале 20-х годов. Будучи очень больным человеком — грипп дал серьезное, все прогрессирующее осложнение на позвоночник, — Надежда Михайловна в начале заболевания вынуждена была вести полужелезачий образ жизни, а в последнее время все больше была прикована к постели. После нашей же-

нитьбы мы жили вместе с ней, и в тяжкие дни отдавала она нашей семье все тепло своей души, трогательно, с любовью относилась к ребенку.

Она всегда оставалась верным другом Н. И. В период следствия, еще до его ареста, она отослала Сталину свой партийный билет, заявив при этом в письме к нему, что, учитывая характер предъявленных Бухарину обвинений, она предпочитает оставаться вне партии. Надежда Михайловна была арестована в конце апреля 1938 года. Ареста она ждала и говорила мне, что когда за ней придут — отравится. Во время ареста она приняла яд, но сразу же была направлена в тюремную больницу, где ее удалось спасти. Непонятно, для чего это было сделано. Она лежала полутрупом в камере и потом, как я слышала, была расстреляна...

Мне было известно, что со своей второй женой Эсфирью Исаевной Гурвич Н. И. к тому времени давно расстался (в 28-м или 29-м годах, точно не помню), как говорил И. И., по ее инициативе.

— Свято место пусто не бывает — заметил Стэншутя и тотчас же назвал мне имя и фамилию женщины, с которой сейчас был близок Н. И. Стэн был не из тех, кто пользовался дешевыми сплетнями, и мне пришлось ему поверить.

Ян Эрнестович не подозревал, в какое состояние привело меня его сообщение. Не чувствуя ног под собой и не видя белого света, я еле добралась до своей комнаты и разрыдалась. Ведь только-только я проводила Н. И.; я отказывалась что-либо понимать.

Не стоило бы и касаться этой неприятной истории, если бы она не представляла особого интереса.

Вот что в дальнейшем рассказал мне Н. И. Каждый раз, когда он отправлялся в Ленинград на заседания Президиума Академии наук (он был член президиума) или по другим делам, в купе спального вагона поезда «Стрела» садилась «незнакомка». Н. И. мало кому доверял и во многих усматривал специально приставленных к нему лиц, но заподозрить, что к нему могли подослать женщину-осведомителя, он не смог. Его не смутило и то, что эта особа отправлялась якобы в командировку в тот же день, что и Н. И., в том же вагоне и в том же купе.

В дальнейшем уже не требовалось командировок в Ленинград, достаточно времени было в Москве. По прошествии полутора лет Н. И. сам услышал от той, кому доверился, объяснение своим командировкам. «Незнакомка», ставшая к тому времени слишком хорошо знакомой, оправдывалась тем, что якобы заявила в НКВД, что, любя Н. И., отказывается от возложенной на нее неблагоприятной миссии. Сообщать-то было не о чем, если не лгать. Хотя Сталину могла не понравиться любая высказанная Н. И. мысль или неугодное ему слово. Очевидно, все фиксировалось в то время. Между тем от поручений такого характера не так уж легко было отбояриться. Но, быть может, все-таки, так оно и было. Однако не исключено, что ее откровение было вызвано боязнью, что до Н. И. все это дойдет со стороны. История ужасающая!

Но так или иначе рассказанное Стэнном не привело к крушению возродившейся надежды на восстановление наших отношений.

Через несколько дней Н. И. вновь приехал в Мо-

лоденово, он появился как раз в тот самый момент, когда я гуляла возле дома отдыха с приехавшим туда Женей Сокольниковым и на этот раз без угрызений совести. Женя, заметив Н. И., растерялся и куда-то скрылся. Когда мы зашли в комнату, Н. И. властным тоном произнес:

— И он здесь?! Хорошо, что эпоха дуэлей отошла в прошлое.

— А тебе разве теперь это не безразлично? — вырвалось у меня.

Он смотрел мне в глаза, пытаясь понять, не узнала ли я то, о чем бы ему не хотелось, чтобы я знала. Довольно долго мы пробыли в моей комнатке. Н. И. посвящал меня в дела НИСа, рассказывал и о своей удачной охоте в окрестностях Ленинграда, куда од ездил вместе с Сергеем Мироновичем Кировым. К вечеру он уехал в Москву.

В течение 1932 года Н. И. продолжал бывать у нас довольно часто. Я чувствовала, что он ждал разговора, но при создавшихся обстоятельствах я продолжала хранить молчание. В ноябре 1932 года, придя домой из института, я застала там Н. И. Он пришел сразу же после похорон Надежды Сергеевны Аллилуевой — жены Сталина. Я увидела его взволнованного, бледного. Они тепло относились друг к другу, Н. И. и Надежда Сергеевна: тайно она разделяла взгляды Н. И., связанные с коллективизацией, и как-то улучила удобный момент, чтобы сказать ему об этом.

Надежда Сергеевна была человеком скромным и добрым, хрупкой душевной организации и привлекательной внешности. Она всегда страдала от деспо-

тичного и грубого характера Сталина. Совсем недавно, 8 ноября, Н. И. видел ее в Кремле на банкете в честь пятидесятилетия Октябрьской революции.

Как рассказывал Н. И., полупьяный Сталин бросал в лицо Надежде Сергеевне окурки и апельсиновые корки. Она, не выдержав такой грубости, поднялась и ушла до окончания банкета.

Они сидели друг против друга, Сталин и Надежда Сергеевна, а Н. И. рядом с ней (возможно, через человека, точно не помню). Утром Надежда Сергеевна была обнаружена мертвой.

У гроба Надежды Сергеевны был и Н. И. В такой момент Сталин считал уместным подойти к Н. И. и сказать ему, что после банкета он уехал на дачу, а утром ему позвонили и сказали о случившемся. Это противоречит тому, что сообщает Светлана — дочь Надежды Сергеевны и Сталина — в своих воспоминаниях: ей стало известно от жены Молотова через много лет после гибели матери (в газетах было сообщено, что она умерла от перитонита), что Сталин спал в соседней комнате у себя на квартире в Кремле и не слышал выстрела. Не хотел ли он в разговоре с Н. И. отвести от себя подозрение в ее убийстве? Было ли это убийство, или самоубийство, мне неизвестно. Н. И. убийства не исключал.

Как рассказывал Н. И., первым, кто увидел Надежду Сергеевну мертвой, кроме няни, пришедшей разбудить ее, был Енукидзе, которому няня Светланы решила позвонить, побоявшись сказать об этом первому Сталину. Не это ли послужило причиной того, что А. С. Енукидзе убрали раньше остальных членов ЦК?

Н. И. рассказывал, что перед закрытием гроба Сталин жестом попросил подождать, не закрывать крышку. Он приподнял голову Надежды Сергеевны из гроба и стал целовать.

«Чего стоят эти поцелуи, — с горечью сказал Н. И. — он погубил ее!»

В печальный день похорон Н. И. вспоминал, как однажды он случайно приехал на дачу Сталина в Зубалово в его отсутствие: он гулял с Надеждой Сергеевной возле дачи, о чем-то беседуя. Приехавший Сталин тихо подкрался к ним и, глядя в лицо Н. И., произнес страшное слово: «Убью!»

Н. И. принял это за грубую шутку, а Надежда Сергеевна содрогнулась и побледнела.

В декабре 1932 года Н. И. пригласил меня в Колонный зал Дома союзов. Отмечалось пятидесятилетие со дня смерти Дарвина. Луначарский и Бухарин выступали с докладами. Я сидела в первом ряду, рядом с академиками, корифеями естествознания. Их поразила широта знаний ораторов, они делились своими впечатлениями и горячо аплодировали. После окончания докладов Н. И. поманил меня пальцем, и я, подойдя к нему, вместе с ним прошла в комнату позади сцены, там был и Анатолий Васильевич Луначарский. Перед тем я видела его в начале того же года на Красной площади, когда он произносил траурную речь перед урной с прахом Ларина и затем, спустившись с Мавзолея, сочувственно пожимал матери и мне руки.

Когда мы встретились в Доме союзов, невозможно было предположить, что Анатолию Васильевичу оставался всего год жизни и что уже в дека-

бре 1933 года на ту же трибуну Мавзолея подымет-ся Бухарин, произнося последние, прощальные слова.

Мы поздоровались, и Луначарский сказал Н. И.:

— Время бежит, Николай Иванович, мы стареем, а Анна Михайловна цветет и хорошеет. Таков закон природы, никуда не денешься!

Он был первым, кто назвал меня по имени и отчеству, я была польщена и почувствовала себя взрослой. Затем неожиданно он попросил показать ему мою руку — Луначарский увлекался хиромантией. Я протянула руку, он недолго, но сосредоточенно рассматривал линии моей ладони, и я увидела, как он помрачнел и произнес вполголоса, обращаясь к Н. И.:

— Анну Михайловну ждет страшная судьба!

Я все же услышала эти слова, Луначарский заметил это и, чтобы смягчить свой прогноз, сказал:

— Возможно, линии руки меня обманывают, и так бывает!

— Вы ошибаетесь, Анатолий Васильевич, — ответил Луначарскому Н. И., как мне показалось, ничуть не опечаленный его предсказанием, — Анютка обязательно будет счастливой. Мы будем стараться!

— Старайтесь, Николай Иванович, — чуть улыбнувшись, заметил Луначарский.

Не могу сказать, что вполне поверила прогнозу Луначарского, но все же, хотя и ненадолго, опечалилась. (Мать, которой в тот же день я рассказала о предсказании Луначарского, после моего освобождения из лагеря не раз об этом вспоминала.)

Доклады кончились довольно рано, и Н. И., что-

бы отвлечь меня от грустных размышлений о моей судьбе, предложил поехать вместе с ним в Горки Ленинские. Он надеялся встретить там Марию Ильиничну Ульянову. Работая одновременно с ней в редакции «Правды», он был очень дружен с Марией Ильиничной и эту дружбу продолжал сохранять.

Мы приехали в Горки под вечер, там было пустынно и грустно. Марию Ильиничну мы не застали. Дорога к дому была замечена снегом. Сторож, работавший еще при Ленине, разгребал снег широкой деревянной лопатой. Он встретил Н. И. как старого знакомого, поздоровался, сняв шапку-ушанку. Сторож угостил нас горячим чаем с печеньем. Мы пробыли там недолго. По пути в Москву Н. И. рассказал мне, что летом 1928 или 1929 года (возможно, раньше, точно не помню), когда однажды приехал в Горки, он увидел этого же сторожа, а возле него бегающую кошку, ту, что жила там еще при Ленине, и сказал сторожу:

— А кошка-то все еще жива!

— Я-то кошку берегу, — ответил сторож, — а вы и сами себя беречь не умеете. Не стало Ильича, и начались у вас одни только ссоры. «Этот сторож великий мудрец», — заметил Н. И.

Шло время — вместе с Н. И. и не вместе с ним, слишком мы были робки. Н. И. приходил изредка навестить в мое отсутствие мать. Но каждый раз, уходя, он оставлял коротенькие записочки в ящике моего письменного стола: «Я был, твой Н. Б.», «Я был, твой Кола», «Я был, я был, я был, твой Николаша».

Ах, как они волновали меня, эти записочки! Но

все же я не решалась ни позвонить Н. И. и пригласить его к себе, ни сама побывать у него.

Только к концу года, в декабре 1933-го, печальное обстоятельство — известие о смерти Луначарского — заставило меня обратиться к Н. И. и попросить помочь пройти в Колонный зал. Мы пошли вместе, стояли у гроба великого прорицателя моей страшной судьбы, и тогда никто из нас еще не подозревал, что предсказания Анатолия Васильевича оправдаются.

На следующий день я видела Н. И. во время траурного митинга на Красной площади и после окончания похорон, пробравшись через толпу у Мавзолея, подошла к нему. Он был грустный, уставший после произнесенной речи и, как мне показалось в тот день, постаревший.

Мы спустились вниз с Красной площади мимо Исторического музея к Александровскому саду. Н. И. с грустью сказал мне: «Я никогда не думал о своей смерти, скорее я ощущал свое бессмертие, чем смерть. И только сейчас, во время похорон Луначарского, почувствовал, что меня ждет все то же самое. Я так явственно представил себе свои собственные похороны: Колонный зал Дома союзов, Красную площадь, урну с моим прахом, увитую цветами, и тебя, плачущую над моим гробом и возле моей урны, чью-то речь, не могу себе представить, чью... «Он не раз ошибался, — скажет тот оратор, — но, но... Ленин его любил». Еще что-нибудь скажет...

Он говорил об этом опечаленный и с полным равнодушием ко всем почестям и пышности похорон, говорил, как о чем-то само собой разумеющемся, поэтому четко представляемом.

— Не хочу слушать эти глупости, — ответила я, разволновавшись.

— Но так же обязательно будет, и ты должна будешь это пережить!

Вот как к концу 1933 года представлял Н. И. свою смерть, следовательно, и свою жизнь. Обвинений в предательстве, в измене Родине Бухарин, естественно, предвидеть не мог.

Мы расстались. Он повернул налево, в Александровский сад, к Троицким воротам Кремля, я — направо, к «Метрополю». Его записочки давали мне право поговорить и на другую тему: о жизни, а не о смерти, но я не сочла удобным сделать это в такой печальный момент.

Мы шли к своей цели, к тому, чтобы соединить наши судьбы, нелегким путем, преодолевая препятствия, которые сами себе создавали. («От съезда к съезду», — как однажды шутя сказала я Н. И., тогда, когда можно было уже нам вместе весело смеяться.) От XVI съезда до XVII — последнего съезда, на котором присутствовал Бухарин, последнего для большинства членов ЦК.

Мы встретились случайно 27 января 1934 года в день моего двадцатилетия, примерно через месяц после того, как виделись на похоронах Луначарского, в начале того года, в конце которого раздался роковой выстрел... За это время я обнаружила в ящике своего письменного стола еще одну записочку: «Я был, твой Н. Б.». Это сделало меня, наконец, решительной.

Н. И. возвращался из Большого театра после заседания XVII съезда к себе домой, в Кремль, я — по-

сле лекции в университете «Сталин — Ленин сегодня».

Остановились у Дома союзов, у здания, на которое теперь я не могу смотреть спокойно и стараюсь обходить стороной. Но нет-нет да и притягивает мой взор то место, где после столь долгой нерешительности, в одно мгновение мы поняли, что хода назад больше нет и что отступить невозможно.

Мы стояли у той самой двери, через которую десять лет назад, 27 января 1924 года, Бухарин и другие, самые близкие друзья и соратники Ленина, потрясенные горем, выносили его, смолкшего, бездыханного, и медленно, траурной процессией в лютый мороз приближались к Красной площади, неся на своих плечах алый гроб. Одновременно несли они на своих же плечах (большинство из них) и свою собственную гибель — в недалекой перспективе смерть политическую, затем уничтожение физическое...

Итак, обрадованные нашей неожиданной встречей, предчувствуя, к чему она приведет, мы оказались у Дома союзов, в Октябрьском зале которого четыре года спустя, в марте 1938 года, на ужасающем процессе, не уступающем средневековым судилищам, Н. И. пережил последние, мучительные дни своей жизни, и откуда он вышел после смертного приговора, вдохнув в последний раз (вдохнул ли?) земной, нетюремный воздух — глоток жизни!

В январе 1934 года возле этого, кажущегося мне теперь мрачным здания, именно там — таковы хитросплетения судьбы! — наше чувство вырвалось, наконец, на простор.

Мы были немногословны:

— Долго будешь оставлять мне свои записочки? Ты полагаешь, они меня никак не тревожат?

Н. И. стоял возле меня взволнованный, покрасневший, в своей кожаной куртке и сапогах, пощипывая свою, тогда еще ярко-рыжую, солнечную бородку. Тот миг был решающим.

— Ты хочешь, чтобы я зашел к тебе сейчас же? — спросил он.

— Хочу, — уверенно ответила я.

— Но в таком случае я никогда не уйду от тебя!

— Уходить не придется.

От Дома Союзов до «Метрополя» рукой подать...

Больше мы не расставались до дня ареста Н. И. — 27 февраля 1937 года (опять 27 — роковое число), когда, уходя на последнее, решающее заседание февральско-мартовского пленума ЦК, понимая, что его ждет арест, он пал передо мной на колени и просил не забыть ни единого слова его письма «Будущему поколению руководителей партии», просил прощения за мою загубленную жизнь, просил воспитать сына большевиком.

«Обязательно большевиком!» — дважды повторил он.

«ВСЕ МЫ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ, И ВСЕХ НАС АРЕСТОВАЛИ»

«В своей семье, — рассказывал личный секретарь Сталина Бажанов, — он держит себя деспотом. Целыми днями он соблюдает у себя высокомерное молчание, не отвечая на вопросы жены или сына».

Жена тирана покончила жизнь самоубийством, не выдержав подобной семейной атмосферы. Кремлевским врачам предстояло подписать сфальсифицированное свидетельство о смерти. Среди врачей нашлись смелые люди, которые отказались это сделать. Но эхо выстрела, сделанного Надеждой Аллилуевой звучало очень долго.

Надежда Вениаминовна Канель — дочь В. Я. Канеля (1873—1918), земского врача, позднее ординатора московской Екатерининской больницы, члена партии большевиков с 1903 года, и А. Ю. Канель (1878—1936) — главного врача Кремлевской больницы.

В 1939 году Надежда и ее сестра Юлия были арестованы. Юлия умерла в тюрьме в сорок первом году. Надежда Канель была освобождена из Владимирской тюрьмы, где сидела после повторного ареста, в 1954 году, выступила свидетелем обвинения на процессе Абакумова и Комарова — ближайших сотрудников Берии.

Надежда Вениаминовна — врач, кандидат медицинских наук рассказывает о себе.

Сначала — о том, как я попала на Лубянку.

Думаю, это было predetermined еще в 1932 году, когда моя мать — главный врач Кремлевской больницы, а вместе с нею доктор Левин и профессор Плотнев отказались подписать фальсифицированное медицинское заключение о смерти Н. С. Аллилуевой, последовавшей якобы от острого приступа аппендицита. Сталин не простил этого ни одному из троих: судьба Левина и Плетнева, обвиненных в преднамеренном убийстве Горького, известна; моя мать в 1935 году была отстранена от должности главврача Кремлевки. Она скончалась в 1936 году.

Три года спустя арестовали меня, сестру и ее мужа.

Следователь утверждал, что наша мать работала на три европейских разведки (мать как лечащий врач возила к европейским светилам жену Молотова Жемчужину, а также сопровождала в Берлин жену Каменева, в Париж — Калинин) и что в свою шпионскую деятельность она вовлекла и нас, ее дочерей.

Разумеется, я все отрицала. Меня били.

На одном из допросов мне показали «признания» Юлии — я поняла, как мучили сестру!..

Предъявили мне и показания Юлиного мужа, доктора Вейнберга: и он «признался», что его завербовала Александра Юлиановна Канель и что он выдал тайну распространения малярии в СССР (между тем его статья на эту тему была опубликована в общедоступном медицинском справочнике).

Долгое время не знала я о судьбе своего мужа: на воле он или тоже в тюрьме?.. Детей у нас не было (в тюрьму я попала беременной, мне насильно сделали аборт).

К счастью, Адольфа не тронули; он взял на воспитание двоих детей Юлии, кроме того, на его попечении оказалась наша старая тетка; при этом он защитил сначала кандидатскую диссертацию, потом докторскую. Пятнадцать лет ждал он моего возвращения — и дождался...

Прошло три месяца в непрерывных допросах — и внезапно моя тюремная жизнь осветилась: я встретила Алю — Ариадну Сергеевну Эфрон, дочь Марины Цветаевой.

Это произошло 2 сентября 1939 года, когда меня перевели из одной камеры в другую.

На полу перед дверью сидела девушка на вид лет восемнадцати, с длинными белокурыми косами и огромными голубыми глазами. Лицо очень русское, но она показалась мне иностранкой: одета просто, но и черная юбка, и белая блузка, и красная безрукавка — все явно заграничное.

Одна из женщин сказала мне:

— Вот, несколько дней как арестовали, теперь все время сидит у двери — ждет, что ее выпустят.

Я спросила девушку, где она работала.

— В Жургазе, на Страстном бульваре.

— У меня там много знакомых.

— Кто же?

— Ну, например, Муля Гуревич.

— Это мой муж!

— Каким образом?! Ведь он женат на моей ближайшей подруге!

— Мы с ним уже год как муж и жена... Запомнилась ее фраза: «Я была такой хорошей девочкой, меня все так любили — и вдруг арестовали...» В ту ми-

нута подумала: «Все мы хорошие девочки, и всех нас арестовывают». Но очень скоро поняла, что таких хороших, как Аля, — нет.

Мы были вместе шесть месяцев — до февраля 1940 года.

Алю обвиняли в шпионаже; она поняла, что ее отец тоже арестован, страшилась, что посадят и мать. Но, видимо, постоянное нервное напряжение обострило Алину наблюдательность, а неисчерпаемый юмор был защитной реакцией. Во всяком случае, не помню, чтобы я когда-либо еще так много смеялась: Аля смешила меня на каждом шагу с утра до вечера; она обыгрывала каждый приход надзирателя в камеру, и мы не могли удержаться от смеха, когда он произносил: «Инициалы полностью».

Несмотря на частые допросы и тягостную тюремную обстановку, мы с Алей очень легкомысленно относились к своему положению. Не чувствуя за собой никакой вины, были уверены: максимум, что нам могут дать, — это ссылку года на три; улавливались о встрече не где-нибудь, а почему-то в Воронеже.

Аля еще была полна жизнью, из которой ее вырвали, постоянно думала о Муле — это была ее первая любовь. Она говорила: «Хотя я в тюрьме, но я счастлива, что вернулась в Россию, что у меня есть Муля. Я так была счастлива эти два года!»

Позднее Аля писала мне: «Помнишь, когда мы с тобой вместе читали и бесконечно разговаривали обо всем, далеко и близко, как бы стремясь надружитья впрок на все годы разлуки, как я тогда далека была от мысли, что наступит время, когда я буду совсем одна. А тогда, когда мы были с тобой вместе,

я была еще очень счастливая, несмотря на сверхнестрастные обстоятельства».

Новый, 1940 год мы встречали вместе с Алей. Она даже сделала торт из печенья, купленного в тюремном ларьке, растирала масло с сахаром вместо крема. В 12 ночи слушали бой часов с кремлевской башни.

Перед последним для нее, 1975 годом Аля послала мне письмо: «Вот и еще один Новый год на пороге, всегда в это время оборачиваюсь к тому, нашему с тобой удивительному по обстоятельствам (которым теперь собственная память не хочет верить!) и по душевной нашей с тобой близости — новому Новому Году; и звон курантов с кремлевской башни (до сих пор до меня доносится); и полная грудь веры, надежды, любви, несмотря ни на что, поверх всего».

С августа 1940 года Аля сидела три месяца вдвоем с молоденькой латышкой Валею Фрейберг, а потом их перевели в другую камеру. «Я как сейчас помню, — вот входим мы Валею Фрейберг в маленькую камеру, — почему-то она с умывальником, и возле умывальника стоит женщина и моется, — вспоминала потом Аля. — Я прямо с порога спрашиваю: «Не встречал ли кто-нибудь из вас Канель?» И тогда та женщина поворачивается ко мне и, побледнев, говорит: «Я сама Канель».

— «Ляля?»

— «Ляля».

— «Привет вам от Дины».

Мы не долго пробыли вместе, всего несколько дней — специально для того, чтобы я смогла донести ее живую и все передать вам о ней. Она знала и

верила, что я это сделаю, и, Диночка, ей было легче от этого сознания в ее последние минуты...»

В конце 1947 года, когда Аля жила в Рязани, она однажды приехала в Москву, пришла ко мне и подробно рассказала о встрече с Лялей, обо всем, что пережила Ляля во время следствия, которое было у нее сверхтяжелым, и о том, как ей пришлось подписать страшные ложные признания. Рассказала Аля и о своих утратах — о кончине матери, гибели мужа, гибели отца. «Я выплакала уже все слезы», — сказала она.

Больше мы с ней не встречались, так как в начале сорок восьмого года я была выслана из Москвы, а в июле сорок девятого вновь арестована.

В 1953 году я сидела во Владимирской тюрьме. Газеты нам давали с большим запозданием, но о смерти Сталина мы знали и знали, что теперь главный — Берия. Все заключенные писали заявления о пересмотре дела на имя Берии, но я, зная, что он руководил моим делом, конечно, не стала ему писать.

16 августа меня вдруг вызывают на допрос. Надо было идти в другой корпус, моросил дождь, я шла по двору в жутком настроении, ожидая новых бед.

Меня встретил человек лет пятидесяти, представился:

— Прокурор Володин, — и тут же спросил: — Говорили вы с кем-нибудь о своем деле?

— Нет, никогда ни с кем не делилась.

— А с Ариадной Сергеевной Эфрон?

Я похолодела. Неужели Аля меня предала?!

— Расскажите, как вы и ваша сестра были арес-

тованы в тридцать девятом году, как проходило следствие?

— Я уже забыла об этом...

— Не бойтесь, рассказывайте обо всем; нам известно, что вы и ваша сестра ни в чем не виноваты. Берия разоблачен. Напишите все, как и что было с вами. Ариадна Эфрон из Туруханска обратилась с письмом в Прокуратуру СССР, и это ускорило разбор вашего дела.

На другой день я вышла из тюрьмы и приехала в Москву на такси.

Вскоре от Али стали приходить письма из Туруханска:

«За эти годы мой разум научился понимать решительно все, а душа отказывается понимать что бы то ни было. Короче говоря, все благородное мне кажется естественным, а все то, что принято считать естественным, мне кажется невероятно неблагородным. Как совершенно естественные явления я принимаю и твою дружбу, и ваши отношения с Адольфом, и отношение Адольфа к Лялиным детям и к тете Жене, и то, что бедная, тяжело больная старая тетя Лиля в каждую навигацию шлет мне «из последнего» посылки, — а ведь ее помощь сперва маме и Муру, а потом мне длится целых 15 лет! А на самом деле, с точки зрения сложившихся в последние годы человеческих отношений, естественным было бы, если бы Адольф женился в 1940 году, дети росли бы в детдоме, а моя тетя Лиля «испугалась» бы меня полтора десятка лет назад и т. д.

Я однажды позволила себе нарушить данное вам с Лялей слово: на следующий же после разоблаче-

ния Берии день я отправила в Прокуратуру СССР заказное письмо, в котором вкратце рассказала о вас обоих то, что мне было известно, — так мне хотелось, родная, чтобы ты поскорее вернулась, домой...

Андрей Бубнов писал о себе: «В период подготовки и в момент переворота я находился в Смольном... В качестве члена ЦК партии выполнял поручения, на меня возложенные».

Все просто: поручили — выполнял.

Когда его дочь училась в третьем или четвертом классе, по школьной программе обычно писали изложение по русскому языку. На сей раз учительница дала сочинение на конкретную тему «Мои родители». Дочка Бубнова была предельно лаконична. Все сочинение она уместила в одной фразе: «Мой папа — Революционер». Так и написала — с большой буквы.

«...Приговор Военной коллегии от 1 августа 1938 года в отношении Бубнова А. С. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, дело за отсутствием состава преступления прекращено и Бубнов А. С. полностью реабилитирован».

Такие справки о посмертной реабилитации выдавались родственникам. Если те доживали до этих дней. Ведь их, пособников «врага народа», ждала та же участь: следствие, допросы, тюрьмы, ссылки. По принципу «яблоко от яблони недалеко падает...»

Не все могли пойти сквозь ад унижения, издевательства, до тонкостей отработанную механику физического истребления людей. Елена Андреевна Бубнова все это выдюжила. Какой ценой — это знала только она. И семь лет столичных тюремных застенков, и барнаульскую ссылку, и всю изощренную

тюремную «профилактику», которую применяли к ней, дочери «врага народа», одной из участниц сфабрикованного покушения на Сталина.

Весть о реабилитации отца искала ее по стране. Но нашли ее в Москве: она вернулась сюда после ссылки. Здесь ей вручили справку о реабилитации отца.

Она хорошо запомнила эту дату — 2 апреля 1956 года.

За семь лет заключения дочь арестованного наркома просвещения Елена Бубнова научилась по манере допроса определять настроение следователя, ход его мыслей, которые в конечном счете сводились к одному — признанию подследственной в пособничестве врагам народа, в числе которых значился и ее отец, в намерении их молодежной группы совершить покушение на Сталина.

Следователь по особо важным делам полковник Родос — маленький кривоногий колобок с раскосыми колючими глазами, — никогда не отличавшийся изысканностью манер, на этот раз был подчеркнуто утилитив. Она не очень-то прислушивалась к его пространным рассуждениям о трудностях жизни, обилии врагов, паутиной опутавших всю страну, но обратила внимание на его назойливые намеки быть благоразумной, чем можно хоть как-то облегчить свою участь.

Вскоре она поняла, что стояла за этими советами, когда ее провели по бесконечным коридорам в кабинет Абакумова — самого министра государственной безопасности.

Бубнова обратила внимание на портрет Дзержинского — боевого соратника отца.

Бубнова накрепко запомнила этот пронизывающий взгляд, надменность, с которой Абакумов спросил: помнит ли она своего отца? Она сказала, что помнит и будет помнить всю свою жизнь. После тирады всяческих гадостей Абакумов смерил ее взглядом и поставил точку в их коротком разговоре: «Яблоко от яблони...» Затем бросил кому-то: «Увести!»

Ей далеко не первой был задан вопрос об отце. Вопрос, вызывающий к предательству и дарующий за это предательство свободу, а возможно, и жизнь. От нее ждали другого — показаний, отречения от отца. Как делали это порой те, кого ломала тюрьма, бесконечные допросы. Отказывались от корней своих, меняли фамилии, отчества, чтобы ничто их не связывало с «врагами народа».

Ей дали последний шанс, но она не воспользовалась им. Санкции последовали незамедлительно: после семилетнего заключения дочь наркома отправили в ссылку. Под строжайший контроль, под расписку о невыезде из Барнаула. Не преминули и напомнить: за нарушение — 25 лет тюрьмы.

Е. А. Бубнова:

«Мне было пятнадцать, когда арестовали отца с матерью. Но я была достаточно взрослой, чтобы понять, осознанно говорить о его влиянии на мою жизнь.

С отцом мы очень дружили. У нас с ним была, можно сказать, мужская дружба: без особых сантиментов, доверительность во всем. Он старался ввести меня в курс своих бесконечных дел и забот. Загадочно интересных и важных.

Мне нравился его склад характера: какая-то

крепкая в нем армейская жилка была. Он любил военную форму. Гимнастерка, галифе в сапоги, широкий ремень — и в будни, и в праздники. Лишь на особые представительства он надевал гражданское, да и то, когда требовал протокол.

Он был необыкновенно организованным человеком; при том объеме работы, который он выполнял, это особенно важно. Ведь Наркомпрос тех лет — это вся система образования, научные учреждения, кинематография, театры, музеи, полиграфия, издательства, книжная торговля, объединения творческой интеллигенции... А посему в нашем доме, который всегда был рад гостям, часто бывали друзья отца по партии, революционному подполью, цвет нашей интеллигенции: Фрунзе, Тухачевский, Егоров, Станиславский, Мейерхольд, Алексей Толстой, Вишневский, Кольцов... Интереснейшие люди, а судьбы какие!.. Как божественно играл на скрипке Михаил Николаевич Тухачевский... А какой голосище был у маршала Егорова... Романтика революции, гражданской войны, жизни, которой дышала страна, — это атмосфера и нашего дома...

Отец обычно поздно возвращался с работы. И в этот раз он вернулся к полуночи, когда я уже спала. Разбудил. Спрашиваю: «Не случилось ли что?» — «Случилось, дочка, случилось... Посмотри, что я принес...»

Это была пластинка с голосом Ленина. Отец часто рассказывал об Ильиче и теперь был безмерно рад, что с помощью записи может еще зримее представить его нам.

Лет в 13—14 он уже читал мне работы Владими-

ра Ильича. Притом жил каждым словом, каждой ленинской мыслью...

При всех «прелестях» царского режима — тюрьмах, ссылках — он был крепок, всегда подтянут, его закалке можно было позавидовать. Не говоря о привычных для него вещах — обязательной утренней зарядке, холодном душе, — он круглый год занимался спортом: плавал, прекрасно ходил на лыжах, играл в теннис. Когда ему было под пятьдесят, решил фехтование освоить. И в это деле преуспел. Соседские мальчишки от нас не выходили — раздолье-то какое: рапиры, маски... Мушкетеры ведь давно в моде.

Как было с ним интересно! Когда ему удавалось выкроить время — брал меня на просмотры в театры, кино. Сколько у нас было разговоров после «Дней Турбиных»...

Прежние заслуги отца не в счет. Его ценили по работе и тогда, когда он возглавлял Политуправление РККА, и когда сменил на посту наркома просвещения самого Луначарского. Как-то встречала в печати мнение Надежды Константиновны Крупской об отце: «...партия поставила на пост наркома просвещения человека, которому вся предыдущая работа, весь предыдущий опыт борьбы обеспечивают широту партийного кругозора, привычку подходить к делу не формально, а вникая в его суть, умение настойчиво добиваться своей цели, вникать во все мелочи, проверять исполнение».

О многом сегодня приходится говорить в прошедшем времени. Что-то стерлось из памяти за давностью лет, забылись детали, мелочи. Но до конца дней

своих буду помнить этот роковой октябрьский день тридцать седьмого...

Я только утром узнала о случившемся. В доме чужие люди. Одни комнаты опечатаны, в других идет обыск. Те, что из «органов», были изошренные садисты. Когда им стало известно, что мама к октябрьским праздникам заказала полотеров, сказали оставшейся со мной бабушке: «Если сделали заявку, то не нужно отказываться. К праздникам должен быть в доме порядок. Родители вернутся — меньше забот. А вот цветы из комнат перенесите, а то могут засохнуть. Они ведь водичку любят...»

Какое «благородство»! Как сигарета перед гильотиной. Они ведь знали, что родители не вернутся...

Извещение о смерти отца было в сороковом. Хотя, по последним сведениям, он был расстрелян еще в августе тридцать восьмого. Мать, судя по всему, добились допросы, пытки. Одной из папиных сотрудниц по Наркомпросу, находящейся под следствием, передали, что видели маму в тюремной камере с выкрученными руками, дикими следами побоев. А ведь она была очень красивой женщиной. Во время ареста ей было немногим за сорок...

Да, в «органах» знали свое дело. Им ведь только пальцем укажи, намекни свыше, кого нужно преступником сделать, «врагом народа». Здесь же появятся «неопровержимые факты» из доносов «доброжелателей», нужные «свидетели», а затем и «дело»...

В этом ведомстве была до тонкостей отработана техника обвинений. Покушение на САМОГО считалось тягчайшим преступлением, и посему малейшие

подозрения в злонамеренных деяниях строжайше карались.

В числе «покушавшихся» по тщательно разработанному сценарию оказалась и я. И не одна. Нас взяли двенадцать человек — моих друзей-товарищей, с кем часто собирались вместе, обсуждая положение на фронте, житейские проблемы, в коих тогда не было недостатка, студенческие дела. Да мало ли было споров-разговоров у нас, двадцатилетних, будущих искусствоведов, историков, литераторов, кинематографистов. Ведь и в годы лихолетья оставалось место для мечты о послевоенном времени, для творческих планов...

В сорок четвертом, ко времени ареста, у меня уже была семья: вышла замуж за одноклассника, который вернулся с фронта после тяжелого ранения и почти годичного лечения в госпиталях. У нас был свой угол, где мы и собирались у печки-буржуйки, длиннющий хвост-труба которой выходил причудливыми коленцами в форточку.

То ли со мной, дочерью «врага народа», хотели свести счеты или какие другие цели преследовали, но после ареста нам было предъявлено обвинение в попытке покушения на Сталина. Притом инкриминировались нам смехотворные доводы, раскрывающие тонкости якобы глубоко продуманного нами террористического акта. Понятно, нам тогда было не до смеха...

На следствии мы узнали, что одного из наших товарищей, болезненного мальчика, кого и на фронт по состоянию здоровья не взяли и он работал на «скорой помощи», так вот именно его обвинили в том, что

он выслеживал во время дежурств маршрут следования Сталина с дачи в Кремль. Подтасовали сюда и подругу, которая жила в районе Арбата, где мы должны были обстрелять машину Верховного. При этом злодейское нападение мы собирались совершить из пулемета, якобы привезенного с фронта и спрятанного моим мужем-инвалидом. Вот такую гору накрутили-наворотили...

В пятьдесят шестом, после реабилитации отца, мне помогли связаться с Ворошиловым. Он сразу меня узнал: «Немедленно приезжай!» Климент Ефремович — давний боевой друг отца. Со мной, новорожденной, он как с куклой носился по квартире, где жили тогда наши семьи. Было это в Ростове, когда отец вместе с Буденным и Ворошиловым возглавлял Северо-Кавказский военный округ.

Приехала в Кремль. Встретились — и оба в слезы. С добрый час провспоминали прошлое. Разговор, понятно, больше об отце. Помню, из уст Ворошилова сорвалось — «Беда-то какая...» (как будто он раньше не знал о случившемся). Но здесь же он перешел на скачки, стрельбы, в которых раньше не раз состязались с отцом. Как будто ничего не случилось. На том и разошлись: ни он не спросил, где и как живешь, дочь наркома, ни я к нему с бедами своими — ведь ни кола, ни двора не было. Да и с университетом решать нужно было, с четвертого курса же забрали. Потом, правда, все улеглось. И с квартирой, и с учебой утрясли. Ведь добрых людей на свете куда больше...»

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

АЛЫХ ЯГОДОК

Меня всегда поражала внутренняя противоречивость большинства ругательств и комплиментов, обращенных к женщине. Женоненавистники делают невольный комплимент женщине в том смысле, что признают за ней огромную силу, от которой бежать нужно.

Наоборот, любезности, обращенные к женщинам, сплошь и рядом пропитаны оскорблением. И женщины, к сожалению, слишком часто преклоняют слух свой к этим двусмысленным любезностям.

Каждый человек живет в двух реальностях. Существует реальный мир вокруг нас. Эта реальность очень в малой степени может зависеть от вас, от ваших восприятий и ощущений. Смерть близких людей, политическая жизнь, катастрофы, природные катаклизмы — вот примеры такой реальности.

Существует не менее важная реальность внутри нас, реальность наших ощущений в настоящий момент. Эта реальность имеет свое название. Она называется эмоциональная правда.

Если в данный момент мы испытываем чувство безнадежности, горечи, тоски, угнетенности — это и есть эмоциональная правда.

Все мы часто путаем реальность внутреннего мира с реальностью внешнего. То, что может быть истинным в наших ощущениях, может оказаться ложным в отношении того, что происходит в мире вокруг нас.

Неправда, что чужой опыт ничему не учит. Прислушаемся к совету Льва Толстого:

Когда что-либо огорчает тебя, подумай: 1) как много худшего могло бы с тобой случиться и случается с другими людьми; 2) вспомни, как в прежние времена огорчали и мучили тебя такие события и обстоятельства, о которых ты вспоминаешь спокойно и совершенно равнодушно, и 3) главное, — подумай, о том, что то, что огорчает и мучит тебя, есть только испытание, на котором ты можешь проверить свою веру и укрепить ее.

Судьба Ирины Игнатьевны Калины действительно помогает «проверить свою веру и укрепить ее». Печальную историю жизни дочери советского консула рассказала Валерия Гордеева в повести «Девочка, которая боялась потеряться».

— Кто?

Ира спросила просто так, по инерции, прекрасно зная, кто стоял по ту сторону двери: видела из окна кухни, как мужчины в военном шли по двору к черному ходу, наверное, за понатыми. И безошибочно почувствовала: это — к ней. Ну и хорошо? Наконец-то! Уже почти всех из их компании забрали, а она — на свободе. И что ребята о ней подумают? Может, еще за провокатора примут?

— Проверка документов, — услышала спокойный ответ на свой вопрос. — Откройте!

Она открыла. Вошли трое: молодые, неприметные, в шинелях. И женщина с растерянным лицом. Где-то Ира видела ее... Ах, да, это же их дворник! «Круглова А. П.», как будет значиться вскоре в документах.

— Кто вы? — спросил один из военных.

— Я — Калина Зора-Ирина Игнатьевна, — девушка механически произнесла свое двойное имя, прозвучавшее в послевоенной московской коммуналке так же нелепо, как прозвучало бы, скажем: «Мария Антуанетта, королева Франции».

Намудрили родители в вольном городе Данциге, когда двадцать один год назад в семье Генерального консула Советского Союза Игнатия Петровича Калины эта девочка появилась на свет! Мама потом смущенно объясняла, что если у человека два имени, то и жизней должно быть по крайней мере две: не ту, так эту проживешь. Но, похоже, у Иры и с одной не слишком получается. — Вы-то нам и нужны... — Один из военных явно обрадовался. — Вот ордер на арест.

Майор и три полковника очень боялись, что Ирина Калина, «дочь репрессированного», как было подчеркнуто в «Постановлении на арест», знает какие-то «способы уклонения от следствия и суда» и может ускользнуть из рук всесильного Министерства, воспользовавшись ими. Поэтому пусть лучше сидит в тюрьме: так будет спокойнее!

— А где ваши родители? — удивился кто-то из капитанов: третий военный, видно, был на подхвате. — Десятый час уже!

— Отца у меня нет. А мама с сестрой приглашены на обед, — светски прозвучало в ответ. Только без уточнения: в каком именно посольстве проходит торжество.

Капитаны вполголоса о чем-то посовещались и изрекли:

— Садитесь на диван. Будем ждать мать.

Они устроились у стола. Молчаливая дворничиха сжалась в уголке. И тут в коридоре раздался телефонный звонок.

— Подойдите, — встрепенулся кто-то из двоих, основных, показывая Ире глазами на аппарат, висевший на стене.

Звонил Олег Гер, студент архитектурного института, Ирин жених: недавно, в знак обручения, он надел на ее палец тоненькое золотое колечко с веточкой и двумя маленькими рубинчиками. Может, специально выискал для нее олицетворение алых ягодок калины из жизнестойкого семейства жимолостных?

— Ирусик, можно я сейчас приеду?

Тактичный Олег никогда не звонил так поздно, и вдруг... Ира невольно повторила вслух его вопрос и посмотрела через открытую дверь на мужчин. Оба главных в унисон кивнули: пусть, мол, едет. И Олег очень быстро явился.

— Что у вас есть из вещей Ирины Калины? — сразу же огорошили его нетактичным, как посчитала Ира, вопросом. Юноша молча вынул из кармана письма невесты, ее фотографии и положил на стол перед офицерами.

— Хорошо. А теперь устраивайтесь на диване и не разговаривайте друг с другом, — сказали Олегу, и он, не глядя на Иру, присел в противоположном ему углу.

Повисла неестественная, какая-то вязкая тишина. И вдруг Ира заметила, что «гости», как замороженные, смотрят на ее колени, обтянутые черными сатиновыми брючками, которые сшила мама-рукодельни-

ца. Оказывается, они крупно дрожали, а Ира не замечала. Непроницаемое, спокойное лицо. Прямая, гордая спина. И... трясущиеся колени. Какой стыд!

Ира, обхватив их руками, плотно сцепила пальцы и вскоре справилась с разгулявшимися внезапно нервами. Сказалось, наверное, многодневное ожидание ареста: ведь первого из них — Толю Бахтырева, их несравненного «Кузьму» (производное — от мудрого Козьмы Пруtkова), книгочех и великого знатока Москвы, — забрали еще восемнадцатого декабря прошлого года. Почти четыре месяца назад! Потом, в январе, — сразу троих... Затем — еще одного, тоже в январе... А она — все на свободе...

Но в последние дни Ира уже четко знала: пора собираться. Сон был! В их семье вещие сны и всякая вроде бы мистика никогда бесследно не проходят. Приснилось ей, будто мчится она зимой вместе с мамой и Элькой в каком-то возке, запряженном лошадьми. На крутом вираже те резко берут в сторону. Ира вылетает из саней и падает в сугроб. Мать же с сестрой, ничуть не пострадав, исчезают вдали.

Чем иначе объяснить, что именно сегодня вечером, в ту минуту, когда трое военных пересекали двор, она специально подошла к кухонному окну и, встав на табурет, посмотрела вниз, все увидела и все поняла? Так однозначно, что, схватив альбом со своими детскими фотографиями, побежала в ванную и спрятала его в чье-то корыто, висевшее на стене? Почему-то именно это хотела сохранить...

Галина Андреевна с Элей вернулись от родственников около одиннадцати. Дверь из комнаты в коридор была открыта, и Ира выдела в зеркале у входа,

как побледнела мама, заметив на вешалке военные шинели. Входила она в свою комнату уже совершенно спокойной.

— В чем дело, товарищи?

И кто-то из капитанов, заметно смутившись, без всякого апломба ответил красивой женщине, перед которой млели многие мужчины из этого номенклатурного дома, набитого знаменитостями — летчиками и артистами, генералами и учеными:

— Мы пришли арестовать вашу дочь, — ему явно было не по себе.

Уже поздно ночью начался обыск. Но оказался он необременительным для офицеров. Шкаф... Буфет... Какая-то тумбочка... Бедность — редкостная даже для тех лет! Но бумаг, фотографий, всякой личной мелочи у Иры было много. Так что пришлось повозиться, все тщательно переписывая.

А вот под пунктом 11 шла необычная вещь: «Пластинка патефонная заграничная, металлическая, малая — 1 шт.». Под пунктом 13 — «Визитная карточка на иностранном (! — В. Г.) языке». Пункт 14 — «Открытка на иностранном языке». Все это значится в «Деле» под грифом: «Изъято для доставления в МГБ СССР».

Трудно ждать от человека, очутившегося в экстремальной ситуации, логики поведения. Но я все думаю о том, почему Ира спрятала в чужом корыте обычный альбом с фотографиями, а не ту металлическую пластинку, которую отец записал для дочерей и где звучал его живой голос: «Элька! Беби!»? Так звали в семье Иру. Зору-Ирину. А еще ее называли Ирэн, Рена.

Арест на имущество арестованной по ордеру МГБ СССР Калины Зоры-Ирины Игнатьевны... по адресу... не наложен ввиду того, что арестованная все личные вещи взяла с собой... а имевшееся одно старое платье и блузка оставлены матери. Арестованная проживала в одной комнате с матерью и сестрой. — Моисеев. 10 апреля 1949 года».

Ира была худенькой, хрупкой и выглядела намного моложе своих лет. Голубые глаза... Копна пышных пепельных волос... Типичная Лорелея! Только по-советски изможденная. Такая не могла родиться ни на юге, ни на востоке — только в Данциге или в другом подобном городе.

Соседка внизу выпла на лестничную площадку в семь утра совсем с другой целью, изображая, что тщательно чистит ботинки.

— Ой, Реночка, ты так рано гулять идешь? — спросила сладким фальшивым голосом девушку, спускавшуюся (отчего-то не на лифте, но так решили «спутники») в окружении мужчин в шинелях. И самой, видно, было интересно поглядеть на чужое горе, и поручили, возможно, этак случайно попасться на дороге. А вдруг отчаянная девица вздумает побежать? Будет тогда свидетельница.

Уже садясь в легковушку, Ира попросила сопровождающих:

— Передайте, пожалуйста, Олегу, что я очень его люблю.

— Обязательно передадим, — серьезно заверили ее, и машина тронулась.

...Олег собирался стать архитектором. Но был он удивительно музыкален: наверное, в отца-скрипача.

Прекрасно играл на рояле, читал ноты «с листа», отлично знал и понимал музыку. До чего им хорошо было вместе в консерватории, куда они бегали на каждый концерт!

А как Олег трогательно ухаживал за Ирой... Как, встав на колени, не стесняясь чопорной консерваторской публики, снимал с ее ног ботинки на кнопочках и надевал туфельки... Как жаждал их совместной поездки в родную Кострому, чтобы представить невесту родителям, которым он уже написал... Во время их знакомства Олег был безупречен: интеллигентный юноша из интеллигентной семьи. Его не смущала вопиющая бедность Иры и ее близких, особенно заметная на фоне элиты, населяющей известный дом на улице Чкалова. Не смущало то, что кое-кого из знакомых ребят арестовали. Это, конечно же, какая-то нелепость: разберутся и выпустят! Ну что страшного в том, если вполне приличная молодежь иногда собиралась у того, у кого было посвободнее и слушала «доклады» друг друга?

...Кто-то рассказывал о Тициане... Кто-то — о скульпторе Коненкове, о монументальной живописи... Ира, например, сделала сообщение об Озирисе, о древнеегипетском боге умирающей и воскресающей природы, показала слайды, взятые в институте... Кто-то читал Блока, Маяковского, свои собственные стихи...

Если был инструмент, Олег играл Чайковского, Листа, Шопена, «Песню Сольвейг» Грига, рассказывал о композиторах... А Ушаков отгрохал доклад «О воспитании детей», хотя ни у кого из слушателей не было не только детей, но и вообще семьи...

Только настрадавшаяся уже Галина Алексеевна нервничала, пренебрежительно называла эти вечера «ассамблеями», что раздражало Иру, и даже как-то заговорила о возможности арестов, что дочь просто рассмешило. Да они же не занимаются политикой! Их интересует совсем другое!

И вот начали сбываться тяжелые предчувствия Галины Алексеевны. Но пока Ира и Олег были на свободе, они никак не могли поверить в серьезность ситуации. Только в ее нелепость, ошибочность. В то, что правда обязательно восторжествует.

Накануне Иринино ареста девушка попросила жениха, снимавшего в Москве комнату, помочь ей сделать стенгазету ко дню рождения Ленина. Целый вечер оба корпели у Олега над огромным листом ватмана, в центре которого был Мавзолей, нанося на него, слой за слоем, сепию: светло-коричневую краску, добываемую из морских моллюсков, из той самой каракатицы, которая «задом пятится». И с каждым разом цвет становился все глубже, глубже... В «мраморе» появлялись блеск, переливы... Этот метод, которым Олег владел в совершенстве, у архитекторов называется «отмывкой».

В тот вечер Ира не заметила в женихе ничего особенного. Высокий, изысканный, темно-русый и сероглазый — ей всегда нравился такой тип мужчин (в сегодняшнем варианте — молодой Костолевский, в очках) — Олег был, как всегда, предупредителен. Но почему-то несколько раз вслух горестно произнес:

— Что будет со мной, если тебя, Ирусенька, арестуют? Я ведь только обрел тебя! И так тебя люблю!..

Это потом, позже, Ира вдруг сообразит, что Олег говорил не о том, что станет с ней, когда ее схватят и уведут в неволю, а о том, что будет с ним, каково будет именно ему. Но восьмого апреля, когда, оказывается, уже было подписано «Постановление» на ее арест, Ира не придавала словам Олега, их истинному смыслу особого значения. Как и тому странному — почти ночному — его визиту к ним, на Чкалова, с запасливо прихваченными с собой ее письмами и фотографиями.

Олега не арестовали... (А Ира в боксах, где слышимость была лучше, чем в камерах, все напевала начало «Первого концерта» Чайковского в надежде, что жених услышит этот «позывной» и как-то откликнется... Не откликнулся.) И то, что родители немедленно увезли его в Кострому и запихнули в больницу: «тяжелобольных» сложнее трогать... И то, что мгновенно женили на кухне: вскоре на свет появились двое малышей... И то, что Олег не написал Ире за все годы заключения ни одного слова... О посылках и говорить нечего, хотя девушка буквально доходила от непосильного труда и дистрофии! А ведь семья его была состоятельной...

Ни в коем случае нельзя утверждать, что на совести Олега Александровича Гера — молодежная «организация», лихо разгромленная и безжалостно искорененная из нашей послевоенной жизни гебистами. Это сделал совсем другой человек. Нельзя сказать и то, что Олег виновен в аресте своей невесты: ее и так арестовали бы, откажись он посодействовать чекистам.

Он виновен в другом: в том, что позволил себя за-

пугать, сломать, распорядиться своей единственной жизнью по чужому усмотрению. Что не только не пошел с товарищами — и с невестой своей — на ка-торгу, но даже не стал ждать нареченную с этой ка-торги. Что между честью и бесчестьем очень быстро выбрал последнее. Короче, что вел себя не как Мужчина.

Такого, конечно, не украсит никакая «отмывка»: не углубит, не прибавит блеска. О таком даже в «Репорте» капитана Моисеева сказано довольно холодно и равнодушно: там, где он докладывает «полковнику тов. Щепилову», что во время ареста «в квартиру пришел... Гер Олег Александрович... студент архитектурного института... По окончании производства обыска в 7 часов Гер был освобожден».

Иру везли в лагерь в отдельном зарешеченном купе, как птичку в клетке: не дай Бог, что случится по дороге! А так будет настоящий подарочек избалованным лагерным боссам, выбор у которых и без того неограниченный. Но тут — девушка, да еще интеллигентная, да еще молодая и необыкновенно хорошенькая... Вот «товар» и стерегли-берегли.

А Ира все думала об Олеге, который почему-то так и не отреагировал ни в одной из тюрем на ее «музыкальный» сигнал... И очных ставок с ним не было... С другими были, а с ним — нет. И экзекутор Канонов о нем молчал... Столькими фамилиями манипулировал, а его ни разу не назвал!

Так и не успела она съездить с Олегом в Кострому, познакомиться с будущими родственниками... Когда теперь придется? В том, что это со временем случится, Ира не сомневалась. Они же еще молоды!

Ну что в общем-то пять лет? Такая любовь, как у них с Олегом, все преодолает. А может, даже еще больше окрепнет, возмужает. Сколько Ира читала о том, что разлука не только проверяет чувства, но и усиливает, возвышает. Их любовь проверять, конечно, глупо: она очевидна. Но придать ей какие-то особые краски... Что ж, такая возможность Ире, художнику, не была чужда.

Однажды, провожая ее, Олег рассказал, как у них дома все красиво... Какой у них прекрасный рояль...

— Тебе, Ирусенька, у нас очень понравится!

Олег не хвастал, не противопоставлял свой благополучный быт ее, неустроенному. Он искренне желал, чтобы невесте пришлось по душе его родовое гнездо. А Ира тогда еле дождалась лифта и, не прощаясь, шмыгнула в него, быстренько нажав кнопку своего седьмого этажа.

И сразу же хлынули слезы обиды, горя, уязвленной гордости. Она ведь никогда не рассказывала Олегу о том, как они жили при папе, о том, какая трагедия произошла в их семье. Об этом не знал не только Олег, но и вообще никто вокруг!

Семья эта была для дома № 14/16 по улице Чкалова, конечно, нетипичная: его населяли очень благополучные и обеспеченные люди. Но так уж случилось, что именно здесь Галине Алексеевне, когда она вернулась из Минской тюрьмы, просидев там под следствием целый год, выпущенной после смерти мужа за недоказанностью обвинения, дали небольшую комнату в коммунальной квартире.

Как-то Ира узнала, что ее товарищ по дворовым

играм Фрэд Шафранский, сын крупного генерала, с большим недоумением сказал своей маме о том, что «Реночка живет очень бедно». Девочка, в свою очередь, спросила об этом Галину Алексеевну. И сделала вывод:

— Мне стыдно, что мы так живем!

Галина Алексеевна помолчала, видно, перебарывая поднявшуюся в душе бурю, а потом, как всегда с достоинством, ответила дочери:

— Пусть будет стыдно нашему государству...

Больше Ира никогда о таких вещах не спрашивала и так же, как мама, терпеливо переносила все бытовые тяготы.

От постоянного голода Ира была очень слабой, часто и много болела, плохо двигалась, играя в сачки, лапту или штангер, тогда как все мальчики и девочки были крепенькие, «напитанные», по выражению Ирины Игнатьевны. Она очень почему-то не любила в детстве, когда, дыша в затылок, за ней бежали — сразу же останавливалась, будто вкопанная.

Но Фрэду сызмальства все нравилось в «Реночке», даже ее замедленность. (Недаром много лет спустя после неудачи в семейной жизни, которую пережили оба, они соединили свои жизни.) А уж про толстые светло-пепельные косы и говорить нечего...

Красивый подросток, своеобразно одетый — черные блестящие сапожки, черный свитер, белоснежный воротничок, — выносил на балкон своего четвертого этажа патефон и кричал Ире, стоявшей наверху, на балконе безотказной Любаши, после посещения которой она всегда находила в кармане что-то съестное:

— Что тебе поставить? — И на всю мощь пускал заказанное: «Рио-Риту», «Серенаду Солнечной долины», «Джорджа из Линки-джаза», что-то из Эдди Рознера... У Фрэда, то есть у Фридриха, названного так в честь Энгельса, был большой выбор популярных пластинок тридцатых годов. И дом от этих концертов просто стонал!

А Ира, слушая музыку на чужом балконе, вспоминала ту, которую слушала когда-то, когда был еще папа, вспоминала ту жизнь, в которой она провела девять счастливейших лет.

...Она родилась в Данциге, и ее, недоношенную, выхаживали в клинике по лучшей зарубежной методике. Вскоре Ирина-Зора превратилась в очаровательную девчушку, напоминавшую тех пушистых цыплят, которых мама вышила на ее платье. Малышка была радостная, вся какая-то солнечная. И обожала не только элегантного отца, красавицу мать, но и старшую сестру Эльку. Элеонору — как дочь Маркса. Много позже та почему-то стала Еленой...

Ира росла девочкой, которая все время боялась потеряться, как заметила Галина Алексеевна. Поэтому та стала воспитывать дочь в суровых немецких традициях, в чем ей помогала строгая бонна Тереза, которую девочки, несмотря ни на что, очень любили.

Не раз вслух Беби высказывала две свои главные мечты: чтобы не было надоевшей ей еды и чтобы все жили в одной комнате. И Бог услышал ее, исполнив оба желания. Но до этого — еще несколько лет. А грезил Ира о том, чтобы семья жила скопом, вот почему.

И в Данциге, где наше Генконсульство занимало

особняк, построенный еще Петром Первым, и в Харькове, на Украине, и в Белоруссии, в Минске, где Игнатий Петрович был наркомом иностранных дел, во всех этих домах, предоставленных ему государством, было очень много комнат: и для работы, и для приемов, и для семьи.

Детей, конечно, рано укладывали спать, а им так хотелось посмотреть, как проходят торжественные приемы, на которых всегда блистала их молодая мама, которую Ирина Игнатьевна с первых лет своей жизни и до сегодняшнего дня считает совершенством.

Галина Алексеевна, жившая в раннем детстве в старинных Белозерске и Кириллове, осталась сиротой в пять лет: не выдержав позора карточного долга, в который его вверг опытный шулер, ее двадцативосьмилетний отец — дворянин, офицер — застрелился, оставив жену с четырьмя детьми.

Молоденькая вдова, выпускница института благородных девиц в Вологде, родня Арсеньевых, стала сельской учительницей. Но одна прокормить всех не могла, и Галю взяла ее бездетная сестра, то и дело секшая девочку розгами. Потом — школа, комсомол, учеба в московском медицинском училище.

И, наконец, встреча со своим преподавателем, известным врачом, родившимся в Польше, в семье лесничего, но получившим все-таки прекрасное образование в Швейцарии, куда он, принимавший участие в нелегальном рабочем движении с девятнадцати лет, то и дело сидевший в царских тюрьмах, вынужден был эмигрировать.

Галя, наслушавшись от подруг про какого-то

удивительного Калину, долго болевшего, увидела однажды невысокого человека, не слишком красивого, но совершенно пленительного, завораживающего своей утонченностью, своей эрудицией. И безоглядно влюбилась в него.

Игнатий Петрович тоже обратил внимание на высокую, тоненькую, с длинными косами студентку, активную комсомолку, редактора стенгазеты. Он видел, как она щурится, но не показывает вида, что близорука. Как плохо одета, но ходит в своих кошмарных войлочных тапочках с гордо закинутой головой. Когда после демонстрации, на которой ее обувка раскисла от дождя и просто сваливалась с ног, он хотел купить ей какие-то туфли, Галя страшно возмутилась.

И все-таки они поженились. Несмотря на то, что совсем вроде бы не подходили друг другу. Несмотря на двадцать два года разницы. И прожили вместе двенадцать счастливейших лет: до его ареста и гибели. Он звал ее «Галька». Она звала его «Милый». И очень редко — «Игнатий Петрович». Это означало, что она неимоверно на него сердится...

Элька родилась в Союзе. А Ира — уже за границей, когда отцу — солидно образованному человеку, знавшему несколько языков, — предложили дипломатическую работу. С тех пор они и поселились в бурлящем врагами советской власти Данциге. Но особенно кучковались эмигранты в Сопоте, где была международная рулетка и для въезда не нужен был даже паспорт. В Оливе — тоже, правда, поменьше. Да где их не было? И в Праге. И в Варшаве. И в Париже.

Галина Алексеевна все время волновалась за мужа. Когда убили Байкова, нашего полпреда в Польше, кото-

рому был подчинен Калина, совсем потеряла покой. А когда в парижской белоэмигрантской газете «Руль» напечатали открытый призыв расправиться в Данциге с советским генконсулом, на прогулках, под всякими предлогами, старалась идти не рядом с Игнатием Петровичем, а сзади, чтобы в случае нападения прикрыть мужа собой. Ей почему-то казалось, что покушение должно произойти именно с тыла.

Семья уезжала из Данцига с удовольствием: очень уж соскучились по Родине. Вот только Терезу и верного пса Рольфа очень было жалко оставлять... И Беби настойчиво просила взять с собой хоть собаку, если уж бонну нельзя. Ее убеждали:

— Это немецкая овчарка. Ей нельзя в Союз.

— А она на границе будет лаять по-русски! — упрямилась девочка. А потом в поезде, когда они шли в вагон-ресторан через длинный состав, с удивлением сказала:

— Пахнет бедными людьми...

И откуда ей, катавшейся как сыр в масле, было знать этот запах? Предчувствие будущих горестей? Не зря ведь после ареста отца в семье было два основных состояния: голод и холод. Но до этой трагедии еще четыре года. Еще жизнь в Харькове. А потом в Минске, где сестры уже учились в школе.

Как-то в ливень Галина Алексеевна послала за ними машину, и один из шоферов, Женя, попытался привезти девочек домой. Но те сломя голову бросились в разные стороны: им было стыдно перед подругами, ходившими пешком. А вот Эмме Байдуковой, дочери знаменитого летчика, жившего в Москве, на улице Чкалова, стыдно не было, что она, сопливая

девчонка, на глазах всего дома спокойно усаживалась одна в поданную ей машину и ехала в школу!

На Игнатия Петровича донес другой шофер — Паша, в которого маленькая Беби была по-детски влюблена: не простил, видно, хозяину, что тот застукал его на левых заработках. А может, это лишь усугубило его рвение?

В середине декабря тридцать седьмого года Калину вызвали в Москву: вроде бы хотели послать в Бельгию советником. На душе у него было скверно — аресты не прекращались. Вокруг как косой всех повыкосило: забирали уже не просто знакомых, а самых близких людей. И ни слуху о них ни духу! Хотя нет, какие-то вести доходили. Например, что Николай Матвеевич Голодед, председатель Совнаркома Белоруссии, покончил с собой, выбросившись во время допроса из окна... Что его жену Веру и шестнадцатилетнюю дочь Валю тоже взяли...

Игнатий Петрович до этого был в отпуске, в Барвихе, под Москвой. Так он каждый день звонил оттуда: «Галька, у тебя все в порядке?» Она его успокаивала, а сама умирала от страха! Потом, вернувшись, Игнатий Петрович кричал по ночам и просыпался в поту: ему снилось, что его арестовали. А днем держался молодцом, хотя рассказывал нехотя про Барвиху:

— У меня там было такое чувство, что я постоянно под наблюдением...

И все же он поверил: насчет Бельгии! И отправился в Москву!

Галина Алексеевна не смогла проводить мужа: загрипповала. А Ира с шофером поехала на вокзал.

Она долго и нежно прощалась с отцом. С тех пор они друг друга не видели. Никогда уже Игнатий Петрович не заглянет в детскую и не споет младшей дочери колыбельную: «Пойду, пойду в лес за ягодкой земляничкой...» (Для Эльки у него было что-то про косарей...) Никогда Ира не услышит его удивительный художественный свист... Хоть на сцене выступай!

Галина Алексеевна ждала мужа домой к восемнадцатому декабря ко дню его рождения. Она тогда не знала, что НКВД хлебом не корми, но дай арестовать человека именно в праздник или накануне. Так и случилось: за Игнатием Петровичем пришли в Подсосенский переулок, в его небольшую московскую квартиру, как раз в ночь на восемнадцатое. Намекнула об этом по телефону Ганна, племянница мужа: что надо, дескать, срочно выезжать в Москву.

Галина Алексеевна заметалась по дому в ужасе, в полной растерянности. Потом забежала в спальню, схватила фотографию мужа, поставила ее на кровать, опустилась перед ней на колени и зашептала как безумная: «Милый, милый, что мне сделать для тебя?» И тут же, не вставая с коленей, дала Игнатию Петровичу клятву: никогда, никому, даже детям, не сказать «Милый». Галина Алексеевна эту клятву сдержала.

Немного придя в себя, она послала в «органы» с каким-то ерундовым вопросом секретаря мужа Павла Николаевича Андриевского. Там ответили: «Вот приедет Калина, и мы решим». Но он все не ехал...

Тогда Галина Алексеевна, зная от Игнатия Петровича, что их завхоз осведомитель, сказала при нем

невзначай, что уезжает с детьми. Без подробностей. Она понимала: рано или поздно будет обыск. И предпочла, чтобы он состоялся здесь, в Минске, а не в Москве, где-нибудь на вокзале.

И точно! В ту же ночь в особняк пришли чекисты и все перевернули: как она узнала потом, искали радиостанцию. Затем долго описывали вещи, уникальную библиотеку мужа.

Как сохранился мраморный Посейдон, успокаивающий трезубцем волны, подаренный Игнатию Петровичу при расставании сенатом Данцига, копия фонтана, расположенного напротив Ландстага, музейная вещь, непонятно. Но тяжеленная статуэтка, пережившая обыски, описи, аресты, войну, эвакуацию, послевоенное лихолетье, когда нужна была любая копейка и все мало-мальски стоящее тащилось на барахолку, цела до сих пор.

Так и стоит бог-олимпиец, сын Кроноса и Реи, у Ирины Игнатьевны: антично-прекрасный, идеально сложенный, вселяющий надежды, позволяющий верить в мифы. Только вот трезубец, которым Посейдон управлял морями, куда-то делся... Выпал из мощной руки... Лишь замах остался.

Как же хорошо помнит Ирина Игнатьевна ту ужасную ночь, когда в детской вдруг резко зажегся свет! (Потом яркой лампой, направленной в лицо, ее будет истязать Канонов.) Помнит большие мужские руки под собой, прощупывающие нижнюю перинку... Потом верхнюю, служившую по немецкому обычаю одеялом... Галине Алексеевне почему-то не разрешили увести дочек из комнаты.

Ира притворилась спящей. Как и накануне, когда

мама вошла ночью в детскую, села возле Элькиной кровати и тихо сказала ей, уже большой, одиннадцатилетней:

— Папу арестовали.

Ира в страхе натянула перинку на голову, отгораживаясь таким наивным способом от надвигавшейся на их семью беды: девочка сердцем понимала, что арест — это беда. И еще не хотелось огорчать и без того расстроенную маму. Раз она ей не говорит, пусть уж считает, что младшая дочь ничего не слышала...

Хмурая зимняя Москва встретила Галину Алексеевну опечатанной квартирой. Хорошо, дочерей временно взяли в семью брата Игнатия Петровича, Станислава Петровича, юриста по образованию, заместителя председателя Моссовета, избежавшего, наверное, ареста только потому, что успел умереть.

Пока звонила в НКВД, пока ждала официального представителя, который имел право взломать сургучные печати на дверях и впустить ее внутрь, прошел целый день. И никто из соседей, даже писатель-фантаст Палей, которому они без всякой платы разрешили жить и работать в этой квартире, не подошел к ней, сидящей на ступеньках, не предложил ни стул, ни чашку чая...

Сотрудник НКВД, впустивший, наконец, измученную Галину Алексеевну в дом, постарался ее посвоему утешить, увидев, как она рыдает: и из-за ареста мужа, и из-за того, что сделали с людьми, превратив их в трусов и подлецов:

— Не отчаивайтесь. Начинайте жить заново. А

Галина Алексеевна, оставшись одна, схватила в руки пижаму Игнатия Петровича и прижалась к ней лицом, вдыхая родной запах... Потом нашла в пепельнице окурки его папирос и взяла их, некурящая, губами: словно целовала мужа...

Днем она моталась по Москве, хотела найти Игнатия Петровича, что-то ему передать, сообщить — с семьей все в порядке. Но силы покидали ее, ведь каждую ночь сама ждала ареста и не спала до двух-трех часов. Дело дошло до обмороков. То ее вынесли без сознания из трамвая... То упала прямо на Лубянке, возле часового... А Галине Алексеевне в ту пору было всего тридцать два года!

Но, странное дело, именно в ночь на двадцать пятое января, когда за ней пришли, она рано уснула и очень крепко спала, будто сил набиралась впрок. Элька сдерживалась, не плакала, когда Галина Алексеевна собиралась. А девятилетняя Беби ревела как белуга, обхватив ее за ногу. Той уже надо было уходить, но девочка все не могла оторваться от матери. И тут один из тех, кто пришел за ней, сказал очень убедительно:

— Не плачь, мама завтра вернется!

И Ира, ободрившись, разжала руки. Но Галина Алексеевна вернулась лишь через год.

Кстати, снова о серьезности и точности снов в этой семье. Накануне освобождения Галине Алексеевне приснилось следующее. Группа женщин — и она, конечно, — гуляет по тюремному двору. Вдруг все видят что идет... Ленин. С криком: «Гражданин начальник!» — все кидаются к нему. Владимир Ильич, сморщившись, поправляет их: «Я не «гражданин

начальник», а «товарищ»... Сон явно обещал что-то хорошее. Так в конце концов и получилось.

...В первом Ирином лагере, в Кингире, хозяином над всеми был Звериков. Он сразу же «положил глаз» на новенькую: без конца вызывал ее, беседовал... Опытные зэчки предупредили девушку, что ей суждено стать наложницей начальника.

Ира пришла в ужас. И как только подвернулся этап в Степлаг, срочно записалась в него. Звериков пытался отговорить ее — там, мол, она пропадет, это страшное место, но Ира слушать его не захотела. И попала прямоком в руки... Стадникова, другого «гражданина начальника». Но до того...

До того ее все же настиг Звериков. Возможно, как теперь становится ясно, он уже считал девушку собственностью.

Возможно, даже с кем-то расплатился за нее. Короче, однажды вечером за ней пришла надзирательница, куда-то молча повела, и Ира неожиданно оказалась в небольшой комнате с лавкой наедине со... Звериковым.

Офицер запер дверь, выключил свет, быстро догола разделся и ловко посрывал все, что было на Ире. И тут вялая, усталая после непосильной работы девушка преобразилась, превратившись в настоящую тигрицу.

Сражение шло до утра: ни один из двоих не сдавался, иногда обескураженный, неимоверно обозленный яростным сопротивлением Звериков отдыхал, устав от единоборства. Тогда чуть-чуть расслаблялась и Ира, правда, ни на секунду не теряя бдительности. Так что, когда Звериков вновь кидался на де-

вушку, словно разъяренный бык на красное полотнище, она давала ему такой отпор, что здоровенный, откормленный офицер вновь брал «тайм-аут».

Пришла Ира в барак под утро. Все спали, лишь Тося Мальцева, подружка, бодрствовала в тревоге. Измученная девушка лаконично рассказала ей о случившемся. А вскоре ее пригласили в медкабинет, на обследование, и врач после осмотра доложил нескольшим незнакомым встревоженным военным, что с Ирой все в порядке...

Стадников не пытался примитивно изнасиловать Иру.

Однажды, застав ее где-то одну, он подошел внезапно и, ни слова не сказав, впился губами в ее губы. И снова скрытая пружина, мгновенно раскрутившись, выстрелила у Иры внутри: девушка больно схватила офицера за густые волосы на затылке — благо, руки были свободны — и с силой рванула голову назад.

Офицер, крепкий, статный, буквально оторопел. Потом безмолвно, щелкнул каблуками сверкающих сапог и, чеканя шаг, вышел из помещения. Так Ира определила свою лагерную жизнь: вскоре она очутилась в штрафной бригаде бандеровки Юлии Радченко.

Интересный вывод сделала тогда девушка. Почему-то среди особо жестоких людей в лагерях оказалось много молодых и красивых. Вот такое странное сочетание... Недурен был Звериков. Просто хорош — Стадников. Прелестная молоденькая надзирательница с особым наслаждением надевала Ире, ни в чем не провинившейся, страшные американские наручники, которые от малейшего движения все глубже и

глубже впивались в запястья, словно зубы пираньи.

Ранней весной пятьдесят третьего, вскоре после смерти Сталина, Галина Алексеевна сообщила Ире, что вдруг, как огнем, вспыхнула ее любимая — засохшая было — красная герань. И сделала осторожный вывод: наступают хорошие времена. И оказалась права: семнадцатого апреля Иру, подпавшую под амнистию, выпустили из лагеря. Сбылся вещий сон: прошло ровно четыре года.

Справку о том, что Ира ни в чем не виновата, ей принесли прямо на занятия в Ленинградское высшее художественное училище имени Мухиной, с которым слился ее бывший институт и куда Ира поступила, вернувшись из лагеря. Как же она плакала над ней, окропив ее слезами...

Английский философ Фрэнсис Бэкон говорил:

«...Насколько счастливее тот, кто, может быть, даже терпит неудачу, действуя из честных побуждений, с благородными целями, преследующими общее благо, чем тот, кому постоянно сопутствует успех во всех его устремлениях, направленных на личное благополучие».

СКЕЛЕТ В ШКАФУ

«Наши поступки словно бы рождаются под счастливой или несчастной звездой, ей они и обязаны большей частью похвал или порицаний, выпадающих на их долю», — сказал французский писатель-моралист Франсуа Ларошфуко.

Ольга Адамова-Слиозберг долгие годы провела в заключении. Реабилитирована после XX съезда партии. Ее воспоминания были написаны без внутреннего цензора и надежды на скорую публикацию, которая состоялась только в 1989 году (сборник «Доднесь тяготеет»).

О своем жизненном пути рассказывает сама Ольга Адамова-Слиозберг.

«У Диккенса есть сказка о том, как в одном замке безвинно была замучена женщина и скелет ее замурован в шкафу. Об этом никто толком не знал, потому что все боялись злого хозяина, который за одно слово о его преступлении мог жестоко отомстить.

Только на ухо передавали какие-то слухи, да изредка в ночной тиши слышались стоны и стук в стену, как будто кто-то томился, задыхался, хотел выйти на воздух и не мог.

Шли годы. Шла в замке жизнь. Люди влюблялись, женились, рождались дети, люди сеяли хлеб, охотились, писали стихи, пировали. Но на всем была печать ущербности. Не было радости в этом замке, не было искренней любви, друзья не доверяли друг другу, дети не уважали родителей, вино опьяняло, но не веселило, хлеб и мясо насыщали, но не были вкусны, даже птицы не пели в этом замке...

Потому что в шкафу был скелет безвинно замученной женщины.

Я не виню вас, братья мои и сестры! Вы не виноваты, что вам внушили, что вы не можете, не должны ничего делать, говорить, думать. Что эти явления вне пределов понимания обычных людей, вне категории справедливости, жалости. Вы заперли эту ком-

нату мозга. Вы танцевали, жили, работали, произносили речи. Вы забыли о «скелете в шкафу», но он сидел в вас, он разъедал своим тлетворным дыханием вашу душу. И когда я через 10 лет увидела вас, первое, что бросилось мне в глаза, — это след тлетворного дыхания скелета в шкафу.

Вы старались забыть о нем, но он был, и вы перестали верить в справедливость, перестали верить словам и речам, которые вы слышали и произносили сами.

Скелет в шкафу был, и вы о нем знали.

Я родилась в 1902 году в Самаре. Мои родители бы портные высокой квалификации. Они были из лучших в Самаре, шили на жену губернатора, местную знать. Поэтому мы жили безбедно.

Я в 8 лет поступила в частную гимназию, содержащуюся на средства Нины Андреевны Хардиной. Ее отец, присяжный поверенный Хардин, вошел в историю, потому что в годы ссылки в Самару Владимир Ильич Ленин был его помощником, часто бывал у него в доме и дружил с его дочерью Ниной Андреевной. После смерти отца, получив в наследство большую сумму, она построила женскую гимназию. Многие учителя были из ссыльных революционеров, некоторые девочки учились бесплатно, как потом я узнала, их родители были репрессированы царским правительством.

После революции, когда пошли слухи, что Ленин — немецкий шпион, приехал из-за границы в plombированном вагоне и тому подобное, Нина Андреевна вошла к нам в класс и сказала:

— Слушайте, девочки, внимательно. Я не соглас-

на с Лениным по вопросу об Учредительном собрании, но за одно могу ручаться: Ленин абсолютно порядочный человек и не может быть немецким шпионом.

Так я впервые услышала от Нины Андреевны о Ленине.

После Октябрьской революции женские школы были соединены с мужскими, всякое учение прекратилось, начались бурные романы.

В нашей гимназии до седьмого класса (я в 1917 году перешла в 6-й класс) мы остались учиться по-старому.

В Самаре комиссаром просвещения был в то время старый большевик В. А. Тронин, бывший учитель словесности в реальном училище. Он потом женился на моей старшей сестре, и я с ним очень дружила. Он мне рассказал, что Нина Андреевна написала Ленину письмо, где она просила дать ее ученицам с 5-го по 7-й классы возможность окончить гимназию. Ленин прислал В. А. Тронину письмо (которое я потом читала), где он сообщал, что давно не общался с Хардиной, не знает, что из себя представляет ее гимназия, но если Тронин считает, что можно удовлетворить ее просьбу, — ему было бы это приятно. Таким образом я в 1919 году окончила гимназию Хардиной. Когда группа девочек, окончив гимназию, поехала в Москву учиться, Нина Андреевна дала нам письмо к Ленину. С вокзала мы пошли в Кремль и сказали охране, что у нас письмо к Ленину.

Нам велели подождать, письмо передадут. Мы уселись на травку (где теперь Мавзолей) и ждали с полчаса. К нам вышел какой-то молодой человек и сказал:

— Идите в «Националь», вам дадут комнату, а в университет вас примут по дипломам гимназии.

Мы пошли. В «Национале» сначала сказали, что ничего о нас не знают, но в это время зазвонил телефон, и нам объявили, что звонят из секретариата Ленина и нам дадут комнату. Девочки поселились там, а у меня в Москве была тетка, которая ждала меня, и я стала жить у нее. Я училась и работала в Москве.

В 1928 году я вышла замуж за Закгейма, доцента университета.

В 1935 году я взяла к детям няню. Это была работающая, чистоплотная женщина тридцати лет, очень замкнутая. У меня не было привычки внимательно присматриваться к внутренней жизни домработницы. Общее впечатление было, что она туповата, равнодушна, с детьми не очень ласкова, скупа и прижимиста, но исполнительна и честна.

Мы прожили с Марусей бок о бок целый год, были друг другом довольны, и я ничего не знала о ее жизни.

Однажды, во время обеда, Марусе подали письмо. Прочитав его, она изменилась в лице, легла на свою постель и сказала что у нее очень болит голова.

Я почувствовала, что у Маруси случилось горе. Отправив детей гулять и оставшись с Марусей наедине, я стала расспрашивать ее.

Сначала Маруся не отвечала и лежала лицом к стене, а потом села на кровати и хриплым злым голосом закричал:

— Знать хотите, что со мной?! Извольте, только не прогневайтесь. Вот вы говорите, жить у нас хоро-

шо стало. А я вот жила с мужем не хуже вашего, детей у меня было трое, получше ваших. Своим горбом дом наживала, скотину выхаживала, ночи не спала. Муж на все руки был: валенки валял, шубы шил. Дом был полная чаша. Работницу держали, так ведь это не зазорно было, не запрещено! Вот вы же держите работницу, ну и я держала в доме старуху, матери в помощь, а в поле сама спину гнула. Только в тридцатом году зимой поехала я в Москву к сестре, а в это время наших начисто раскулачили, мужа — в лагеря, мать с детьми — в Сибирь. Мать мне письмо прислала — притулись как-нибудь в Москве, может, поможешь чем, а здесь хозяйства никакого, заработать негде, с ребятами в землянке мучаюсь. Ну, я с тех пор по домработницам хожу, что заработаю — все им посылаю, а вот пишут — умерли мои дети...

Она протянула мне письмо. Писала соседка: «От мужика твоего три месяца ничего нет, слышали — канал роет. Дети твои с бабкой жили, все хворали. Землянка сырая, ну и питанья мало. Ну, ничего, жили. Мишка твой с моим Ленькой дружил, хороший парень был. А только начала валить ребят скарлатина, мои тоже все переболели, еле выходила, а твоих бог прибрал. Мать твоя как без ума, не ест, не спит, все стонет, наверное, тоже скоро умрет».

— По-вашему, справедливо это?.. Разорили, угнали... Умерли мои деточки, кровиночки...

В этот вечер я никак не могла дожидаться мужа. Он был доцент университета, биолог, и с моей точки зрения умнее и учение его не было на свете человека.

Страшная тяжесть давила мне сердце. Мир ясный, понятный и благополучный заколебался. Чем же виновата Маруся и ее дети? Неужели наша жизнь, такая чистая, трудовая, ясная, неужели она стоит на страданиях и крови?

Пришел муж, как всегда приятно возбужденный после лекции, с радостным чувством хорошо поработавшего человека перед отдыхом в кругу любимых людей. Дети бросились на него, вскарабкались на спину. Ничего на свете я не любила больше вида своих визжавших от радости ребят, штурмующих широкую спину отца. Но сегодня я, перехватив Марусин мрачный взгляд, вызвала мужа в другую комнату и взволнованно рассказала ему обо всем. Он стал очень серьезен.

— Видишь ли, революция не делается в белых перчатках. Процесс уничтожения кулаков — кровавый и тяжелый, но необходимый процесс. В трагедии Маруси не все так просто, как тебе кажется. За что ее муж попал в лагерь? Трудно поверить, что он так уж невинен. Зря в лагерь не попадают. Подумай, не избавиться ли тебе от Маруси, много темного в ней... Ну, я не настаиваю, — прибавил он, видя, как изменилось мое лицо, — я не настаиваю, может быть, она и хорошая женщина, может быть, в данном случае допущена ошибка. Знаешь, лес рубят — щепки летят.

Тогда я впервые услышала эту фразу, которая принесла так много утешения тем, кто остался в стороне, и так много боли тем, кто попал под топор...

Он еще много говорил об исторической необходимости перестройки деревни, об огромных масштабах

творимого на наших глазах дела, о том, что приходится примириться с жертвами...

(Я потом много раз отмечала, что особенно легко с жертвами примиряются те, кто в число жертв не попал. А вот Маруся никак не хотела примириться...) Я ему поверила. Ведь от меня-то все эти ужасы были за тысячу верст. Ведь я-то жила в своей семье, в мире, который казался непоколебимым. Надо было поверить, чтобы чувствовать себя хорошим и нужным человеком. Да ведь я и привыкла ему верить, он был честен и умен.

А Маруся продолжала нянчить моих детей, хлопотать по хозяйству и только иногда, чистя картошку или штопая чулок, неподвижно глядела в стену, и руки у нее опускались, а у меня в душу закрадывался червь сомнения...

Но я быстро себя успокаивала: лес рубят — щепки летят.

В одну обыкновенную субботу я вошла в свой дом, полная мыслей о том, как я проведу воскресенье, о том, как обрадуется дочка кукле, которую я ей несу, как будет восторгаться сын слоном, которого завтра я ему покажу в зоопарке.

Я всегда говорила, что не обольщаюсь, как другие матери, и вижу недостатки своих детей. Но я лгала. В глубине души я считала, что таких умных, красивых, обаятельных детей, как у меня, не было ни у кого на свете.

Я отворила дверь. Меня поразил чужой запах сапог, табака. Маруся сидела среди полного разгрома и рассказывала детям сказку. Груды книг и рукописей валялись на полу. Шкафы были открыты, и оттуда

торчало всунутое наспех белье. Я ничего не поняла, мне даже в голову не пришло ни одной мысли, только страшное предчувствие несчастья оледенило душу. Маруся встала, загораживая детей, и тихим, странным голосом сказала:

— Ничего, не убивайтесь!

— Где муж, что случилось? Он попал под машину?

— Неужели вы не понимаете? Забрали его.

Нет, со мной, с ним этого ведь не могло случиться! Ходили какие-то слухи (только слухи, ведь это было начало 1936 года), что что-то произошло, какие-то аресты... Но ведь это относилось совсем к другим людям, ведь не могло же это коснуться нас, таких мирных, таких честных людей...

— Как он?

— Сидел бледный, передал часы для вас, сказал, что все выяснится, чтобы вы не волновались. Детям сказал, что уезжает в командировку.

— Да, да, конечно, выяснится! Ведь вы знаете, Маруся, какой он честный, какой он хороший человек!

Маруся горько усмехнулась и посмотрела на меня:

— Эх вы, образованная! А не понимаете! Кто туда попал, не вернется.

Но я верила в справедливость нашего суда. Муж вернется, и этот гнусный запах, этот пустой дом — останутся страшным воспоминанием.

А потом потянулось странное время: дети ничего не знали. Я играла с ними, смеялась, и мне казалось, что ничего не произошло, что мне приснился дурной сон. А когда я выходила на улицу, шла на работу —

я глядела на людей как из-за стеклянной стены, невидимая преграда отделяла меня от них. Они были обыкновенные, а я обреченная. Знакомые говорили со мной особенными голосами, и они боялись меня. Переходили на другую сторону, заметив меня. Были и такие, которые оказывали мне подчеркнутое внимание, но это было геройство с их стороны, и они, и я это знали.

Один старый человек, член партии с 1903 года, пришел ко мне и сказал:

— Устройте свои дела, может быть, вас тоже арестуют. И помните, на вопросы отвечайте, а лишнего не болтайте, каждое лишнее слово повлечет за собой длинный разговор.

— Но ведь он совершенно невинен! Почему вы мне даете такие советы? Вы, большевик! Значит, вы тоже не верите в справедливость нашего суда? Вы недостойны партбилета!

Он посмотрел на меня и сказал:

— Запомните мои слова, а по существу поговорим через год. Я считала ниже своего достоинства прислушиваться к его советам и старалась жить так, как будто ничего не случилось.

В это время проходил съезд стахановцев щетинощетоchnой промышленности. Когда мы съехались в Витебске, оказалось, что работники этой промышленности встретились впервые со дня создания советской власти. Встреча показала, что в Ташкенте изобретают машину, которая уже десять лет работает в Невеле, что технология, принятая в Усть-Сысольске и дающая блестящий эффект, и не снислась минчанам.

Это была веселая, эффективная и благодарная работа. Я была секретарем съезда, работала целыми днями, забывала, что, приехав в Москву, опять попаду в пустую квартиру и опять буду носить передачи в тюрьму...

На другой день после возвращения в Москву за мной пришли. Смешно сейчас вспомнить, но первой мыслью было: все материалы съезда у меня, съезд стоил пятьдесят тысяч рублей. Вся работа в набросках, все пропадет, никто не разберет моих записей.

Пока длился четырехчасовой обыск, я приводила в порядок материалы съезда. Я не могла всерьез осознать, что жизнь моя кончена, и я боялась думать о том, что у меня отнимают детей. Я писала, клеила, приводила в порядок материалы, и, пока я писала, мне казалось, что ничего не случилось, что я кончу работу и передам ее, а потом мой нарком мне скажет: «Молодец, вы не растерялись, не придали значения этому недоразумению!» Я сама не знаю, о чем я в это время думала, инерция работы, а может быть, смятение от испуга были так велики, что я трудилась четыре часа точно и эффективно, как у себя в кабинете наркомата.

Проводивший обыск следователь, наконец, надомной сжалился: — Вы бы лучше простились с детьми! — сказал он.

Да... проститься с детьми... Ведь я расстаюсь с ними. Может быть, надолго... Нет. Это выяснится, этого не может быть...

Я вошла в детскую. Сын сидел в постельке. Я ему сказала: — Я уезжаю в командировку, сыночек, оставайся с Марусей, будь умным.

Губки его искривились:

— Как странно! То папа уехал в командировку, теперь ты уезжаешь, а вдруг уедет и Маруся — с кем же мы останемся?

Я поцеловала его худенькую ножку.

Дочка сладко спала и посапывала, уткнувшись носом в подушку. Я ее перевернула. Она засмеялась и что-то пролепетала.

Первый раз в жизни я поняла, что это значит, когда слезы душат. Я никак не могла вздохнуть, но до сих пор с гордостью вспоминаю, что не показала сыну своего горя.

Мы вышли из дома.

Закрылась дверь. Сели в машину. Сразу кончилась жизнь обыкновенная, человеческая, жизнь жены, дочери, матери, работника. Иногда мелькали в мозгу по инерции какие-то заботы... Что-то недоделано, что-то надо исправить... Я хотела замазать окно. Дует. Сын простудится... Нет, не то. Что-то важное. Мама! Я все скрывала от нее опасность, которая надо мной нависла. Я ее утешала выдуманными сведениями о муже. Теперь она узнает...

Я не обняла ее, когда прощалась в последний раз, все откладывала разговор с ней, чтобы подготовить ее... Нет, не это самое главное. Что-то я недоделала... Я хотела идти к Сталину, добиться свидания с ним, объяснить ему, что муж мой невинен... Нет, не то... Что-то я еще не сделала...

Все. Отрезано прошлое. Я одна против огромной машины, страшной злой машины, которая хочет меня уничтожить.

Камера была огромная, сводчатые стены в подте-

ках, по обе стороны узкого прохода сплошные нары, забитые телами, на веревках сушились какие-то тряпки. Все заволакивал махорочный дым. Было шумно, кто-то ссорился и кричал, кто-то плакал в голос.

Я растерянно остановилась со своим чемоданом и узлом. Подошла беременная женщина, староста камеры.

— Не бойтесь, — сказала она. — Здесь почти все политические, как и вы. Я сама ткачиха с Трехгорки, Катя Николаева.

Мы поздоровались за руку.

— Лечь придется к параше, здесь такое правило для новеньких.

В углу стояла огромная деревянная вонючая параша. Около нее на нарах было свободное место. Я уже хотела устраиваться, когда заметила в противоположном углу камеры около окна два свободных места по обе стороны спящей женщины с длинными черными косами.

— А можно, я лягу около окна? — спросила я Катю.

Катя как-то замялась, но ответила:

— Ну что же, ложитесь, только соседка там не очень хорошая.

Я подошла к окну и легла.

Соседка моя, Аня, видно, была мне рада. В это время принесли кипяток. У меня был сахар, печенье; я ее угостила. И начала расспрашивать о людях, лежавших на нарах, и Аня о каждом говорила что-нибудь очень плохое. По ее мнению, камера эта была сборищем преступников. Вдруг я заметила на проти-

воположных нарах Женю Быховскую. За четыре месяца, что мы провели вместе, я успела ее полюбить, и от прежнего моего убеждения, что она шпионка, ничего не осталось.

— А знаете ли вы эту женщину? — спросила я у Ани.

— О, это подлая шпионка, такую я убила бы собственными руками.

После этого разговора я подошла к Жене, она по близорукости меня раньше не заметила, а когда узнала — расцеловала и пустила спать с собой. Я молча перенесла вещи от Ани и легла рядом с Женей. Аня злобно посмотрела на меня и осталась опять одна на трех местах.

— Что это за человек? — спросила я у Жени.

— Это бывшая жена Карева, он профессор, очень интересный человек. Он ее оставил и последние годы жил в Ленинграде. И тогда она из мести написала на него заявление, что он скрытый троцкист и двурушник. Его посадили, а заодно и ее за то, что раньше не сообщила о его грехах. Сейчас она пишет заявления на всех в камере, и с ней никто не разговаривает.

— Вас перевели сюда, значит, дело ваше конечно. Жаль. Я надеялась, что вас отпустят. Теперь ждите приговора. Для себя я меньше десяти лет не жду. Ну, у вас дело проще, наверное, отделаетесь пятеркой.

Когда Женя позвала меня лечь рядом с собой, соседка ее Мотя, встретила меня приветливо. Она отнесла двух своих соседок, Нину и Валю, приговаривая:

— Ничего, в тесноте, да не в обиде, видите, подружки встретились.

Благодаря Мотиному заступничеству образовалась щель сантиметров в сорок, куда я и влезла. Этого мне было вполне достаточно, но одно меня смущало: лежали мы как селедки, голова к голове, а на щеках у Моти были какие-то страшные черные пятна, вызывающие невольную брезгливость. Хотя Женья мне сказала, что они не заразные, я невольно старалась закрыть платком лицо. Мотя это заметила.

— Вы не бойтесь, — сказала она мне, — я не заразная, это я отморозила щеки.

Однажды на прогулке ко мне подошел уголовник, убиравший двор, и шепнул:

— Ягода арестован, на его месте Ежов.

Я принесла эту весть в камеру, и какие надежды она возбудила! Как все начали ждать, что нас отпустят на волю!

Но время шло, люди получали приговоры еще более тяжелые. Те категории, которые при Ягоде получали три — пять лет, стали получать 10—12. Начали говорить про приговоры в 25 лет.

Постепенно оптимисты замолчали, и жизнь пошла по-прежнему. Однажды утром открылась дверь и ввели в камеру молодую женщину. Ее звали редким именем — Лира.

Лира вошла уверенно, осмотрелась острым взглядом и прямо направилась к Ане.

Кто-то хотел ее предупредить насчет Ани, но Лира самоуверенно сказала:

— А мне она нравится.

Три дня новые подружки разговаривали целыми

днями. У Леры было много вкусных вещей, и она щедро делилась с Аней. Они смеялись, шептались. Аня просто ожила: наконец-то нашелся человек, который ее оценил.

А через три дня Лера собрала свои вещи и перешла на освободившееся место неподалеку от нас с Женей.

Она встала на нары, стройная, красивая, задорная, и через всю камеру звонким голосом сказала Ане:

— Имейте в виду, что я провела с вами три дня, чтобы узнать, какие гадости вы писали о моем дорогом Кареве, который имел несчастье быть когда-то вашим мужем. Вы донесли на него из ревности! О, вы были правы, он изменил вам, изменил со мной! Ах, как он любил меня! Какой он был чудесный! Хоть я и попала из-за него в тюрьму, я не жалею, что встретила его.

Аня бросилась, как кошка, на Леру, но ее задержали, и она как-то захрипела, зарычала, не в силах произнести ни слова.

А Лера подбоченилась, смеялась и даже пританцовывала.

— О, он тоже не жалеет, что бросил вас! Лучше погибнуть в тюрьме, чем жить с такой злой кошкой! А меня он любил целых три года, и мы были счастливы.

Аня так бросалась и билась, что ее увели в больницу. Через три дня она пришла еще более мрачная и целыми днями лежала, зажав уши и закрыв глаза.

...Был вечер шестого ноября 1936 года.

В нашу переполненную камеру вводили и вводили

ли новых арестованных. Лежали на столах, на полу под нарами в проходе.

Большинство входило со стандартными словами: «Я тут с краешку. Меня арестовали по ошибке и должны скоро отпустить. Это недоразумение».

На эти слова никто уже не обращал внимания, каждый был занят собой.

Женщину с огромным животом, вероятно на девятом месяце, пустили, потеснившись, на нары. Дали кто платок, кто пальто, чтобы устроить ее помягче. Она лежала с темным лицом и смотрела в одну точку. Часов в двенадцать ночи она начала стонать, кусать руки. Начались роды, ее увели в больницу.

Это на всех произвело тяжелое впечатление: ведь почти все мы были матерями, представляли себе, как тяжело рожать в таких условиях.

А в два часа ночи открылась дверь и шумно вошла женщина лет тридцати пяти в открытом легком розовом платье, с красивой прической и каким-то цветком в волосах.

Женщина громко рыдала и непрерывно говорила. Из слов мы поняли, что первый ее муж был троцкист, он исчез с ее горизонта девять лет тому назад, оставив ей сына Левочку. Сын был хроменький, слабый ребенок. Девять лет она ждала мужа, за другого боялась выйти замуж, как бы он не обижал убогого Левочку.

Наконец она решилась выйти замуж, пятого ноября переехала к новому мужу, а шестого ноября ее взяли прямо из-за свадебного стола.

Она рассказывала, плакала и непрерывно кричала:

— Левочка мой, Левочка!

Мы уже были взвинчены тем, что завтра праздник, что приводят все новых и новых людей, что у нас в камере начались роды. А тут еще эта невеста в розовом платье с цветами в волосах, кричащая: «Левочка мой, Левочка!»

Вдруг в одном углу забились в истерику женщина, запричитала:

— Мой Юра, Юра мой!

И понеслось:

— Ирочка моя!

— Мой Мишенька!

Половина камеры билась в истерику. Я закрылась с головой платком и испытывала почти непреодолимое желание тоже закричать: «Мой Шурик, моя Эллочка!»

Но я закусила до крови руку, зажала уши, закрыла глаза. Рядом со мной Женя Быховская дрожала крупной дрожью и тоже молчала. Мы прижались друг к другу.

Открылась дверь, надзиратели кричали, растаскивали бьющихся в истерику женщин — кого в карцер, кого в больницу, кого в пустую камеру. Через два часа все стихло, все лежали молча.

Моя мать ходила, обивала пороги везде, где, ей казалось, могли мне помочь. Кто-то надумал ее пойти к Крупской. Мама пошла к Надежде Константиновне и, увидев ее доброе лицо, начала плакать. Она уже привыкла просить, умолять холодных чиновников, а тут, рассказывает мама, старая грустная, уставшая женщина. «Ну, — думаю, — если кто поймет, то она. Я ей говорю: «Пусть разберутся в деле моей дочери, головой вам ручаюсь, невиновна она! Двое детей осталось, четырех и шести лет, вот карточки, посмотрите! Разве мож-

но у матери детей отнимать! Какая она может быть преступница — работала она, а дома детей с рук не спускала, минуты без них не могла. Из дому нельзя было выгнать, от детей на вечер оторвать. Мать она, поймите!» А сама плачу — слезы льются рекой.

Надежда Константиновна мне говорит: «Успокойтесь, мамаша, не плачьте! К сожалению, в деле вашей дочери я помочь не могу, а вот внуков, если желаете, устроим в хороший детский дом...»

А я ей ответила: «Не могу поверить, чтобы жена Ленина не могла добиться, чтобы дело справедливо рассмотрели. Внуков, если у вас есть, отдавайте в детский дом. А я простая женщина, своих внуков сама воспитаю. Полы мыть пойду, дети сыты будут». Повернулась и хотела уйти. Взглянула на нее гордо — а у нее слезы по щекам бегут. И так мне жалко ее стало, поняла я, что она страдает, а сделать ничего не может.

— До свидания, Надежда Константиновна, — сказала я.

— До свидания, будьте мужественны, — сказала она.

И я подумала, что ей так же горько, как мне. Так я и ушла.

Моя родственница, добрая и хорошая женщина, рассказала мне:

— Ты знаешь, самым лучшим в нашей жизни был наш первый год в Ленинграде. (Я прикинула: это был 1939 год.) Мы так весело проводили время, каждый день танцевали, было такое хорошее общество...

Она хорошо ко мне относилась, даже любила меня. Но я уже три года была в тюрьме. Не могла же

она надеть траур. Я не обиделась, но я вспомнила один сон, который я видела как раз в этом году.

Мне снился сон. Я бежала по снегу, а за мной гнались собаки. Это была травля. Я была крестьянская женщина, и мои хозяева травили меня собаками. Я бежала без надежды, сил не было. Вокруг было мертвое снежное поле. Вдали чернел лес. А справа от меня стояли трибуны, и с них мой хозяин и его гости наблюдали травлю. Среди гостей я увидела двоих своих братьев. Они были опечалены, но прилично спокойны.

Один брат показал другому часы, и я поняла, что он сказал: «Она продержится еще полчаса».

В камеру входит худенькая девочка с косичками и тоненькими, как палочки, ножками. На вид ей лет 16—17. Девочка оглядывается и направляется в мою сторону. Я стремительно отворачиваюсь и иду прочь от нее. Нет, это не по моим нервам. Я не в силах смотреть в ее детские глаза, из которых непрерывно льются слезы. Целый день я ее избегаю, но вечером я обнаруживаю, что она устроилась на койке рядом со мной. Она лежит на койке, неумело курит и плачет. Худенькие цыплячьи плечи вздрагивают. Нельзя не заговорить с ней. Ее зовут Валя. Сегодня день ее рождения, ей 20 лет. Несложная повесть:

— Мне было 7 лет, когда арестовали отца. Мама была в таком отчаянии, что я и тетя сторожили ее, чтобы она не выбросилась из окна. Она всем делилась со мной, хотя мне было всего 7 лет. Она без конца говорила о том, какой папа хороший, как его мучают, как страшно жить. Потом арестовали маму. Меня взяла тетя. Я должна была говорить, что мои

папа и мама умерли. Наверное, меня запугала тетя, я не помню. Я только чувствовала, что, если узнают, что мои папа и мама в тюрьме, произойдет что-то ужасное. Может быть, меня будут бить, ругать, со мной никто не захочет играть. Мне всегда хотелось учиться лучше всех, быть лучше всех, тогда я «докажу». Что? Не знаю, но надо что-то доказать, чтобы не бояться всех, не чувствовать себя угнетенной. Я окончила десять классов.

Поступила в институт. А потом я полюбила. У него тоже были репрессированы родители, он тоже скрывал это от всех, но друг с другом-то мы были откровенны. Он любил меня и восхищался мной, и все, что на мне лежало позором, стало достоинством в его глазах... Я любила. И теперь все, все кончено?!

Боже, как мне было жаль Валю! Как мне было жаль всех этих девочек, которые уже не верят в справедливость, не видят ни малейшего проблеска в черной бездне, куда их толкает непонятная им злая сила.

Постепенно моя койка превращается в девичий клуб. Мне очень страшно заработать вместо ссылки лагерь, но я не в силах удержаться и не утешать моих девочек. Я ругаю себя, даю себе слово быть сдержанной, а потом то одной, то другой говорю слова, которые, если узнает о них следователь, обеспечат мне 10 лет лагеря.

— Безумные девочки, — говорю я, — вы считаете, что ваша жизнь кончена. Вам по 20 лет. Через пять лет «его» не будет, а вам будет по 25 лет, и вы будете жить и жить.

Девочки хором отвечают мне:

— Вы невероятный оптимист. Как вы не видите, что дело не в одной личности, а в системе? Уйдет он, останутся его соратники. Вы, что ли, будете выбирать новое правительство?

— Это противоестественно и длиться долго не может! — говорю я.

— Так вы и наши родители, вероятно, думали и в 1937 году, но с тех пор прошло 12 лет, а все длится!

Довод внешне убедителен, но я всем своим существом знаю, что так не будет. Знаю, потому что на воле я не встретила ни одного человека с ненадтреснутой верой в справедливость, с цельным мировоззрением. Знаю, потому что вижу разницу между обитателями этой камеры в 1936 году и набора 1949 года. Я помню, как у всех, и у меня в том числе, была вера в непогрешимость советской власти, советского суда, вера, которая заставляла иных оговаривать себя, потому что легче было обвинить себя, чем нашу советскую власть, а в особенности — Сталина, имя которого было синонимом революции, истины, справедливости.

Я люблю этих девочек с их ясными глазами, которые скоро обретут тусклый, безнадежный тюремный взгляд. Я люблю их до острой боли сердца. Я гляжу на них и представляю себе свою дочь, которая тоже, может быть, сейчас мечется в безумном страхе на тюремных нарах и ищет в глазах старших поддержки и утешения. И всей силой материнской любви я хочу влить в них бодрость и веру в жизнь, в человека. Я говорю им, что жизнь их не кончена, что много юношей и девушек, которые сейчас живут в роскошных квартирах и отцы которых творят это

черное дело, позавидуют нашим бедным детям со страшными анкетами, детям, запертым в тюрьмы, гонимым с учебы, из комсомола, из общества.

Юные скептики из моего девичьего клуба иронизируют надо мной, и я получаю прозвище «уникальный оптимист» а потом, ночью, то одна, то другая пробирается ко мне под одеяло, прижимается ко мне своим худеньким телом, плачет и требует, чтобы я ей поклялась, что я не утешаю ее, а твердо верю, что она будет еще жить! Ей так хочется жить!

Они требуют, чтобы я заверила их, что можно в страшной предстоящей им жизни сохранить чистоту, встретить настоящую любовь, и я клянусь им, что они будут жить, и ласкаю их, как свою дочь, и прижимаюсь к ним, и говорю им, что самое главное — это пройти эту бездну, сохранив себя, не потеряв к себе уважения.

Мне рассказывают про сына расстрелянного большевика. Мальчик был завербован МГБ. Он вращался в среде детей, у которых так же, как и у него, были репрессированы родители, доносил о каждом слове недовольства, о каждом недоуменном вопросе, который возникал в кругу молодежи. По его доносам было арестовано много его товарищей.

Мать мальчика я знала по Колыме. Это была чудесна честная женщина, прекрасный товарищ. Она много рассказывала о своем единственном сыне, о его исключительной доброте, блестящих способностях, честности. И вот он сыграл такую страшную роль, написанную для него людьми, которым он поверил.

Он, наверное, делал это, стараясь доказать, что он выше личной уязвленности, что он, как Павлик

Морозов, готов уничтожить своего отца и мать во имя коммунизма. Бедняга. Он верил, что делает это во имя коммунизма. Его обманули. И вот он мечется сейчас на тюремных нарах и предпочел бы быть обезглавленным, чем подтверждать на очных ставках, что Шура сказал, что его отца расстреляли несправедливо, а Петя сказал, что в колхозах плохо жить, а Маня сказала, что в университет не принимают евреев.

Я жадно расспрашиваю своих девочек, какой он, этот мальчик? Как это ни странно, они к нему очень снисходительны; общее мнение, что он хороший, но «розовый идиот».

Этот термин в устах моих юных собеседниц, считающих себя очень умными, обозначает наивных ребят, верящих каждому лозунгу и печатному слову.

Он «розовый идиот»... Но мой сын тоже «розовый идиот». Я боялась раскрыть ему глаза. Я боялась его юной честности и горячности и, может быть, уготовила ему такую же судьбу... Мне страшно. Я молю бога, в которого не верю, чтобы он был такой же, как сидящая рядом со мной маленькая Валя, которую все ругают за то, что она «режет правду» в глаза следователю и говорит, что с подлецами разговаривать не собирается.

Она чувствует себя героиней, хотя ужасно боится темного карцера с крысами, где побывала за свои геройские поступки уже три раза, хотя плачет горькими слезами при мысли, что все подруги пойдут в ссылку, а ей за плохое поведение следователь обещал лагерь.

Я тоже ругаю ее и требую, чтобы она вела себя

дипломатично и вежливо. Но я люблюсь ею и хочу, чтобы мой сын был такой же, как она.

Трудно поверить, что эти четыре месяца в Бутырской тюрьме в 1949 году остались в моей памяти как светлое время. Я жила на таком подъеме, так напряжены были все силы души. Я так чувствовала себя нужной. Девочки липли ко мне, как цыплята к клушке. Я старалась вести себя так, чтобы видели, что можно пройти Колымский лагерь и остаться человеком. В эту тьму я принесла им немного света.

Потом я не была такой.

Я была унылой и сотни раз теряла веру в жизнь и людей, но я уже знала, что в моей душе есть сила и эта сила нужна людям. Это сознание освещало мой путь.

«ТВОЯ ВЕРНАЯ СОБАКА»

Лев Троцкий безумно любил свою вторую жену Наталью Ивановну Седову. «Твоя верная собака», — так подписался он под одним из писем к ней. В дневниках Троцкого многие страницы посвящены Наталье.

Вот запись, которая относится к 1935 году:

«Сегодня гуляли — поднимались в гору... Н. устала и неожиданно села, побледневшая, на сухие листья (земля еще сыровата). Она прекрасно ходит и сейчас еще, — не уставая, и походка у нее совсем молодая, как и вся фигура. Но за последние месяцы сердце иногда дает себя знать, она слишком много

работает, со страстью (как все, что она делает), и сегодня это сказалось при крутом подъеме в гору. Н. села сразу, видно, что дальше не могла, и улыбнулась виноватой улыбкой. Как мне стало жаль молодости, ее молодости... Из парижской оперы ночью мы бежали, держась за руки, к себе на rue Cassendi, 46, au pas gymnastique... это было в 1903 году... нам было вдвоем 46 лет, — Н. была, пожалуй, неутомимее. Однажды мы целой группой гуляли где-то на окраине Парижа, подошли к мосту. Крутой цементный бык спускался с большой высоты. Два небольших мальчика перелезли на быка через парапет моста и смотрели сверху на прохожих. Н. неожиданно подошла к ним по крутому и гладкому скату быка. Я обомлел. Мне казалось, что подняться невозможно. Но она шла на высоких каблуках своей гармоничной походкой, с улыбкой на лице, обращенном к мальчикам. Те с интересом ждали ее. Мы все остановились в волнении. Не глядя на нас, Н. поднялась вверх, поговорила с детьми и так же спустилась, не сделав, на вид, ни одного лишнего усилия и ни одного неверного движения... Была весна и так же ярко светило солнце, как и сегодня, когда Н. неожиданно села на траву...

«Против этого нет сейчас никаких средств», — писал Энгельс о старости и смерти. По этой неумолимой дуге, меж рождением и могилой, располагаются все события и переживания жизни. Эта дуга и составляет жизнь. Без этой дуги не было бы не только старости, но и юности. Старость «нужна», потому что в ней опыт и мудрость. Молодость, в конце концов, потому так и прекрасна, что есть старость и смерть».

Наталья Седова была авторитетом для Троцкого. Кроме всего прочего, она тоже писала. Например, о высылке в Центральную Азию: «16 января 1928 года, с утра упаковка вещей. У меня повышена температура, кружится голова от жара и слабости — в хаосе только что перевезенных из Кремля вещей и вещей, которые укладываются для отправки с нами. Затор мебели, ящиков, белья, книг и бесконечных посетителей — друзей, приходивших проститься.

Ф. А. Гетье, наш врач и друг, наивно советовал отсрочить отъезд ввиду моей простуды. Он себе неясно представлял, что означает наша поездка и что значит теперь отсрочка. Мы надеялись, что в вагоне я скорей оправлюсь, так как дома, в условиях «последних дней» перед отъездом, скоро не выздороветь. В глазах мелькают все новые и новые лица, много таких, которых я вижу первый раз. Обнимают, жмут руки, выражают сочувствие и пожелания... Хаос увеличивается приносимыми цветами, книгами, конфетами, теплой одеждой и пр. Последний день хлопот, напряжения, возбуждения подходит к концу. Вещи увезены на вокзал. Друзья отправились туда же.

Сидим в столовой всей семьей, готовые к отъезду, ждем агентов ГПУ. Смотрим на часы... девять... девять с половиной... Никого нет... Десять. Это время отхода поезда. Что случилось? Отменили? Звонок телефона. Из ГПУ сообщают, что отъезд наш отложен, причин не объясняют. Надолго? — спрашивает Л. Д. — На два дня, — отвечают ему, — отъезд послезавтра.

Через полчаса прибегают вестники с вокзала, сперва молодежь, затем Раковский и другие. На вок-

зале была огромная демонстрация. Ждали. Кричали «Да здравствует Троцкий». Но Троцкого не видно. Где он? У вагона, назначенного для нас, бурная толпа. Молодые друзья выставили на крыше вагона большой портрет Л. Д. Его встретили восторженными «ура». Поезд дрогнул. Один, другой толчок... поднялся вперед и внезапно остановился. Демонстранты забегали вперед паровоза, цеплялись за вагоны и останавливали поезд, требуя Троцкого. В толпе прошел слух, будто агенты ГПУ провели Л. Д. в вагон незаметно и препятствуют ему показаться провожающим.

Волнение на вокзале было неопишемое. Пошли столкновения с милицией и агентами ГПУ, были пострадавшие с той и другой стороны, произведены были аресты. Поезд задержали часа на полтора. Через некоторое время с вокзала привезли обратно наш багаж. Долго еще раздавались телефонные звонки друзей, желавших убедиться, что мы дома, и сообщавшие о событиях на вокзале.

Далеко за полночь мы отправились спать. После волнений последних дней проспали до 11 часов утра. Звонков не было. Все было тихо. Жена старшего сына ушла на службу: ведь еще два дня впереди. Но едва успели позавтракать, раздался звонок — пришла Ф. В. Белобородова... потом М. М. Иоффе. Еще звонок — и вся квартира заполнилась агентами ГПУ в штатском и в форме. Л. Д. вручили ордер на арест и немедленную отправку под конвоем в Алма-Ату. А два дня, о которых ГПУ сообщило накануне? Опять обман! Эта военная хитрость была применена, чтобы избежать новой демонстрации при отправке. Звонки по телефону непрерывны. Но у телефона стоит агент

и с довольно добродушным видом мешает отвечать. Лишь благодаря случайности удалось передать Белобородову, что у нас засада, и что нас увозят силой.

Позже нам сообщили, что «политическое руководство» отправкой Л. Д. возложено было на Бухарина. Это вполне в духе сталинских махинаций... Агенты заметно волновались. Л. Д. отказался добровольно ехать. Он воспользовался предложением, чтобы внести в положение полную ясность. Дело в том, что Политбюро старалось придать ссылке по крайней мере наиболее видных оппозиционеров видимость добровольного соглашения. В этом духе ссылка избражалась перед рабочими. Надо было разбить эту легенду и показать то, что есть, притом в такой форме, чтобы нельзя было ни замолчать, ни исказить. Отсюда возникло решение Л. Д. заставить противников открыто применить насилие.

Мы заперлись вместе с двумя нашими гостями в одной комнате. С агентами ГПУ переговоры велись через запертую дверь. Они не знали, как быть, колебались, вступили в разговоры со своим начальством по телефону, затем получили инструкции и заявили, что будут ломать дверь, так как должны выполнить приказание. Л. Д. тем временем диктовал инструкцию о дальнейшем поведении оппозиции.

Мы не открывали. Раздался удар молотка, стекло двери превратилось в осколки, просунулась рука в форменном обшлаге. «Стреляйте в меня, т. Троцкий, стреляйте», — суетливо-взволнованно повторял Кишкин, бывший офицер, не раз сопровождавший Л. Д. в поездках по фронту. — «Не говорите вздора, Кишкин», — отвечал ему спокойно Л. Д., — никто в вас

не собирается стрелять, делайте свое дело». Дверь отперли и вошли, взволнованные и растерянные. Увидя, что Л. Д. в комнатных туфлях, агенты разыскали его ботинки и стали надевать их ему на ноги. Отыскали шубу, шапку... надели. Л. Д. отказался идти. Они его взяли на руки. Мы поспешили за ними. Я накинула шубу, боты... Дверь за мной сразу захлопнулась. За дверью шум. Криком останавливаю конвой, несший Л. Д. по лестнице и требую, чтобы пропустили сыновей: старший должен ехать с нами в ссылку. Дверь распахнулась, оттуда выскочили сыновья, а также обе наши гости, Белобородова и Иоффе. Все они прорвались силой. Сережа применил свои приемы спортсмена.

Спускаясь с лестницы, Лева звонит во все двери и кричит: «Несут т. Троцкого». Испуганные лица мелькают в дверях квартир и по лестнице. В этом доме живут только видные советские работники. Автомобиль набили битком. С трудом вошли ноги Сережи. С нами и Белобородов. Едем по улицам Москвы. Сильный мороз. Сережа без шапки, не успел в спешке захватить ее, все без галош, без перчаток, ни одного чемодана, нет даже ручной сумки, все совсем налегке. Везут нас не на Казанский вокзал, а куда-то в другом направлении, — оказывается, на Ярославский. Сережа делает попытку выскочить из автомобиля, чтобы забежать на службу к невестке и сообщить ей, что нас увозят. Агенты крепко схватили Сережу за руки и обратились к Л. Д. с просьбой уговорить его не выскакивать из автомобиля. Прибыли на совершенно пустой вокзал. Агенты понесли Л. Д., как и из квартиры, на руках.

Лева кричит одиноким железнодорожным рабочим: «Товарищи, смотрите, как несут т. Троцкого». Его схватил за воротник агент ГПУ, некогда сопровождавший Л. Д. во время охотничьих поездок. «Ишь, шпингалет», — воскликнул он нагло. Сережа ответил ему пощечиной опытного гимнаста.

Мы в вагоне. У окон нашего купе и у дверей конвой. Остальные купе заняты агентами ГПУ. Куда едем? Не знаем. Вещей нам не доставили. Паровоз с одним нашим вагоном двинулся. Было 2 часа дня. Оказалось, что окружным путем мы направлялись к маленькой станции, где нас должны были прицепить к почтовому поезду, вышедшему из Москвы, с Казанского вокзала, на Ташкент.

В пять часов мы простились с Сережей и Белобородовой, которые должны были со встречным поездом вернуться в Москву. Мы продолжали путь. Меня лихорадило. Л. Д. был настроен бодро, почти весело. Положение определилось. Общая атмосфера стала спокойней. Конвой предупредителен и вежлив. Нам было сообщено, что багаж наш идет со следующим поездом и что во Фрунзе (конец нашего железнодорожного пути) он нас нагонит — это значит на девятый день нашего путешествия. Едем без белья и без книг. А с каким вниманием и любовью Сермукс и Познанский укладывали книги, тщательно подбирая их — одни для дороги, другие для занятий на первое время, — как аккуратно Сермукс уложил письменные принадлежности для Л. Д., в качестве стенографа и секретаря. Л. Д. в дороге всегда работал с утроенной энергией, пользуясь отсутствием телефона и посетителей, и главная тяжесть этой рабо-

ты ложилась сперва на Глазмана, потом на Сермукса.

Мы оказались на этот раз в дальнем путешествии без единой книги, без карандаша и листа бумаги. Сережа перед отъездом достал для нас Семенова-Тян-Шаньского — научный труд о Туркестанском крае, — в дороге мы собирались ознакомиться с нашим будущим местожительством, которое мы представляли себе лишь приблизительно. Но и Семенов-Тян-Шаньский остался в чемодане вместе с другими вещами в Москве. Мы сидели в вагоне на легке, точно переезжали из одной части города в другую. К вечеру вытянулись на скамьях, опираясь головами на подлокотники. У приоткрытых дверей купе дежурили часовые.

Что нас ожидало дальше? Какой характер примет наше путешествие? А ссылка? В каких условиях мы там окажемся? Начало не предвещало ничего хорошего. Тем не менее мы чувствовали себя спокойно. Тихо покачивался вагон. Мы лежали, вытянувшись на скамьях. Приоткрытая дверь напоминала о тюремном положении. Мы устали от неожиданностей, неопределенности, напряжения последних дней и теперь отдыхали.

В вагоне было тихо. Конвой молчал. Мне нездоровилось. Л. Д. всячески старался облегчить мое положение, но он ничем не располагал, кроме бодрого, ласкового настроения, которое сообщалось и мне. Мы перестали замечать окружающую обстановку и наслаждались покоем. Лева был в соседнем купе. В Москве он был полностью погружен в работу оппозиции. Теперь он отправился с нами в ссылку, чтобы

облегчить наше положение и не успел даже проститься с женой. С этих пор он стал нашей единственной связью с внешним миром. В вагоне было почти темно, стеариновые свечи горели тускло над дверью. Мы продвигались на восток.

Чем дальше от Москвы, тем предупредительнее становился конвой. В Самаре закупили для нас смену белья, мыло, зубной порошок, щетки и пр. Питались мы обедами, которые заказывались для нас и для конвоя в вокзальных ресторанах. Л. Д., который всегда вынужден придерживаться строгой диеты, теперь весело ел все, что подавали, и подбадривал нас слевой. Я с удивлением и страхом следила за ним. Закупленные в Самаре для нас вещи получили в нашем обиходе особые имена: полотенце имени Менжинского, носки имени Ягоды (это заместитель Менжинского) и пр. Снабженные этими именами вещи получали более веселый характер. Вследствие заносов поезд шел с большим опозданием. Но все же мы день за днем углублялись в Азию.

Перед отъездом Л. Д. требовал, чтоб ему дали взять с собой двух своих старых сотрудников. Ему отказали. Тогда Сермукс и Познанский решили ехать самостоятельно, в одном с нами поезде. Они заняли места в другом вагоне, были свидетелями демонстрации, но не покидали своих мест, предполагая, что с этим же поездом едем и мы. Через некоторое время они обнаружили наше отсутствие, высадились в Арыси и поджидали нас со следующим поездом. Тут мы и настигли их. Виделся с ними только Лева, пользовавшийся некоторой свободой передвижения, но горячо радовались мы все. Вот запись сына, сде-

ланная тогда же: «Утром направляюсь на станцию, авось найду товарищей, о судьбе которых мы всю дорогу много говорим и беспокоимся. И действительно: оба они тут как тут, сидят в буфете за столиком, играют в шахматы. Трудно описать мою радость. Даю им понять, чтобы не подходили: после моего появления в буфете начинается, как всегда, усиленное движение агентов. Тороплюсь в вагон сообщить открытие. Общая радость. Даже Л. Д. трудно сердиться на них: а между тем они нарушили инструкцию и вместо того, чтобы ехать дальше, ожидают на виду у всех: лишний риск. Договорившись с Л. Д., составляю для них записку, которою думаю передать, когда стемнеет. Инструкция такова: Познанскому отделиться, ехать в Ташкент немедленно и там дожидаться сигнала. Сермуксу ехать в Алма-Ату, не вступая в общение с нами. Сермуксу я успел на ходу назначить свидание за вокзалом, в укромном месте, где нет фонарей. Познанский является туда, сразу не находим друг друга, волнуемся, встретившись, торопимся, перебиваем друг друга. Я говорю: «Ломали дверь, тащили на руках». Он не понимает, кто ломал, зачем тащили. Растолковывать некогда, могут нас открыть. Свидание, в общем, не дало ничего...»

После открытия, сделанного сыном в Арыси, ехали дальше с сознанием, что в этом же поезде есть верный друг. Это было отрадно. На десятый день мы получили наш багаж и поспешили вынуть Семенова-Тян-Шаньского. Читаем с интересом о природе, населении, яблочных садах; главное, там великолепная охота. Л. Д. с удовольствием открывает письменные принадлежности, уложенные Сермуксом.

Во Фрунзе (Пишпек) приехали рано утром. Это последняя железнодорожная станция. Стоял сильный мороз. Белый, чистый, вкусный снег, облитый солнечными лучами, слепил глаза. Нам принесли валенки и тулупы. Я задышалась от тяжести одежды, и тем не менее в пути было холодно. Автобус двигался медленно по скрипучему снежному накату, ветер колол лицо. Проехавши тридцать километров, остановились. Темно. Казалось, что стоим среди снежной пустыни. Двое конвойных (сопровождало нас двенадцать—пятнадцать человек) подошли к нам и со смущением предупредили, что ночевка «неважная». С трудом высадились и, нащупывая в темноте порог почтовой станции и низкую дверь, вошли внутрь и с удовольствием освободились от тулупов. В избе, однако, холодно, не топлено, маленькие окошечки промерзли насквозь. В углу большая русская печь, увы, холодная, как лед. Согревались чаем. Закусили. Разговорились с хозяйкой станции, казачкой. Л. Д. подробно расспрашивал ее о житье-бытье и попутно об охоте. Все любопытно, а главное — неизвестно, чем окончится. Начали укладываться спать. Конвой разместился по соседству. Лева устроился на скамье. Мы с Л. Д. легли на большом столе, подостлав под себя тулупы. Когда окончательно улеглись в темной холодной комнате с низким потолком, я громко рассмеялась: «Совсем не похоже на кремлевскую квартиру!» Л. Д. и Лева меня дружно поддержали.

С рассветом двинулись дальше. Предстояла труднейшая часть пути. Переправа через хребет Курдай. Жестокий холод. Невыносимая тяжесть одежды, точно стена на тебя навалилась. На новой

остановке разговаривали за чаем с шофером и агентом ГПУ, прибывшим навстречу из Алма-Аты. Перед нами постепенно кое-что открывалось... частица за частицей неизвестной нам жизни. Дорога для автомобиля была трудная, накат дороги часто перекрывался полосами наносного снега. Шофер управлял машиной ловко, знал хорошо свойства дороги, согревался водкой. Мороз к ночи делался все сильней и сильней. Сознывая, что все от него зависит в этой снежной пустыне, шофер отводил душу довольно бесцеремонной критикой начальства и порядков... Алма-атинское начальство, сидевшее с ним рядом, даже заискивало: только бы довез.

В третьем часу ночи в полной темноте машина остановилась. Приехали. Куда? Оказалось, на улице Гоголя, в гостиницу «Джетысу», меблированные номера, действительно, времени Гоголя. Нам отвели две комнатки. Соседние номера были заняты конвоем и местными агентами ГПУ. Лева проверил багаж, — оказалось, нет двух чемоданов с бельем и книгами, остались где-то в снегах. Увы, снова мы без Семенова-Тян-Шаньского. Погибли карты и книги Л. Д. о Китае и Индии, погибли письменные принадлежности. Не уберегли чемоданов... пятнадцать пар глаз.

Лева с утра вышел на разведку. Ознакомился с городом, прежде всего с почтой и телеграфом, которые заняли центральное место в нашей жизни. Нашел и аптеку. Неутомимо разыскивал всякие необходимые нам предметы: перья, карандаши, хлеб, масло, свечи... Ни я, ни Л. Д. в первые дни совсем не выходили из комнаты, потом стали совершать не-

большие прогулки по вечерам. Вся связь наша с внешним миром шла через сына.

Обед нам приносили из ближайшей столовой. Лева был в расходе по целым дням. Мы с нетерпением ждали его. Он приносил газеты, те или другие интересные сообщения о нравах и быте города. Волновались мы насчет того, как доехал Сермукс. И вдруг утром на четвертый день нашего пребывания в гостинице, услышали в коридоре знакомый голос. Как он был нам дорог! Мы прислушивались из-за двери к словам Сермукса, тону, шагам. Это открывало перед нами новые перспективы. Ему отвели комнату напротив нашей. Я вышла в коридор, он издал мне поклонился... Вступить в разговор мы пока еще не решались, но молча радовались его близости. На другой день украдкой впустили его в свою комнату, торопливо сообщили обо всем происшедшем и условились насчет совместного будущего. Но будущее оказалось коротким. В тот же день, в десять часов вечера пришла развязка. В гостинице было тихо. Мы с Л. Д. сидели в своей комнате, дверь была полуоткрыта в холодный коридор, так как железная печь невыносимо накаляла атмосферу. Лева сидел в своей комнате. Мы слышали тихие, осторожные, мягкие в валенках шаги в коридоре; и сразу насторожились все трое (как оказалось, Лева тоже прислушивался и догадывался о происходящем).

«Пришли», — мелькнуло в сознании. Мы слышали, как без стука вошли в комнату Сермукса, как сказали: «Торопитесь!», как Сермукс ответил: «Можно надеть хоть валенки?» Он был в комнатных туфлях. Опять едва слышные мягкие шаги, и нарушен-

ная тишина восстановилась. Потом портье запер на ключ комнату, из которой увели Сермукса. Больше мы его не видели. Его держали несколько недель в подвале алма-атинского ГПУ вместе с уголовными на голодном пайке, потом отправили в Москву, выдавая 25 копеек на пропитание в сутки. Этого не могло хватить даже на хлеб. Познанского, как выяснилось позже, арестовали одновременно в Ташкенте и тоже препроводили в Москву.

Месяца через три мы получили от них вести, уже с мест ссылки. По счастливой случайности, когда из Москвы их везли на Восток, они попали в один вагон, места их оказались рядом. Разлученные на время, они встретились, чтобы снова разлучиться: их сослали в разные места.

Л. Д. оказался, таким образом, без своих сотрудников. Противники отомстили им беспощадно за их верную службу революции, рука об руку с Л. Д. Милого скромного Глазмана еще в 1924 году довели до самоубийства. Сермукса и Познанского сослали. Бутова, тихого, трудолюбивого Бутова арестовали, требовали от него ложных показаний, довели до бесконечной голодовки и смерти в тюремной больнице.

Таким образом, «секретариат», к которому враги Л. Д. относились с мистической ненавистью, как к источнику всякого зла, оказался, наконец, разгромлен. Враги считали, что Л. Д. теперь окончательно обезоружен в далекой Алма-Ате. Ворошилов публично хвалился: «Если и умрет там, не скоро узнаем». Но Л. Д. не был обезоружен. Мы составили кооперацию из троих. На сына легла, главным образом, работа по налаживанию наших отношений с внеш-

ним миром. Он управлял нашей перепиской. Л. Д. называл его то министром иностранных дел, то министром почт и телеграфа. Корреспонденция у нас скоро приняла огромные размеры, и главной тяжестью лежала на Лева. Он нес и охрану. Он же подбирал нужные Л. Д. материалы для его работ: рылся в книжных залежах библиотеки, добывал старые газеты, делал выписки. Он вел все переговоры с местным начальством, занимался организацией охоты, присматривал за охотничьей собакой и за оружием, кроме того, он прилежно занимался сам экономической географией и языками...

Через несколько недель по приезде научная и политическая работа Л. Д. уже шла полным ходом. Позже Лева нашел и машинистку. ГПУ не трогало ее, но очевидно, обязало доносить обо всем, что она у нас писала. Очень интересно было бы послушать донесения этой девицы, мало искушенной в борьбе с троцкизмом.

В Алма-Ате хорош был снег, белый, чистый, сухой: ходили и ездили мало, он сохранял всю зиму свою свежесть. Весной он сменялся красными маками. Какое множество их там было, — гигантские ковыри, степь на многие километры была покрыта ими, все было красно. Летом-яблоки, знаменитый алма-атинский апорт, большой и тоже красный. В городе не было водопровода, света, мостовых. В центре на базаре, в грязи, на ступеньках магазинов, грелись на солнце киргизы и искали на теле у себя насекомых. Царила жестокая малярия. И чума была. И в летние месяцы необыкновенное количество бешеных собак. Газеты сообщали о нередких случаях проказы в этой

области... И все же лето хорошо прожили. Наняли избу у садовода в предгорьях с открытым видом на снеговые горы, отроги Тянь-Шаня. Вместе с хозяином и его семьей следили за созреванием плодов и принимали деятельное участие в сборе их. Сад пережил несколько смен. Был покрыт белыми цветами. Потом деревья стояли тяжелые, с низко опущенными ветвями на подпорках. Потом плоды лежали пестрыми коврами под деревьями, на соломенных подстилках, а деревья, освободившиеся от ноши, снова подняли свои ветви. И пахло в саду зрелым яблоком, зрелой грушей, жужжали пчелы и осы. Мы варили варенье.

В июне — июле в яблоневоm саду, в домике, крытом камышовыми плетнушками, кипела горячая работа, неустанно стучала пишущая машинка — необычное явление в этих местах. Л. Д. диктовал критику программы Коминтерна, выправлял и снова давал в переписку. Почта была обильная, 10—15 писем в день, много всяких тезисов, критики, внутренней полемики, новостей из Москвы, большое количество телеграмм по вопросам политическим и о здоровье. Большие мировые вопросы были перемешаны с местными и мелкими, которые, впрочем, тоже казались большими. Письма Сосновского были всегда на злободневные темы, с обычным его воодушевлением и остротой. Перепечатывали замечательные письма Раковского и рассылали другим. Маленькая комнатка с низким потолком была заставлена столами, с пачками рукописей, папками, газетами, книгами, выписками, вырезками. Лева целыми днями не выходил из своей комнатухи, расположенной рядом с

конюшней: печатал, поправлял напечатанное машинистой, запечатывал, отправлял почту, принимал ее, выискивал нужные цитаты. Почту доставлял нам из города верхом на лошади инвалид. К вечеру Л. Д. поднимался нередко с ружьем и собакой в горы, иногда я его сопровождала, иногда Лева. Возвращались с перепелами, голубями, горными курочками или фазанами. Все шло хорошо до очередного приступа малярии.

Так прожили мы год в Алма-Ате, городе землетрясений и наводнений, у подножья Тянь-Шаньских отрогов, на границе Китая, в 250 километрах от железной дороги и в четырех тысячах от Москвы, в обществе писем, книг и природы.

Несмотря на то, что мы на каждом шагу натыкались на скрытых друзей, — об этом рассказывать еще рано, — мы внешним образом были совершенно изолированы от окружающего населения, ибо всякий, пытавшийся войти в соприкосновение с нами, подвергался каре, иногда весьма суровой...

Нефтевоз «Рут» с изгнанниками и охраной Троцкого отправился в путь 19 декабря. Как ни старалось правительство Норвегии скрыть факт отъезда Троцкого (еще долго полицейские курили трубки и играли в карты в доме без узника), тайну сохранить не удалось. Капитан получил указания, и пароход шел, часто меняя курс и избегая хоженных дорог. Редакции крупных газет и журналов мира пытались связаться с Троцким по радио. Однако на сей счет у капитана тоже было указание, и он его не нарушил.

9 января 1937 года «Рут» вошел в мексиканский порт Тампико. Троцкий и его жена отказывались

сойти на берег до тех пор, пока не убедятся, что их встречают друзья. Норвежский полицейский уже хотел было применить силу, как к борту «Рут» подошла белоснежная моторная яхта, и мексиканский генерал, в окружении портовых чиновников, радушно приветствовал путешественников от имени президента страны Ласаро Карденаса: «Добро пожаловать!»

Карденас прислал в Тампико свой личный железнодорожный состав. На пристани прибывших ждали представители троцкистской группы США Джордж Новак, Макс Шахтман, являвшийся секретарем Троцкого в Турции, и жена Диего Риверы художница Фрида Кало. Последняя тут же сообщила, что Диего Ривера и она предоставляют Троцкому, его жене и его секретарям и охранникам в полное их распоряжение свой дом в Койоакане на улице Лондон.

Лев Давыдович и Наталья Ивановна были так сильно напуганы своими же собственными мыслями по поводу дальнейшей их участи, что, когда их усадили в комфортабельный президентский поезд, они продолжали думать, что их везут в новое место заточения, — Диего Ривера с удовольствием вспоминал события тех дней. — Я специально не поехал в Тампико. Мне надо было, — Диего очень по-русски подмигнул, — снять их с поезда на маленькой станции Лочерия под самой столицей и отвезти на автомобиле к себе домой. Мы называли наш дом Коса-Асуль — Синий дом. Я видел, как Лев Давыдович щипал себя, — ему казалось, что он спит, что наш прием и все вокруг — это сон...

После того как Троцкий поселился в Мексике,

Компартия и Конфедерация трудящихся, равно как и отдельные группы просталински настроенных интеллигентов, почти тут же развязали против него кампанию в прессе. Президент Карденас вынужден был установить постоянную полицейскую охрану дома снаружи.

Однако беда подкрадывалась изнутри. И виновницей была жена Риверы — Фрида Кало. И она тихо — иначе быть не могло, потому как узнай об этом Диего Ривера, он тут же бы ее убил — влюбилась в легендарного Льва Давыдовича Троцкого. Не устоял перед двадцативосьмилетней красавицей и бывший грозный красный комиссар, организатор армии рабочих и крестьян.

Наталья Ивановна Седова оказалась первой, кто испытал боль и тяжесть возникшей ситуации.

Троцкий уехал в отдаленную асьенду штата Идальго, чтобы дистанция и время стали врачом и лекарством в его отношениях с женой.

Оказавшись в асьенде один, Троцкий начал вести дневник («только для нас») и каждый день отправлял жене по письму, которое начинал утром, вторую часть писал после обеда и третью — перед сном.

Вот несколько отрывков из этих писем. 12 июля 1937 года: «Живу воспоминаниями бурных дней, страданий, которыми были оба охвачены... Я понял — сообщение Фриды есть измышление... Наталочка, твое письмо мне принёсло радость, нежность (как я тебя люблю, Ната, моя единственная, моя вечная, моя верная, моя любовь и моя жертва!...), но также и слезы, слезы сострадания, раскаяния и печали».

Ответы жены были сдержанными, а муж продол-

жал писать. 20 июля: «Наталочка, мои сомнения овладели тобой. Не следует теперь сомневаться! Ты поправишься! Ты вернешь свои силы! Ты помолодеешь. Ты пишешь: «Каждый человек в глубине своей страшно одинок». Эта фраза разрывает мое сердце, она для меня источник страдания. Хочу вырвать тебя из твоего одиночества, слиться с тобой в бесконечности, растворить тебя в себе полностью со всеми твоими мыслями и чувствами самыми секретными... Моя бедная и давняя подруга! Моя дорогая, моя вечно любимая! Но для тебя никогда не было одиночества, нет и нет его сейчас. Мы живем один для другого!.. Поправляйся, Наталочка!.. Обнимаю тебя очень крепко, покрываю поцелуями твои глаза, руки, твои ноги. Твой старый Л.» И далее в постскрипту-ме: «Ты пишешь о борьбе, противнике. Кто она? Она для меня никто. Ты для меня все!.. Хочу сказать тебе, что веду дневник, не воспоминания об эпизоде, который занимал нас все последнее время. В этом вижу большой успех. НА-ТА! НА-ТА! Поправляйся, НА-ТА-ЛОЧ-КА! Твоя верная собака». 21 июля: «Прошу у тебя прощения и тебя благодарю... Поправляйся и тогда поставим точку, все выдержим! Ната, Ната! Люблю. Твой Л.»

Однако, наконец увидев, что признания в любви не приводят к желаемому результату, Лев Давыдович, оказавшийся и в этих делах опытным человеком, перешел к атакам. Конечно же, считая, что нападение — лучшая форма защиты. Он припомнил давние грешки Натальи Ивановны: случай, когда она в 1919 году в Москве возглавляла Отдел музеев и флиртовала с одним из своих подчиненных.

К сентябрю семейный конфликт был исчерпан. Троцкий занялся работой, а Диего Ривера пока ничего не подозревал, хотя Фрида ходила как в воду опущенная, постоянно стремилась куда-нибудь уехать писать свои картины.

Трещина в отношениях Риверы и Троцкого образовалась внезапно. И Троцкий не знал истинной причины. Ривера почти совсем перестал посещать Синий дом и, когда один из секретарей Троцкого спросил — почему, Ривера ответил: «Вы знаете, я ведь немного анархист!»

Стремление к интимному сближению — особое отношение человека одного пола к человеку другого пола. Именно пола, а не характера или типа поведения, хотя и то и другое, несомненно, зависит от особенностей, свойственных полу. «Половая потребность — могучая сила, — писал А. Бебель. — Она... острее крика, которым укрощают диких слонов, она горячее пламени, она подобна стреле, вонзающейся в дух человека». На формирование влечения как формы поведения человека, а также умение управлять им оказывает влияние окружающая среда и информация, полученная извне. Большую роль играет также общая культура. Лев Троцкий обращается к впечатлениям своего детства:

«Я лежал с перевязанным горлом и мне дали в утешение Диккенса «Оливер Твист». Первая же фраза доктора в родильном доме насчет того, что у женщины нет на руке кольца, поставила меня в тупик. «Что это значит?» — спрашивал я Моисея Филипповича. — «При чем тут кольцо?» — «А это, — ответил он мне замаявшись, — когда не венчанные,

тогда нет кольца». Я вспомнил Гретхен. И судьба Оливера Твиста разворачивалась в моем воображении из кольца, из того кольца, которого не было. Запретный мир человеческих отношений толчками врывается в мое сознание через книги, и многое, уже слышанное в случайной, чаще всего грубой и непристойной форме, теперь через литературу обобщалось и облагораживалось, поднимаясь в какую-то более высокую область.

В это время волновала умы недавно появившаяся «Власть тьмы» Толстого. О ней говорили многозначительно, теряясь в суждениях. Победоносцев добился от Александра III недопущения пьесы в театры. Я знал, что Моисей Филиппович и Фанни Соломоновна, после того, как я уходил спать, читали в соседней комнате драму: мне чуть слышен был гул голосов. «А мне можно прочитать?» — спрашивал я. «Нет, голубчик, тебе еще рановато», — ответили мне с такой категоричностью, что я больше не настаивал. Но я заметил, что новенькая тоненькая книжка появилась на знакомой мне полке. Пользуясь часами отсутствия старших, я в несколько приемов прочитал толстовскую драму. Она подействовала на меня далеко не так глубоко, как опасались, очевидно, мои воспитатели. Наиболее трагические места, как удушение ребенка и разговор о хрусте костей, воспринимались не как страшная реальность, а как книжное измышление, как выдумка для сцены, то есть по существу дела не воспринимались вовсе.

Во время каникул я натолкнулся на деревенском шкафу, под самым потолком, среди старых бумаг, на привезенную из Елизаветграда старшим братом ма-

ленькую книжечку и, развернув ее, почуял в ней что-то необычное и тайное. Это был судебный отчет по делу об убийстве девочки. Я читал книжку, пересыпанную медицинскими и юридическими подробностями, в состоянии тревоги, точно ночью попал в лес, где натыкаюсь на полуосвещенные луною прозрачные деревья и не нахожу выхода. Но уже очень скоро это впечатление рассеялось. В человеческой психологии, особенно же в детской, есть свои буфера, тормоза, предохранительные клапаны и амортизаторы — большая и хорошо разработанная система, предохраняющая от слишком резких или несвоевременных сотрясений».

АВАНС ЗА УБИЙСТВО ТРОЦКОГО

Мужская сверхсмертность в начале века стала объектом внимания исследователей.

В 1915 году в Москве вышла книга Кочетковой «Вымирание мужского пола в мире растений, животных и людей». Автор ее сделала вывод, что мужской пол находится на стадии постепенного вымирания по причинам понижения рождаемости и повышения смертности. «Все прогрессивные явления в социальной жизни ведут к тому, что человечество становится мало-помалу женским», — утверждает она. Мужской пол, «не имеющий самостоятельных корней жизни, стремительно катится вниз со ступеньки на

ступеньку, делается самым захудалым явлением в живой природе и затем окончательно стирается с лица земли». И далее: «Когда мужской пол угаснет вовсе, вместе с ним исчезнет последний источник неравенства, раздоров и отчуждения между людьми».

Почему же тогда в старинной легенде рассказывается о том, что, когда осажденный город был обречен на голодную смерть и осаждающие сделали гуманный жест, предоставив женщинам покинуть его, разрешив забрать с собой только самое ценное, что смогут унести на себе, то из ворот осажденного города потянулась вереница женщин, и каждая несла на своих плечах мужа?

Наталья Седова сполна разделила судьбу своего мужа Льва Троцкого, который писал в своем дневнике:

«По поводу ударов, которые выпали на нашу долю, я как-то на днях напоминал Наташе жизнеописание протопопы Аввакума. Брели они вместе по Сибири, мятежный протопоп и его верная протопопица, увязали в снегу, падала бедная измаявшаяся женщина в сугробы. Аввакум рассказывает: "На меня, бедная, пеняет, говоря: "Долго ли мука сия, протопоп, будет?" И я говорю: "Марковна, до самых смерти". Она же, вздохня, отвечала: "Добро, Петрович, еще побредем"».

Одно могу сказать: никогда Наташа не «пеняла» на меня, никогда в самые трудные часы: не пеняет и теперь, в тягчайшие дни нашей жизни, когда все сговорилося против нас...

Н. устраивает наше жилье. В который раз! Шкафов здесь нет, многого не хватает. Она сама вбивает гвозди, натягивает веревочки, вешает, меняет, вер-

вочки срываются, она вздыхает про себя и начинает сначала... Две заботы руководят ею при этом: о чистоте и о приглядности. Помню, с каким сердечным участием, почти умилением, она рассказывала мне в 1905 году об одной уголовной арестантке, которая «понимала» чистоту и помогала Наташе наводить чистоту в камере. Сколько «обстановок» мы переменили за 33 года совместной жизни: и женевская мансарда, и рабочие квартиры в Вене и Париже, и Кремль, и Архангельское, и крестьянская изба под Алма-Атой, и вилла на Принкипо, и гораздо более скромные виллы во Франции... Н. никогда не была безразлична к обстановке, но всегда независима от нее. Я легко «опускаюсь» в трудных условиях, т. е. мирюсь с грязью и беспорядком вокруг, Н. — никогда. Она всякую обстановку поднимет на известный уровень чистоты и упорядоченности и не позволит ей с этого уровня спускаться. Но сколько это требует энергии, изобретательности, жизненных сил!..

В 1903 году в Париже в пользу «Искры» ставился спектакль: «На дне» Горького. Пытались поручить роль Н(аталье), — чуть не по моей инициативе: мне казалось, что она хорошо, «искренне» сыграет свою роль. Но ничего не вышло, роль переуступили другой. Я был удивлен и огорчен. Только позже я понял, что Н. не может ни в одной области «играть». Она всегда и при всех условиях — всю жизнь — во всех обстановках (а мы их пережили немало) оставалась сама собою, не позволяя обстановке влиять на свою внутреннюю жизнь.

Только что получил письмо из Парижа. Ал. Львовна Соколовская (Вонская), первая жена моя,

жившая в Ленинграде со внуками, сослана в Сибирь. От нее уже получена открытка за границей из Тобольска, где она находилась на пути в более далекие части Сибири. От младшего сына, Сережи, профессора в технологическом институте, прекратились письма. В последнем он писал, что вокруг него сгущаются какие-то тревожные слухи. Очевидно, и его выслали из Москвы. — Не думаю, чтоб Ал. Льв(овна Соколовская) проявила за последние годы какую-либо политическую активность: и годы, и трое детей на руках.

В «Правде» несколько недель тому назад, в статье, посвященной борьбе с «остатками» и «подонками», упоминалось — в обычной хулиганской форме — и имя А. Л., но лишь попутно, причем ей вменялось в вину вредное воздействие — 1931 год! — на группу студентов, кажется, Лесного института. Никаких более поздних преступлений «Правда» открыть не могла. Но одно уж упоминание имени означало безошибочно, что следует ждать удара и по этой линии.

Платона Волкова, мужа покойной Зинушки, арестовали снова, уже в ссылке и отправили далее. Севушка (внук), сынок Платона и Зины, 8-ми лет, недавно только перебрался из Вены в Париж. Он находился при матери в Берлине в последний период ее жизни. Она покончила с собой, когда Сева находился в школе. Он поселился на короткое время у старшего сына и невестки. Но им пришлось спешно покидать Германию ввиду явного приближения фашистского режима. Севушку отвезли в Вену, чтобы не было лишней ломки в языке. Там его устроили в школу наши старые друзья.

После нашего переезда во Францию и начала

контрреволюционных потрясений в Австрии мы решили перевезти мальчика в Париж, к старшему сыну и невестке. Но семилетнему Севушке упорно не давали визы. Долгий ряд месяцев прошел в хлопотах. Только недавно удалось перевезти его. За время в Вене Сева забыл совершенно русский и французский язык. А как прекрасно он говорил по-русски, с московским напевом, когда пятилеткой впервые приехал к нам с мамой на Принкипо! Там, в детском саду, он быстро усваивал французский и отчасти турецкий. В Берлине перешел на немецкий, в Вене стал совсем немцем, а теперь в парижской школе снова переходит на французский язык. О смерти матери он знает и время от времени спрашивается о «Платоше» (отце), который стал для него мифом.

Младший сын, Сережа, в противоположность старшему и отчасти из прямой оппозиции к нему, повернулся спиной к политике лет с 12-ти: занимался гимнастикой, увлекался цирком, хотел даже стать цирковым артистом, потом занялся техническими дисциплинами, много работал, стал профессором, выпустил недавно совместно с другими инженерами книгу о двигателях. Если его действительно выслали, то исключительно по мотивам личной мести: политических оснований не могло быть!

Для характеристики бытовых условий Москвы: Сережа рано женился, жили они с женой несколько лет в одной комнате, оставшейся им от последней нашей квартиры, после нашего выезда из Кремля. Годы полтора тому назад Сережа с женой разошлись, но из-за отсутствия свободной комнаты они продолжали жить вместе до последних дней. Вероятно, те-

перь ГПУ развело их в разные стороны... Может быть, и Лелю сослали? Это не исключено!

Внешним образом у нас в доме все по-прежнему. Но на самом деле все изменилось. Я вспоминаю о Сереже каждый раз с острой болью. А Н. и не «вспоминает», она всегда носит глубокую скорбь в себе. «Он на нас надеялся... — говорила она мне на днях (голос ее и сейчас остается у меня в душе), — он думал, что раз мы его там оставили, значит, так нужно». А вышло, что принесли его в жертву. Именно так оно и есть...

Теперь еще присоединилось резкое ухудшение моего здоровья. Н. и это переживает очень тяжело. Одно с другим. В это же время ей приходится по дому очень много работать. Я изумляюсь каждый раз снова, откуда у нее столько сосредоточенной, страстной и в то же время сдерживаемой энергии?

С. Л. Клячко, наш старый венский друг, очень высоко ценивший Н., сказал однажды, что такой голос, как у нее, он слышал только у Элеоноры Дузе. (Дузе была для С. Л. высшим выражением женской личности.) Но Дузе была трагической актрисой. А у Н. нет ничего «сценического». Она не может «играть», «выполнять роль», «подражать». Она переживает все с предельной цельностью, предавая своим переживаниям художественные выражения. Тайна этой художественности: глубина, непосредственность, цельность».

У Натальи Седовой были реальные шансы «жить дружно и счастливо, и умереть в один день» — она была вместе со своим мужем во время одного из многочисленных покушений на его жизнь.

Лев Троцкий так писал об этом:

«Нападение произошло на рассвете, около 4-х часов. Я спал крепко, так как после напряженной работы принял снотворное. Проснувшись от грохота выстрелов с тяжелой головой, я вообразил сперва, что за оградой происходит народный праздник с ракетами. Но взрывы раздавались слишком близко, тут же, в комнате, возле меня и надо мною. Запах пороха становился все резче и ощутимее. Ясно: случилось то, чего мы всегда ждали: на нас напали. Где полиция? Где стража? Связаны, захвачены или перебиты? Моя жена уже успела вскочить с постели. Выстрелы продолжались непрерывно. Позже жена сказала мне, что она подтолкнула меня на пол, в пространство между кроватью и стеной: это было совершенно правильно. Сама она еще несколько секунд простояла надо мной у стены, как бы защищая меня своим телом, но я шепотом и движениями убедил ее спуститься на пол. Выстрелы шли со всех сторон, но откуда именно, трудно было отдать себе отчет. В известный момент жена, как она сказала мне позже, ясно различала огоньки взрывов: следовательно, стреляли тут же, в комнате, но мы никого не видели. Впечатление было такое, что выстрелов было в общем около двухсот, из них около сотни тут же, возле нас. Осколки оконных рам и стен падали в разных направлениях. Несколько позже я почувствовал, что правая нога была легко контужена в двух местах.

Когда выстрелы притихли, раздался голос внука, который спал в соседней комнате: дедушка! Этот детский голос во тьме под выстрелами остался как самое трагическое воспоминание этой ночи. Мальчик

после первого выстрела, пересекшего по диагонали его постель, как свидетельствуют следы в двери и в стене, бросился под кровать. Один из нападавших, очевидно, в состоянии паники, выстрелил в кровать: пуля пробила матрац, ранила внука в палец ноги и прошла сквозь пол. Бросив тут же два зажигательных снаряда, нападавшие покинули комнату внука. С криком: «дедушка!» он выскочил, вслед за ними, во двор, оставляя кровавый след, и под выстрелами перебежал в помещение одного из членов охраны, Гарольда Робинса.

Моя жена бросилась на крик внука в его комнату, которая оказалась уже пуста. В комнате горели пол, двери и небольшой шкаф. «Они захватили Севу», — сказал я жене. Это была наиболее жуткая минута. Выстрелы еще продолжались, но уже дальше от нашей спальни, где-то во дворе или непосредственно за оградой: видимо, террористы прикрывали отступление. Жена поспешила потушить разгоревшийся пожар, набросив на огонь ковер. В течение недели ей пришлось потом лечиться от ожогов.

Появились два члена охраны, Отто Шюessler и Чарльз Коронель, которые, в минуту нападения были отрезаны от нас пулеметным огнем. Они подтвердили, что нападавшие, видимо, уже скрылись, так как во дворе никого не видно. Исчез также сам ночной дежурный, Роберт Шельдон. Исчезли оба автомобиля. Почему молчали полицейские внешней охраны? Они оказались связаны нападавшими, которые при этом кричали: «Да здравствует Альмазан!» Таков был рассказ связанных.

Мы с женой были в первый день совершенно уве-

рены, что нападавшие стреляли только через окна и двери и что в спальню никто не входил. Однако изучение траекторий выстрелов с несомненностью свидетельствует, что те восемь выстрелов, которые оставили следы в стене у изголовья кроватей, продырявили в четырех местах оба матраца и оставили следы в полу под кроватями, могли быть выпущены только внутри самой спальни. Об этом же свидетельствовали и найденные на полу гильзы, а также два следа с обожженной каймой в одеяле.

Когда террорист вошел в спальню? В первый ли момент операции, когда мы еще не успели проснуться? Или, наоборот, в последний момент, когда мы лежали на полу? Я склоняюсь ко второму допущению. Всадив через двери и окна несколько десятков пуль в направлении кровати и не слыша ни криков, ни стонов, нападавшие имели все основания думать, что они с успехом выполнили свою работу. Один из них мог в последний момент вскочить в комнату для проверки. Возможно, что одеяла и подушки сохранили еще форму человеческих тел. В четыре часа утра в комнате царил полумрак. Мы с женой оставались на полу неподвижны и безмолвны. Перед тем как покинуть нашу спальню, террорист, пришедший для проверки, мог дать «для очистки совести» несколько выстрелов по нашим кроватям, считая, что дело закончено уже и без того.

Было бы слишком утомительно разбирать здесь различные легенды, созданные недоразумением или злой волей и легшие прямо или косвенно в основу теории «самопокушения». В прессе говорили о том, будто мы с женой находились в ночь покушения вне

нашей спальни. «Эль Популяр» писал о моих «противоречиях»: по одной версии, я будто бы забрался в угол спальни, по другой — опустился на пол и пр. Во всем этом нет ни слова правды. Все комнаты нашего дома были заняты ночью определенными лицами, кроме библиотеки, столовой и моего кабинета. Но как раз через эти три комнаты проходили и нападавшие, и там они нас не нашли. Мы спали там же, где всегда: в нашей спальне. Я, как уже сказано, спустился на пол в углу комнаты: немножко позже ко мне присоединилась моя жена.

Каким образом мы уцелели? Очевидно, благодаря счастливому случаю. Кровати были взяты под перекрестный огонь. Возможно, что нападавшие боялись перестрелять друг друга и инстинктивно стреляли либо выше, либо ниже, чем нужно было. Но это только психологическая догадка. Возможно также, что мы с женой помогли счастливому случаю тем, что не потеряли головы, не метались по комнате, не кричали, не звали на помощь, когда это было бы безнадежно, не стреляли, когда это было бы безрассудно, а молча лежали на полу, притворяясь мертвыми».

В начале нынешнего века вышла нашумевшая книга О. Вайнингера «Пол и характер», в которой утверждалось: «Отношение мужчины к женщине уподобляется отношению субъекта к объекту. Она — вещь мужчины или вещь ребенка»; «Как бы низко ни стоял определенный мужчина, он все же неизмеримо выше самой возвышенной женщины».

Философ и ученый И. Кант писал: «Тот, кто первый назвал женщин прекрасным полом, хотел, может быть, сказать этим нечто лестное для них, но

на самом деле выразил нечто большее, чем сам предполагал.

У прекрасного пола столько же ума, сколько у мужского, с той лишь разницей, что это прекрасный ум, наш же, мужской, — глубокий ум, а это лишь другое выражение для возвышенного...

Прекрасному ничто так не противно в такой мере, как то, что вызывает отвращение, и ничто не столь далеко от возвышенного, как смешное. Поэтому для мужчины нет ничего более обидного, чем обозвать его глупцом, а для женщины — сказать, что она безобразна».

Сильвия Агелофф-Маслов была малопривлекательной молодой женщиной русского происхождения. У Сильвии была сестра Рут Агелофф, некоторое время работавшая секретаршей Троцкого в Мексике. В Париже она познакомилась с красавцем Жаком Морнаром — сыном дипломата, будущим журналистом. Они стали любовниками. Сильвия готовила учредительную конференцию Четвертого Интернационала. Жак тратил на Сильвию большие деньги и постоянно твердил о готовности жениться. Сильвию удивляло то обстоятельство, что Жак не счел нужным представить невесту своей матери.

По окончании конференции Сильвия возвратилась в США, получив от Жака слово в ближайшие месяцы приехать к ней. В Нью-Йорк он прибыл все не как Жак Морнар, а с паспортом на имя канадского гражданина Фрэнка Джексона. Любовь Сильвии позволила принять за чистую монету объяснение Жака, что он поступил так, чтобы избежать призыва на военную службу в Бельгии.

О том, что было дальше, рассказал Юрий Папоров в книге «Убийство Троцкого».

Он уехал в октябре 1939 года, оставив Сильвии на жизнь три тысячи долларов, по тем временам приличный полугодовой заработок служащего, и тут же принялся клясться в письмах, что любит и не может без нее жить.

В январе она приехала в Мехико. Любовники поселились вместе, а уже через неделю Сильвия стала помогать в работе Троцкого.

Фрэнк Джексон — он убедил Сильвию в необходимости только так теперь его называть — ежедневно отвозил ее к дому на улице Вена и порой подолгу поджидал у ворот, сам никогда не пытаясь войти в дом Троцкого.

Охранники, как наружные, так и внутренние, уже хорошо знали его и с охотой принимали то американские сигареты, то конфеты. Внутренние охранники, говорившие по-французски, не лишали себя удовольствия поболтать с приятным малым, женихом Сильвии.

В последние дни марта 1940 года, за день до отъезда Сильвии в Нью-Йорк, Лев Давыдович предложил ей пригласить своего друга в дом. Он считал неприличным, что она всякий раз оставляла жениха за воротами. Однако, покидая Мехико, Сильвия взяла слово с Джексона, что он без нее не станет посещать Троцкого.

— Ты ведь живешь в Мексике под чужим именем. В случае, если полиция или противники Льва Давыдовича узнают, это может нанести ему вред.

В действительности же Сильвия не могла забыть

случай, который произошёл совсем недавно и очень ее насторожил.

Она спросила адрес учреждения, где работал Жак-Фрэнк, и он ответил: «Здание Эрмита, комната 820». Когда же Сильвия направила туда свою сестру, то оказалось, что в здании Эрмита нет комнаты под номером 820 и вообще там ни о каком Джексоне никто не слышал...

Джексон дал слово Сильвии не бывать без нее в доме Троцкого, но свое слово не сдержал.

Увидев жениха Сильвии рядом с мужем, Наталья Ивановна подумала: «Опять он! Зачем он так зачастил? — и подошла.

— Меня мучит жажда. Вы не дадите мне стакан воды? — поздоровавшись с Натальей Ивановной, попросил гость.

— Может быть, чашку чая?

— Нет, нет! Я только что поел, и еда стоит вот здесь. — Он провел рукой по горлу. — Лучше воды.

Наталья Ивановна обратила внимание на перекинутый через руку плащ и неснятую шляпу.

— Вы плохо выглядите. Сегодня весь день солнце. Зачем вам плащ и шляпа? — спросила Наталья Ивановна.

Они прошли в кабинет. Троцкий сел в кресло к столу. Джексон (один из псевдонимов убийцы Троцкого) встал по левую руку, ближе к окну. Когда Троцкий прочел первую страницу и собирался было ее перевернуть, Джексон сделал шаг назад, выхватил из-под плаща «пиолет» — альпинистский ледоруб, и со всей силой, на которую был способен, нанес плоским концом удар по голове.

Троцкий вскочил, как развернутая пружина, издал душераздирающий вопль и бросился на Джексона, пытаясь схватить его руку, помешать нанести еще удар. Оттолкнув его от себя, Троцкий выскочил из кабинета, но почувствовал, что ноги ему не подчиняются, оперся о косяк двери между столовой и террасой. Тут его, с лицом, залитым кровью, застала Наталья Ивановна.

— Джексон! Наташа, я люблю тебя... — и упал на руки жены.

Мозг оказался сильно поврежденным, и Лев Давыдович Троцкий скончался 21 августа 1940 года в девятнадцать часов двадцать минут.

Джексон настойчиво утверждал, что у него не было заранее разработанного плана и что пистолет и кинжал были приготовлены для самоубийства, а «пиолет» оказался у него, потому, что он любитель альпинист и привез эту дорогую ему вещь из Франции. По поводу мотива его последней месячной поездки в Нью-Йорк Джексон заявил, что ездил туда только с единственной целью быть рядом с Сильвией, без которой он жить не может.

Полковник отправился в помещение, где под наблюдением агента полиции и медсестры находилась не перестававшая плакать Сильвия Агелофф, то и дело теряющая сознание. Когда же ее приводили в чувство, молодая женщина принималась ругаться на всех языках, которые знала, и требовать, чтобы Джексона-Морнара немедленно лишили жизни.

— Что вы думает об убийстве Троцкого? — спросил полковник Сильвию.

— Что я могу думать? Сейчас я твердо знаю, я

была инструментом в руках Джексона. Я познакомила его с Троцким. Я виновница его смерти! Сталин — заинтересованное лицо в гибели Троцкого. Я оказалась инструментом в его руках.

По окончании допроса Санчес Саласар убедился, что Сильвия Агелофф-Маслов непричастна к преступлению. Однако стоило в этом убедиться, и полковник устроил очную ставку.

Сильвия продолжала плакать, когда агенты ввели в комнату Джексона. Ни он, ни она не знали о готовящейся встрече.

— Зачем привели меня сюда? Что вы делаете, полковник? — быстро заговорил Джексон. — Уберите меня отсюда!

— Если вы действительно любите Сильвию, как говорите, подойдите к ней, приласкайте, успокойте!

— Убийца! Убейте его, как он убил Троцкого! Убейте! Убейте! — бесновалась Сильвия.

— Полковник, полковник, что вы делаете? — взмолился Джексон.

— Ты все время врал! Скажи хоть сейчас правду! Ты агент ГПУ! Они тебя заставили! По приказу Сталина заставили убить Троцкого! Начиная с Парижа, ты обманывал меня. Думал только о том, как покончить с Троцким. Тебе нужно было использовать меня. Каналья!

Полковнику было жалко страдавшую женщину, но он исполнял свой служебный долг.

— Джексон говорит, что он получил пять тысяч долларов от своей матери из Брюсселя и три тысячи передал вам.

— Три тысячи! Да! Но деньги эти принадлежат

ГПУ! Это аванс за убийство Троцкого. Да, да, убийца, тебе заплатили они...

— Вы слышали, что говорит ваша невеста? Ответьте ей!

— Не стану! Не стану! Умоляю, полковник, прикажите меня увести.

— Джексон принадлежал Четвертому Интернационалу?

— Никогда! Он ни с кем, кроме меня, не был знаком. Он притворялся симпатизирующим, чтобы приблизиться к Троцкому. Убийца!

После этого Санчес Саласар прекратил очную ставку и распорядился выпустить на свободу Сильвию Агеллофф.

«СЕГОДНЯ ВЫ ЗДЕСЬ, ЗАВТРА ВАС НЕТУ»

Клавдия Тимофеевна Свердлова делится впечатлениями:

«Любопытно складывался первое время наш быт в Кремле. Когда мы переехали в Кремль, часть старых дворцовых служащих — дворецкие, швейцары, те, кто отвечал за порядок в покоех и за дворцовое имущество, — оставалась на своих местах. Детская половина Большого дворца находилась в ведении двух царских швейцаров — Алексея Логиновича и Ивана Никифоровича, которым вместе было не менее ста пятидесяти лет.

Алексей Логинович был невысок, сухощав, крайне подвижен и постоянно весел. Его седые волосы топорщились ежиком, а неизменная улыбка пряталась в небольших, густых, аккуратно подстриженных изжелта-белых усах. Он так и сыпал прибаутками, никогда не лез за словом в карман. Был он за главного.

Иван Никифорович с виду был прямой противоположностью Алексею Логиновичу. Он был очень высок, совершенно лыс и вместо усов носил пышные бакенбарды. От него трудно было услышать хотя бы слово, он всегда молчал и почти никогда не улыбался.

Вся мебель, посуда, белье находились в полном распоряжении этих двух стариков. У них были ключи от шкафов, мы же не знали, что там есть и где находится.

Своих вещей ни у кого из нас, представителей новой власти, не было, если не считать одежды да книг. Ни Ленин, ни Свердлов, ни Дзержинский, ни кто другой не имели ни посуды, ни достаточного количества постельного белья. В «Национале» все мы пользовались имуществом гостиницы, а когда переехали в Кремль, то наши квартиры были оборудованы всем необходимым из кремлевских вещевых складов и из того же «Националя» и «Метрополя». Естественно, что, переехав из Белого коридора в Большой дворец, мы ничего с собой не взяли.

Встретили нас старики не очень приветливо. Шутки и прибаутки Алексея Логиновича порою носили довольно язвительный характер, а Иван Никифорович молчал особо угрюмо и значительно. Внимательно и настороженно присматривались старые швейцары, прожившие в царских покоях не менее

полувек а каждый, к представителям новой власти. Конечно, открыто и явно своего недовольства они не выражали — власть есть власть! — но ежедневно в десятках мелочей сказывалось то недоверие и пренебрежение, с которым они к нам относились.

А как они следили за каждым шагом Малькова, часто бывавшего в нашей квартире! Коменданта Кремля они побаивались, но его же почему-то и считали наиболее подозрительным человеком, способным утащить ложку или тарелку. Стоило появиться Малькову, как они принимались пристально следить за ним. Старики прятались за дверь, по углам, исподтишка наблюдая за Мальковым, думая, что никто их хитрости не разгадывает, тогда как то седой ежик Алексея Логиновича, то лысина Ивана Никифоровича, высовывавшиеся в самый неподходящий момент, с головой выдавали незадачливых сыщиков.

С тех пор прошло около сорока лет. Мало кто теперь помнит, как жили в первые годы советской власти руководители нашей страны. Давным-давно умерли оба старика швейцара Детской половины, а я до сих пор помню, как менялись они у нас на глазах, как менялось их отношение к нам, к товарищам, которые у нас бывали. Самым наглядным показателем была посуда, обычная столовая и чайная посуда. И еще — скатерти.

С первого дня мы пользовались всей мебелью, какая была в квартире, о посуде же и других вещах, хранившихся в тайниках стариков, мы просто не знали. С посуды все и началось. Первое время Алексей Логинович выставил в буфет несколько тарелок, чашек, самое необходимое, и этим ограничился. Бы-

вало, собирался народ, садились чаевничать, а посуды не хватало. Я несколько раз спрашивала Алексея Логиновича, нет ли еще чего-нибудь, но он в ответ разводил руками:

— Клавдия Тимофеевна, все тут, как есть все, ни одной чашечки, ни ложечки больше нету!

На этом разговор и кончался. Приходилось товарищам пить чай по очереди да посмеиваться над скудостью сервировки стола советского «президента». Ну да наши «министры» и «губернаторы», собиравшиеся у Якова Михайловича, были народом простым, неизбалованным, и отсутствие стаканов и чашек мало кого огорчало.

Как-то ночью Яков Михайлович вернулся домой с группой товарищей, и мы затеяли чаепитие. Алексея Логиновича не было, и я сама пошла искать посуду. Выдвинув один из ящиков буфета, я обнаружила черепки от разбитых в разное время тарелок и чашек. Находка меня удивила. Наутро я спросила Алексея Логиновича, к чему он хранит этот лом.

— Клавдия Тимофеевна, голубушка, — ответил он, — сегодня вы здесь, завтра вас нету. Вам что? А весь спрос с меня. Вернется батюшка-царь, спросит: «Куда, Алешка, черт старый, дворцовую посуду подевал?» Ну, я ему и выложу черепочки-то. «Так и так, — скажу, — ваше императорское величество, виноват, что не уберег, побили большевики — это, извините, вы то есть, — только пропасть ничего не пропало, хоть и побитое, а сохранил». Для отчета, значит.

Как ни пыталась я убедить Алексея Логиновича, что царь не вернется, он вздыхал в ответ, согласно

кивал головой, но оставался при своем мнении...

Шли дни, недели. И вот однажды, возвращаясь домой, я увидела Алексея Логиновича и Ивана Никифоровича, тащивших в помойку черепки разбитой посуды. Им я ничего не сказала, но в тот же вечер сообщила эту новость Якову Михайловичу.

— Здорово, — сказал Яков Михайловича — страшно здорово! Обязательно расскажу Ильичу. Ведь это значит, что даже такая старозаветная публика, как дворцовые швейцары, поверила в советскую власть, поняла, что царь не вернется!

Я никогда не проверяла Алексея Логиновича, никогда не считала посуды в буфете, знала, что всего в обрез, и немало удивилась, обнаружив как-то, что сколько бы народу у нас ни собиралось, всем хватает стаканов, чашек, тарелок. На столе стали появляться какие-то вазочки, обычная селедка однажды была подана не на тарелке, как всегда, а на красивом блюде; ассортимент посуды расширился на глазах. Вскоре же произошло и совсем знаменательное событие.

Однажды у нас должен был собраться народ, и, уходя на работу, я предупредила Алексея Логиновича, что придет человек десять-двенадцать. Ничего, кроме воблы да пшенной каши, к обеду не было, но посуду-то поставить надо было заранее.

Прихожу домой и вижу, что стол покрыт роскошной крахмальной скатертью с царской короной и вензелями. Никогда до этого скатертей у нас не было, на столе лежала простая клеенка. Я как-то спросила Алексея Логиновича, нет ли скатерти, но он так безнадежно развел руками, что я к этому вопросу

больше не возвращалась. И вот скатерть, да какая!

Я отправилась к Алексею Логиновичу, но не успела и рта раскрыть, как он вовсю раскричался. Усы у него встопорщились, лицо покраснело, голос стал тонким, пронзительным.

— Да как же, матушка, помилуйте, — неистовствовал старик, — да вы знаете, для кого я стол накрывал? Да вы можете понимать, что за человек Яков Михайлович, а вы говорите — скатерть! Грех вам, все клеенки да клеенки, разве это соответствует? Ведь Феликс Эдмундович придет. Варлам Александрович, может, сам Ильич будет, надо, чтобы все как следует. Хорошо, я, старик, порядок понимаю, забочусь, вот и клееночку долой. Стол полагается скатертью застилать, а не клеенками!

Я же оказалась виновата, что до сих пор мы обходились без скатерти!

Отношение стариков менялось с каждым днем. Ходили они оба обычно в серых, мышинного цвета форменных скюртучках и таких же брюках. Но однажды тот и другой из каких-то своих сундучков вытащили и надели расшитые золотыми позументами, пахнувшие нафталином парадные ливреи. Было и смешно и трогательно. Несколько дней Яков Михайлович воевал с ними, прося их вернуться к прежнему виду, они упорно твердили одно: «Не приличествует!» С большим трудом удалось Якову Михайловичу уговорить стариков снять ливреи.

Еще более любопытные детали кремлевского быта первых лет советской власти подметил Троцкий:

«Теперь старые колокола вместо «Боже, царя храни» медленно и задумчиво вызванивали Интер-

национал. Подъезд для автомобилей шел под Спасской башней, через сводчатый туннель. Над туннелем старинная икона с разбитым стеклом. Перед иконой — давно потухшая лампада. Часто при выезде из Кремля глаз упирался в икону, а ухо ловило сверху Интернационал.

Над башней с ее колоколом возвышался по-прежнему позолоченный двуглавый орел. Только корону с него сняли. Я советовал водрузить над орлом серп и молот, чтобы разрыв времени глядел с высоты Спасской башни. Но этого так и не удосужились сделать.

В моей комнате стояла мебель из карельской березы. Над камином часы под Амуром и Психеей отбивали серебряным голоском. Для работы все это было неудобно. Запах досужего барства исходил от каждого кресла.

Чуть ли не в первый день моего приезда из Питера мы разговаривали с Лениным, стоя среди карельской березы.

Амур с Психеей прервали нас певучим серебряным звоном. Мы взглянули друг на друга, как бы поймав себя на одном и том же чувстве: из угла нас подслушивало притаившееся прошлое. Окруженные им со всех сторон, мы относились к нему без почтительности, но и без вражды, чуть-чуть иронически.

Было бы неправильно сказать, что мы привыкали к обстановке Кремля — для этого много было динамики в условиях нашего существования. «Привыкать» нам было некогда.

Мы искоса поглядывали на обстановку и про себя говорили иронически-поощрительно Амурам и

Психеям: не ждали нас? Ничего не поделаешь, привыкайте!

Мы приучали обстановку к себе.

Низший состав остался на местах. Они принимали нас с тревогой. Режим тут был суровый, крепостной, служба переходила от отца к сыну.

Среди бесчисленных лакеев и всяких иных служителей было немало старцев, которые прислуживали нескольким императорам.

Один из них — старичок Ступишин, человек долга, был в свое время грозой служителей. Теперь младшие поглядывали на него со смесью старого уважения и нового вызова.

Он неукротимо шаркал по коридорам, ставил на место кресла, сметал пыль, поддерживал видимость прежнего порядка.

За обедом нам подавали жидкие щи и гречневую кашу с шелухой в придворных тарелках с орлами.

— Что он делает, смотри, — шептал Сережа матери. Старик тенью ходил за креслами и чуть поворачивал тарелки то в одну, то в другую стороны. Сережа догадался первым: двуглавному орлу полагается быть перед гостем посредине.

Служительский персонал вскоре расформировали. Молодые быстро приспособлялись к новым порядкам.

Ступишин не хотел переходить на пенсию.

Его перевели надсмотрщиком в большой дворец, превращенный в музей, и он часто приходил в Кавалерский корпус — «проведать». Ступишин дежурил позже во дворце перед Андреевским залом во время съездов и конференций.

Вокруг него снова царил порядок, и сам он выполнял ту же работу, что при царских или великокняжеских приемах, только теперь дело шло о Коммунистическом Интернационале.

Он разделил судьбу часовых колоколов на Спасской башне, которые от царского гимна перешли к гимну революции. В 26-м году старик медленно умирал в больнице. Жена посылала ему туда гостинцев, и он плакал от благодарности».

Ничего удивительного и странного нет в том, что старый служитель Алексей Логинович говорил Клавдии Тимофеевне Свердловой: «Сегодня вы здесь, а завтра вас нету». Большевики сами сомневались в прочности своих позиций. Не зря у Якова Свердлова в сейфе лежали подготовленные заранее заграничные паспорта для всех членов семьи (ничего не поделаешь: старая конспиративная привычка — искать спасения за пределами Родины).

На случай падения советской власти существовал также тщательно засекреченный фонд драгоценностей. Хранительницей которых оказалась не кто иная, как Клавдия Тимофеевна Свердлова.

Рассекретил этот фонд бывший секретарь Сталина Борис Бажанов, когда давал показания английским спецслужбам.

Одно время Бажанов работал в качестве ответственного сотрудника народного комиссариата финансов. Однажды утром он собирался войти в кабинет наркома финансов Брюханова — и вдруг что-то заставило его остановиться на пороге.

Бажанов в своих воспоминаниях пишет об этом так:

«Я уже открывал дверь в кабинет наркома, когда услышал, как он берет трубку телефона-автомата. Надо заметить, что автоматическая телефонная связь в Кремле охватывала ограниченное количество номеров, ею пользовалась только большевистская верхушка, обеспечивая строгую секретность телефонных разговоров. Я задержался в дверях, не желая беспокоить наркома. В приемной никого, кроме меня, не было: секретарь отсутствовал. Дверь оставалась приоткрытой, и я отчетливо слышал разговор Брюханова с собеседником, которым оказался, судя по первым же фразам, Сталин.

Из реплик Брюханова я понял, что существует абсолютно секретный фонд драгоценностей (возможно, тот самый, с которым я заочно имел дело в 1924 году, в бытность мою секретарем Политбюро). Брюханов оценил его стоимость лишь приблизительно, сказав: «несколько миллионов».

Сталин, очевидно, спрашивал, не может ли Брюханов дать более точную оценку. Тот ответил: «Это сделать трудно. Стоимость драгоценных камней определяется обычно целым рядом переменных факторов: и то, как они котируются на внутреннем рынке, не является решающим показателем. К тому же, все эти драгоценности рассчитаны на реализацию за границей и при обстоятельствах, которых сейчас предвидеть просто невозможно. В любом случае, полагаю, достаточно исходить из того, что они стоят несколько миллионов. Но я все же постараюсь уточнить эту цифру и тогда позвоню вам».

Впоследствии Бажанов узнал, что этот секретный фонд драгоценных камней был предназначен исклю-

чительно для членов Политбюро и хранился на случай падения советской власти.

«Хотя Брюханов говорил, понизив голос, — продолжает Бажанов, — я услышал, что он сказал Сталину, посмеиваясь: «Как это вы смело выразились — «в случае утраты власти»! Услышь это Лев Давыдович (Троцкий), он бы вас тут же обвинил в неверии в возможность победы социализма в одной стране!»

В этот момент Сталин, не склонный выслушивать подобные шутки, очевидно, перевел разговор на другую тему и заговорил о необходимости соблюдения строжайшей секретности, так как Брюханов поспешил ответить: «Конечно, конечно, я отлично все понимаю. Это просто временная предосторожность на случай войны. И это делается не только «анонимно», но у нас даже ничего не зафиксировано на бумаге!»

Далее Бажанов пишет:

«Я понимаю, — продолжал Брюханов, — что это необходимо для членов Политбюро, чтобы предотвратить паралич в работе Центра в случае чрезвычайных обстоятельств. Но вы сказали, что хотели бы изменить систему хранения... Что я должен сделать в этом смысле?»

Последовал длинный ответ Сталина, затем Брюханов сказал, что он полностью согласен: лучшего места для хранения драгоценностей, чем квартира Клавдии Тимофеевны, не найти.

Со всеми предосторожностями ценности были перевезены на новое место хранения.

В этом мероприятии участвовало несколько особо доверенных людей, каждый из которых знал не

больше того, что ему было необходимо по его положению определенного звена в цепи.

Что касается самих членов Политбюро, им, конечно, было сообщено об этом фонде, созданном «на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств», однако без уточнения, где именно он находится.

Только Сталин, Брюханов, Клавдия Тимофеевна и — волею случая — Бажанов знали все.

Эта женщина, фамилию которой Брюханов избегал называть даже в доверительном телефонном разговоре со Сталиным, была хорошо известна Бажанову. Он знал, что речь шла о К. Т. Новгородцевой, вдове покойного председателя ВЦИК Якова Свердлова, которая обладала двумя необходимыми для этого дела качествами. Во-первых, она была известна своей неподкупной честностью и принципиальностью. Во-вторых, ее квартира находилась на территории Кремля, что весьма удобно.

Затем Бажанов рассказал, как он получил подтверждение этой необычной информации. Он был знаком с сыном Новгородцевой Андреем, подростком лет пятнадцати, который жил с матерью. В конце лета 1927 года ему удалось завести с мальчиком беседу на интересующую его тему. Андрей рассказал, как его мать открывает ключом буфет в своей комнате. В буфете хранились документы ее покойного мужа, и там же лежала «целая куча» драгоценных камней. Когда Андрей спросил, что это такое, мать ответила, что это «семейные украшения», «стекляшки» и «безделушки», которые ничего не стоят, однако, казалось, была сильно раздражена тем, что он заин-

тересовался ими. Но Андрей поверил матери. «Конечно, они все фальшивые, — сказал он Бажанову. — Откуда бы у нее могло взяться столько настоящих драгоценностей?» Естественно, Бажанов согласился с этим.

Яков Свердлов стремился обеспечить в Кремле полный комфорт. Хранительница кремлевских сокровищ Клавдия Тимофеевна пишет об этом так:

«Еще в Питере, в Смольном, по указанию Якова Михайловича была организована столовая для ответственных работников, чтобы обеспечить их относительно сносным питанием и хоть немножко сберечь им силы. С переездом правительства в Москву столовую перевели в Кремль. Давали там чаще всего все ту же пшенную кашу, но зато хорошо сваренную и обильно политую маслом. Из этой же столовой, насколько помню, получал жидкий суп да пшенную кашу и Владимир Ильич.

А сколько сохранилось записок Якова Михайловича вроде такой вот:

«Тов. Петерс!

Прошу дать т. Рахья как больному бутылку портвейну.

Я. Свердлов»

Или такой:

«1 Дом Советов.

Уважаемые товарищи! Считаю выселение Инессы Арманд невозможным. При отъезде ее по партийному поручению прошу никакому выселению ее семью не подвергать.

С тов. приветом Я. Свердлов»

Немало было и таких записок Якова Михайловича:

«В 1 Дом Советов.

Прошу предоставить комнату ответственному партийному товарищу Загорскому-Лубоцкому. Крайне необходимо».

«IV Дом Советов.

Прошу предоставить квартиру в одну-две комнаты т. Постышеву».

Или:

«Коменданту Кремля.

Прошу выдать подателям делегатам жел.-дор. рабочих 25 фунтов хлеба».

Когда тяжело заболел Варлам Аванесов, живший бобылем, и врачи потребовали, чтобы за ним был организован тщательный уход, Яков Михайлович велел немедленно перевести его к нам на квартиру. Аванесову прописали вино, фрукты. Яков Михайлович всех поднял на ноги, пока не достали все, что требовалось. А ведь достать тогда в Москве хорошее вино и фрукты было не просто».

В декабре 1931 года в Москву приезжает немецкий писатель Эмил Людвиг. Его хобби — биографии великих людей. Что ж, у Сталина к этому времени имеются за спиной кое-какие из «свершений»: всеобщая коллективизация, например. Дома его уже называют великим. На IX съезде комсомола в январе 1931 года его имя повторяется 80 раз. Выступая на съезде от имени ЦК ВКП(б), Лазарь Каганович называет Сталина вождем, и зал подхватывает ликую: «Да здравствует вождь партии и мирового пролетариата!»

Но чванливая заграница пока не испытывает к нему особого пиетета. Для буржуев он всего лишь

властитель страны, занимавшей шестое место по выплавке чугуна и девятое — по производству электроэнергии. Внимание известного писателя льстит. Европа, кажется, начинает понимать, с кем она имеет дело. Людвигу многое позволено. Он иностранец. Ни один человек в Советском Союзе не осмелился бы задать Сталину такой вопрос.

Людвиг: Мне кажется, что значительная часть населения Советского Союза испытывает чувство страха, боязни перед Советской властью и что на этом чувстве страха в определенной мере покоится устойчивость Советской власти.

Сталин: Вы ошибаетесь... Неужели вы думаете, что можно было бы в течение 14 лет удерживать власть и иметь поддержку миллионных масс благодаря методу запугивания, устрашения? Нет, это невозможно. Лучше всех умело запугивать царское правительство...

Людвиг: Но ведь Романовы продержались 300 лет.

ЗА ВЫСОКИМ КАМЕННЫМ ЗАБОРОМ

В СССР было много высоких каменных заборов, заглянуть за которые простым людям было нелегко, да и не стоило... Но мы с вами все же попробуем.

Алексей Аджубей — зять Хрущева, создает перед нашим воображением следующую картину:

«Бериевский особняк находился на углу Садово-

Триумфальной и улицы Качалова, неподалеку от высотного здания на площади Восстания. Собственно, на Садовое кольцо на улицу Качалова выходит высокий каменный забор, из-за которого не видно приземистого дома. Проходя мимо забора, москвичи прибавляли шаг и помалкивали. В те времена каждого провожал тяжелый взгляд наружных охранников.

Однажды в 1947 году я был там на помолвке сына Берия — Серго. Он женился на красавице Марфе Пешковой, внучке Алексея Максимовича Горького. И Марфа, и жених держали себя за столом сдержанно, да и гости не слишком веселились. Пожалуй, только Дарья Пешкова, младшая сестра Марфы, студентка Театрального училища имени Щукина, чувствовала себя раскованно.

Чуть позже в этом же доме поселилась любовница Берии — семнадцатилетняя Л., родившая ему дочь.

Нина Теймуразовна терпела ее присутствие — видимо, иного выхода не было. Рассказывали, что мать Л. устроила Берия скандал, отхлестала его по щекам, а он стерпел. Не знаю, было ли так на самом деле, однако девица чувствовала себя в особняке прекрасно, и мама, видимо, тоже смирилась.

Я часто встречаю ее, теперь уже немолодую, но до сих пор обворожительную блондинку, и всякий раз думаю: вполне соединимы любовь и злодейство».

Алан Вильямс так характеризовал сексуальные наклонности Берия:

«Гетеросексуален с явной склонностью к молоденьким девочкам. Не избегал зрелых женщин, особенно актрис и балерин, с которыми заводил дли-

тельные романы. Всегда играл роль джентльмена со своими жертвами — если они не сопротивлялись.

В противном случае применял снотворное или силу. Был очень щедр с теми, кто ему понравился. Любил девушек-спортсменок, которых ему поставлял полковник Саркисов через председателя советского спорткомитета. Особенно любил рыжеволосых девушек Сванетии, придерживающихся строгих нравов и доставлявших тем полковнику Саркисову немало трудностей.

Жена Нина имела репутацию «самой красивой женщины Грузии».

Из стенограммы июльского (1953 года) Пленума ЦК КПСС: «Нами обнаружены многочисленные письма от женщин интимно-пошлого содержания. Нами обнаружено большое количество предметов мужчины-развратника (речь идет о результатах обыска в его служебном кабинете в здании Совета Министров СССР и Кремле). Эти вещи говорят сами за себя, и, как говорится, комментарии излишни...

Зачитаю показания некоего Саркисова, на протяжении 18 лет работавшего в охране Берия. Последнее время он был начальником его охраны. Вот что показал этот самый Саркисов: «Мне известны многочисленные связи Берия со всевозможными случайными женщинами. Мне известно, что через некую гражданку С. (разрешите мне фамилии не упоминать) Берия был знаком с подругой С., фамилию которой я не помню. Работала она в Доме моделей... Кроме того, мне известно, что Берия сожительствовал со студенткой Института иностранных языков Майей. Впоследствии она забеременела от Берия и сделала

аборт. Сожительствовал Берия также с 18—20-летней девушкой Лялей... Находясь в Тбилиси, Берия познакомился и сожительствовал с гражданкой М. После сожительства с Берия у М. родился ребенок... Мне также известно, что Берия сожительствовал с некой Софьей. По предложению Берия через начальника санчасти МВД Волошина ей был сделан аборт. Повторю, что подобных связей у Берия было очень много.

По указанию Берия, вел список женщин, с которыми он сожительствовал (смех в зале). Впоследствии, по его предложению, я этот список уничтожил. Однако один список я сохранил. В этом списке указаны фамилии... более 25 таких женщин. Список, о котором говорит Саркисов, обнаружен... Год или полтора назад я совершенно точно узнал, что в результате связей с проститутками он заболел сифилисом. Лечил его врач поликлиники МВД Ю. Б., фамилию его я не помню. Саркисов».

Вот, товарищи, истинное лицо этого, так сказать, претендента в вожди советского народа. И эта грязная моська осмелилась соперничать с великаном, с нашей партией, с нашим ЦК... Партия, ЦК справлялись с шавками и покрупнее...»

Антон Владимирович Антонов-Овсеенко имел относительно Берия такое мнение:

«Он был не просто подручным палача, он утвердился в столице как устроитель новой жизни. В реализации сталинского плана перерождения общества и уничтожения личности Берия показал себя подлинно государственным мужем.

Необозримы преступления, совершенные им под

Сталинской дланью рядом с генсеком. Ныне, спустя десятилетия, многие спрашивают: «Мог ли натворить подобное нормальный человек?»

Семьянин. Как ему это удалось, жениться на Нино Гегечкори? Она происходила из знатного, всеми уважаемого старинного рода.

Дядя, Евгений Гегечкори, был министром иностранных дел Грузии в меньшевистском правительстве и членом Государственной Думы. До становления Советской власти ему довелось сидеть в одной тюрьме с Лаврентием Берия. Так они и познакомились. Родство с Гегечкори в какой-то мере облегчило Берия путь наверх.

Он женился на шестнадцатилетней Нино в Баку и переехал в 1922 году в Тифлис вместе с ней. Вскоре у молодой четы родился сын.

Нино — наделенная редкой красотой, блондинка с чудными голубыми глазами. Могла ли она предполагать, что ее судьба пересечется с судьбой этого человека.

У Берия была сестра, глухонемая от рождения, Тамара. Когда ее оборотистый брат стал наркомом внутренних дел СССР, убогую взял в жены мелкий делец, некий Николай Квичидзе. Он торговал на улицах водой и теперь справедливо полагал свою карьеру обеспеченной.

Но Берия разом покончил с этими надеждами.

— Ты как на ней женился? — спросил он нового родственничка.

— Я полюбил ее.

— Ах, ты!.. Как же ты мог полюбить такую?!

И все же пришлось подыскать для Квичидзе под-

ходящую должность — начальника отдела рабочего снабжения (ОРС) управления Закавказской железной дороги.

Супруга Берия, Нино Теймуразовна, была приветлива и скромна, по тифлисским улицам ходила пешком, сына воспитала добрым, честным. Судьба матери оказалась незавидной. Она не могла не слышать о грязных похождениях супруга, об этом говорил весь Тифлис, но Нино Берия мужественно несла свой горестный груз и никому не жаловалась».

Серго Берия с первых дней Второй мировой войны был радистом разведгруппы за пределами СССР, в двадцать восемь — руководитель сверхсекретного КБ, доктор наук, главный конструктор ракетно-космических систем, принимавший участие в испытаниях первой атомной и разработках водородной бомбы, много сделавший для обороны.

Рассказывает Серго Берия...

«И о моем отце, и о нашей семье за последние сорок лет неправды написано много. Прожив 87 лет, мама, любившая отца всю жизнь, умерла с твердым убеждением, что все эти домыслы, откровенные сплетни понадобились партийной верхушке — а это от нее исходила ложь об отце — лишь для того, чтобы очернить его после трагической гибели.

Кому не знакома, скажем, легенда о похищенной Лаврентием Берия своей красавицы-невесты. В одной из «биографических» книг, изданных на Западе, но хорошо известной и у нас, автор утверждает, что в конце 20-х годов мой отец приехал в Абхазию в собственном роскошном поезде с какой-то проверкой хозяйственных дел в республике и повстречал здесь

мою будущую мать. Девушка ему понравилась, и он ее похитил. Сегодня эта «байка» кочует из одной публикации в другую, и никто почему-то не задумывается над фактами. А ведь стоит, наверное».

Конечно, стоит! А вот и «байка», изложенная в книге Тадеуса Уиттлина «Комиссар»:

«Находясь в конце 20-х годов в Абхазии, — рассказывает Тадеус Уиттлин, — Берия жил в роскошном специальном поезде, в котором он приехал в Сухуми. Поезд стоял на запасных путях, на некотором расстоянии от здания станции, и состоял из трех пульмановских вагонов: спальни, салон-вагона с баром и вагона-ресторана.

В тот вечер, когда Берия собирался отправиться в Тбилиси, около станции к нему подошла девушка лет шестнадцати, среднего роста, с черными глазами и сдобной комплекции. Девушка приехала из родной мингельской деревни, соседствовавшей с деревней Мерхеули, откуда родом был сам Берия. Она просила его заступиться за ее арестованного брата.

Берия заметил красоту девушки. Якобы желая получить дополнительные детали о брате, он пригласил ее в поезд, но не в салон и не в ресторан.

В спальном купе Лаврентий приказал девушке раздеться. Когда она, испуганная, хотела убежать, Берия запер дверь. Затем он ударил ее по лицу, скрутил руки за спиной, толкнул на кровать, навалился на нее всем телом.

Девушка была изнасилована.

Берия продержал девушку всю ночь. На следующее утро он приказал своему ординарцу принести завтрак на двоих. Перед тем как уехать по делам,

Лаврентий снова запер свою жертву. Берия был покорен свежестью и очарованием этой девушки, он также понял, что она именно тот тип, который полностью соответствует его чувствительности. Она была молода и невинна, но выглядела созревшей. Она была скромна, изящна, но ни в коем случае не худа. У нее были маленькие груди, большие глаза, излучавшие добрый свет, и пухлый чувствительный рот.

Было бы глупо с его стороны отказаться от такого создания природы. Берия провел еще несколько дней в Сухуми, проверяя выполнение пятилетнего плана 1928—1933 годов в деле строительства местных дорог и шоссе, нового жилья, больниц и школ. Все это время он держал свою маленькую пленницу запертой в поезде».

Серго Берия: «Мама моя, Нина Теймуразовна, моложе отца на шесть лет — она родилась в 1905 году. Отец ее — Теймураз Гегечкори — выходец из дворянского рода. Мать ее, моя бабушка, Дарико Чиковани, Дарья, княжеского происхождения.

Мама окончила сельскую школу в мингрельской деревне, затем гимназию.

Воспитывалась она в семье дяди Саши Гегечкори. Тот был большевиком. На его конспиративную квартиру и приходил мой отец. Они и познакомились с мамой благодаря Саше Гегечкори.

В конце 20-х я уже собирался в первый класс одной из школ моего родного Тбилиси».

А познакомились мои родители, как я уже говорил, гораздо раньше. Отец сидел в одной камере Кутаисской тюрьмы вместе с Сашей Гегечкори. Моя мама навещала дядю. Так и познакомились. Доста-

точно сопоставить некоторые факты, даты, и версия похищения рассыпается, как карточный домик, но этого почему-то не делают. Я уже не говорю о том, что никакого специального поезда молодой чекист Лаврентий Берия и в глаза не видел — не тот уровень.

Когда мы переехали из Тбилиси в Москву, отец получил квартиру в правительственном доме, его называли еще Домом политкаторжника. Жили там наркомы, крупные военные, некоторые члены ЦК. Как-то в нашу квартиру заглянул Сталин: «Нечего в муравейнике жить, переезжайте в Кремль!» Мама не захотела. «Ладно, — сказал Сталин, — как хотите. Тогда распоряжусь, пусть какой-то особняк подберут».

И дачу мы сменили после его приезда. В районе села Ильинское, что по Рублевскому шоссе, был у нас небольшой домик из трех комнатушек. Сталин приехал, осмотрел и говорит: «Я в ссылке лучше жил». И нас переселили на дачу по соседству с Кагановичем, Орджоникидзе. Короты и бассейнов ни у кого там не было. Запомнилась лишь дача маршала Конева. Он привез из Германии и развел у себя павлинов.

Мать, как и другие жены членов Политбюро, в магазин могла не ходить. Существовала специальная служба. Например, комендант получал заказ, брал деньги и привозил все, что было необходимо той или иной семье. А излишества просто не позволялись, если даже появлялось у кого-то из сталинского окружения такое желание. Лишь один пример: вторых брюк у меня не было. Первую шубу в своей жизни

мама получила в подарок от меня, когда я получил Государственную премию. И дело не в том, что отец с матерью были бедные люди. Конечно же нет. Просто в те годы, повторяю, не принято было жить в роскоши. Сталин ведь сам был аскет. Никаких излишеств! Естественно, это сказывалось и на его окружении.

Он никогда не предупреждал о своих приходах. Сам любил простую пищу и смотрел, как живут другие. Пышных застолий ни у нас, ни на дачах Сталина, о которых столько написано, я никогда не видел. Ни коньяка, ни водки. Но всегда хорошее грузинское вино. Это потом уже руководители страны почувствовали вкус к роскоши.

Когда я говорю об отце, всплывают в памяти давно забытые картины детства. Скажем, я с детства интересовался техникой, и отец это всячески поощрял. Ему очень хотелось, чтобы я поступил в технический вуз и стал инженером. Довольно характерный пример. Понятное дело, ему ничего не стоило даже тогда разрешить мне кататься на машине. Как бы не так... Хочешь кататься – иди в гараж, там есть старенькие машины. Соберешь – тогда гоняй Старенький «фордик» я, конечно, с помощью опытных механиков собрал, но дело не в этом. Отец с детства приучал меня к работе, за что я ему благодарен и по сей день.

Принесет стопку иностранных журналов и просит сделать перевод каких-то статей или обзор тех или иных материалов. Теперь-то я понимаю если бы дело было серьезным, неужели не поручил бы такую работу профессиональным переводчикам? Просто

заставлял таким «хитрым» образом трудиться. И отец, и мать моему воспитанию уделяли много внимания, хотя свободного времени у обоих было, понятно, маловато. Заставляли серьезно заниматься языками, музыкой, собственным примером приобщали к спорту.

Еще в школе я выучил немецкий, английский, позднее — французский, датский, голландский. Немного читаю по-японски. Стоит ли говорить, как это пригодилось мне в жизни...

Как и все мы, отец был неприхотлив в еде. Быт высшего эшелона, разумеется, отличался от того, который был присущ миллионам людей. Была охрана, существовали определенные льготы, правда, абсолютно не те, которыми партийная номенклатура облагодетельствовала себя впоследствии. Приходила девушка, помогавшая в уборке квартиры, на кухне. Был повар, очень молодой симпатичный человек; и, если не ошибаюсь, он даже имел соответствующую подготовку — окончил нечто наподобие знаменитого хазановского кулинарного техникума. Но, как выяснилось, опыта работы он не имел, что, впрочем, ничуть не смутило домашних. Мама сама готовила хорошо, так что наш повар быстро перенял все секреты кулинарного мастерства и готовил вполне сносно.

Предпочтение, естественно, отдавалось грузинской кухне: фасоль, ореховые соусы. Если ждали гостей, тут уж подключались все. Особых пиршеств не было никогда, но всегда это было приятно. Собирались ученые, художники, писатели, военные, навещали близкие из Грузии, друзья. Словом, как у всех.

Я еще раз повторяю, вся жизнь отца проходила

на глазах семьи. Срывы, наверное, были, у каждого человека есть какие-то слабости, но такие похождения — вздор. Если уж на то пошло, могу рассказать о девушке, которая действительно была любовницей отца, но никогда об этом никому не рассказывала.

Я был уже взрослым человеком, но отношения с отцом оставались у нас на редкость доверительные. Как-то зовет к себе. «Надо, — сказал, — с тобой поговорить. Я хочу, чтобы ты знал: у меня есть дочь. Маленький человечек, который мне не безразличен. Хочу, чтобы ты об этом знал. В жизни, — сказал, — всякое может случиться, и ты всегда помни, что у тебя теперь есть сестра. Давай только не будем говорить об этом маме...»

Мама умерла, так и не узнав о той женщине. Просьбу отца я выполнил.

А женщину ту я видел. Было ей тогда лет 20, может, немного больше. Довольно скромная молодая женщина. Жизнь у нее, правда, не сложилась. Вышла замуж, родился второй ребенок. Муж погиб. Снова вышла замуж... Отец ее был служащим, мать — учительница. А сейчас у моей сводной сестры самой, естественно, дети.

Одно время она была замужем за сыном члена Политбюро Виктора Гришина. Когда Гришин узнал, что его сын собирался жениться на дочери Берия, решил посоветоваться с Брежневым. Насколько знаю, Леонид Ильич отреагировал так:

— Хорошо, а какое это имеет отношение к твоему сыну? И что ты делаешь вид, будто не знаешь, что все это дутое дело...

Смерть Сталина я воспринял, скажу откровенно,

двойко. В основном, мне было жаль Светлану, его дочь. Она ведь — я это хорошо знал — и до этого была одиноким человеком, а после смерти Сталина жизнь ее и вовсе не заладилась. Внешне, конечно, и Хрущев, и Ворошилов, к примеру, ее опекали, на самом же деле, эти люди прекрасно знали очень слабую психику Светланы и подталкивали ее к тому, что в конце концов и случилось...

Запомнилась дочь Сталина умной, скромной девочкой. Хорошо знала английский. Очень была привязана к моей матери. Уже во время войны попал я в одну неприятную историю, связанную со Светланой. После возвращения с фронта подарил ей трофейный вальтер. Проходит время и в академию, где я учился, приезжает генерал Власик, начальник личной охраны Сталина.

— Собирайся, — говорит, — вызывает Иосиф Виссарионович.

Приезжаю. Никогда раньше такого не было, чтобы вызывал. Поговорили немного о моей учебе, а потом и говорит:

— Это ты Светлане револьвер подарил? А знаешь, что у нас дома с оружием было? Нет? Мать Светланы в дурном настроении с собой покончила...

Я обалдел. Знал, что мать Светланы умерла, но о самоубийстве никто у нас в доме никогда не говорил.

— Ладно, — сказал Сталин, — иди, но за такие вещи вообще-то надо наказывать...

Как-то, вспоминаю, Ежов приехал к нам домой вместе с женой. Был уже нетрезв.

— Что же, — сказал за столом. — Я все понимаю, моя очередь пришла...

Ежов успел отравить жену. Может, и не по-человечески это звучит, но в какой-то мере ей повезло — избежала всех тех страшных вещей, которые ее ожидали».

«ЧТО ДАЛО ПОВОД ТАК ПОЗОР- НО ЗАКЛЕЙМИТЬ МЕНЯ?»

Это случилось 11 декабря 1981 года. В дом на Кутузовском, 4, приехал молодой человек — навестить свою тетю. Звонил, стучал, барабанил в дверь — в ответ ни звука. А ведь о встрече условились заранее... Тете семьдесят четыре... Мало ли что... Да еще торчащая в двери записка от ее приятельницы, которая тоже не дозвонилась и не достучалась. И молодой человек помчался домой за запасными ключами... Когда открыли дверь и вошли в гостиную, увидели сидящую в кресле тетю... с простреленной головой. Этой тетей была известная и всеми любимая киноактриса Зоя ФЕДОРОВА. Ее загадочной и трагической судьбе обозреватель газеты «Совершенно секретно» Б. Сопельняк посвятил очерк «Загнанных лошадей пристреливают».

Много лет назад, а именно в 1927 году, двадцатилетняя счетчица Госстраха Зоенька Федорова обожала три вещи: фильдеперсовые чулочки, крохотные шляпки и... фокстрот. Танцевать она могла, как никто: красиво, зажигательно и, в самом прямом смысле слова, до упаду. Не думайте, что она не лю-

била чарльстон или шимми — любила, но не так. И ничего странного в этом нет! Чарльстон танцуют, в лучшем случае, взявшись за руки, а то и вовсе на расстоянии, о шимми и говорить нечего. А вот фокстрот... О, фокстрот! Это такой эротически-соблазнительный, такой быстрый и непредсказуемый танец, тут можно так импровизировать, что все подружки лопнут от зависти, а кто-нибудь из парней восхищенно всплеснет руками и совершенно искренне скажет: «Ну, прямо артистка. Прямо Мери Пикфорд!» Фокстрот-то и довел Зою Федорову до беды: ее арестовали.

Передо мной совершенно секретное Дело № 47268, заведенное ОГПУ 14 июня 1927 года на легкомысленную любительницу танцев. Здесь же ордер № 7799, выданный сотруднику оперативного отдела ОГПУ тов. Терехову на производство ареста и обыска гражданки Федоровой Зои Алексеевны. О том, что это дело не пустячок и речь идет отнюдь не о фокстроте, свидетельствует размашистая подпись все-сильного Ягоды, сделанная синим карандашом.

Арестовали Зою в три часа ночи. При обыске ничего компрометирующего не нашли: какие-то шпильки, зеркальца, пудреницы... Ничего не дала и анкета арестованной, заполненная в тюрьме. Семья самая что ни на есть простая: отец — токарь по металлу, мать — фасовщица, шестнадцатилетний брат вообще безработный. Связи, знакомства, контакты — тоже ни одной зацепки. А обвинение между тем предъявлено более чем серьезное: подозрение в шпионаже. И вот первый допрос. Можно представить состояние двадцатилетней девушки, когда кон-

воир вызвал ее из камеры и по длинным коридорам повел в кабинет следователя. Страха Зоя натерпелась немало, но вела себя собранно. Вот ее показания по существу дела:

— В 1926—1927 годах я посещала вечера у человека по фамилии Кебрен, где танцевала фокстрот. У него я познакомилась с военным служащим Прове Кириллом Федоровичем. Он играл там на рояле. Кирилл был у меня дома один раз, минут десять, не больше. О чем говорили, не помню, но, во всяком случае, не о деле. Никаких сведений он у меня не просил, и я ему их никогда не давала. О своих знакомых иностранцах он тоже никогда ничего не говорил. У Кебрен при мне иностранцев не было и у меня знакомых иностранцев нет.

При чем тут фокстрот, пианист, иностранцы, которых она не знала? Казалось бы, после таких пустопорожних показаний перед девушкой надо извиниться и отпустить домой, но не тут-то было: по данным ОГПУ, Прове работал на английскую разведку. И все же, поразмышляя, следователь А. Е. Вунштейн решает использовать Зою в качестве живца и принимает довольно хитрое постановление: «Рассмотрев дело № 47268 по обвинению Федоровой З. А. в шпионаже и принимая во внимание, что инкриминируемое ей обвинение не доказано и последняя пребыванием на свободе не помешает дальнейшему ходу следствия, постановил: меру пресечения в отношении арестованной Федоровой З. А. изменить, освободив ее из-под стражи под подписку о невыезде из г. Москвы».

Здесь же — четвертушка серой бумаги, на кото-

рой рукой Зои написано: «Я, нижеподписавшаяся гр. Федорова, даю настоящую подписку начальнику Внутренней тюрьмы ОГПУ в том, что по освобождении из вышеуказанной тюрьмы обязуюсь не выезжать из города Москвы».

О том, что Вунштейн установил за ней наблюдение и следствие по ее делу продолжалось, Зоя, конечно, не знала, но что-то заставило ее не бегать больше на танцульки, порвать старые связи. Были ли у нее впоследствии беседы со следователем и контакты с Ягодой, не известно, но этот человек с репутацией холодного палача сыграл в ее судьбе немалую роль. Именно он 18 ноября 1927 года подписал редчайшее по тем временам заключение: «Гражданка Федорова З. А. была арестована по обвинению в шпионской связи с К. Ф. Прове». Далее излагается суть ее единственного допроса, показания самого Прове и уникальный вывод: «На основании вышеизложенного следует констатировать, что инкриминируемое гр. Федоровой З. А. обвинение следствием установить не удалось, а посему полагал бы дело по обвинению Федоровой З. А. следствием прекратить и сдать в архив. Подписку о невыезде аннулировать».

Сказать, что Зое повезло, — значит, не сказать ничего. Вырваться из лап Ягоды — этим мало кто мог похвастаться. Но на этот раз гроза лишь прошумела над головой Зои. То ли мать особенно усердно молилась за дочку, то ли у Ягоды было хорошее настроение, то ли еще что... Однако, как ни горько об этом говорить, тоненькая папка с делом № 47268 будет дополнена четырьмя толстыми томами, а впоследствии еще семью. И все о ней — о Зое Алек-

сеевне Федоровой, так удачно станцевавшей свой первый фокстрот во Внутренней тюрьме Лубянки.

Прошло девятнадцать лет... Никому не ведомая счетчица Госстраха Зоя Федорова теперь одна из самых популярных актрис советского кино. Она снялась в фильмах «Музыкальная история», «Шахтеры», «Фронтовые подруги», «Великий гражданин», «Свадьба», была награждена орденом Трудового Красного Знамени, стала дважды лауреатом Сталинской премии. Все шло прекрасно... Но после 1940 года отношение к ней резко изменилось: сниматься не приглашали, а если и приглашали, то предлагали такие крохотные роли, браться за которые Зоя Алексеевна считала ниже своего достоинства. И объясняла это тем, что ее бывший муж кинооператор Рапопорт, используя свои связи, делал все возможное и невозможное, чтобы погубить ее как актрису.

Она вынуждена была зарабатывать на жизнь концертами, выступая в самых разных уголках Союза, а во время войны — поездками на фронт. После войны стало еще хуже. Федорова в отчаянии пишет Сталину, Берии, напоминает о себе и просит помочь. Сталин не ответил, а Берия ответил, но так по-бериевски, что лучше бы промолчал.

Как известно, этот человек никогда ничего не забывал и никому ничего не прощал. А обидеться на Зою Федорову ему было за что: он помог ей, вытащил из тюрьмы отца, арестованного в 1938-м по обвинению в шпионаже в пользу Германии, а она этого не оценила. Позже Зоя Алексеевна скажет, что до января 1941-го неоднократно встречалась с Берией, благодарила его за помощь, но ему этого было мало,

и он откровенно ее домогался, а в 1940-м дважды пытался изнасиловать.

Новый министр государственной безопасности Абакумов, конечно же, знал о своеобразных отношениях своего шефа с артисткой, и наверняка, советовался с ним, прежде чем подписать этот страшный документ, сломавший жизнь Зое Федоровой, — постановление на арест от 27 декабря 1946 года.

«Я, пом. нач. отделения капитан Раскатов, рассмотрев материалы в отношении преступной деятельности Федоровой Зои Алексеевны, нашел:

Имеющимися в МГБ СССР материалами Федорова З. А. изобличается как агент иностранной разведки. Кроме того, установлено, что Федорова является участницей группы англо-американской ориентации, стоящей на позициях активной борьбы с советской властью. Постановил: Федорову Зою Алексеевну подвергнуть аресту и обыску».

Через день после ареста первый допрос. Обычно такого рода допросы вели лейтенанты, в лучшем случае, капитаны, а тут полковник, да еще в должности заместителя начальника следственной части по особо важным делам. Значит, дело Федоровой не хотели предавать огласке и не хотели, чтобы о ее показаниях знали низшие чины. Позже выяснится и другой, наводящий на размышления факт: за время следствия Федорову 99 раз вызывали на допросы, а протоколы составлялись только в 23 случаях. Почему? О чем шла речь на тех 76 допросах, след которых в деле отсутствует?

А тогда, 29 декабря 1946 года, полковник Лихачев с первого же вопроса, как говорится, взял быка за рога:

— Вы арестованы за преступления, совершенные против советской власти. Следствие рекомендует, ничего не скрывая, рассказать всю правду об этом.

— Преступлений против советской власти я не совершала, — уверенно начала Зоя Алексеевна, но потом, видимо, поняв, что в чем-то признаваться все равно надо, добавила: — Единственное, в чем я считаю себя виновной, это в связях с иностранцами, особенно с англичанами и американцами.

— Это были связи преступного характера?

— Нет. Я принимала их у себя на квартире, бывала в посольствах, посещала с ними театры, выезжала за город.

— Назовите имена.

— Осенью 1942-го, посетив выставку американского кино, я познакомилась с корреспондентом американской газеты «Юнайтед пресс» Генри Шапиро и до его отъезда в США в конце 1945-го поддерживала с ним личные отношения. Бывая на квартире Шапиро, я познакомилась там с его приятелями: помощником военно-морского атташе США майором Эдвардом Йорком, сотрудником военной миссии майором Паулем Холлом, лейтенантом Чейсом. Особенно близкие отношения у меня сложились с Эдвардом Йорком, а через него я познакомилась с контр-адмиралом Олсеном, английским журналистом Вертом, его женой Шоу, а также редактором издающегося в СССР журнала «Америка» Елизабет Иган.

— Иган является установленной разведчицей. Непонятно, что могло вас сближать с ней.

— О шпионской работе Иган против Советского Союза я ничего не знала. А вообще, мы с ней очень

дружили, она часто бывала у меня, приходила за- просто, называла меня своей подругой. Через нее я познакомилась с руководителем редакции журнала полковником Филипсом, его женой Тейси, а также с некоторыми другими сотрудниками. Так я стала входя в посольство и военную миссию США, американцы, в свою очередь, бывали у меня. Общались я и с сотрудниками английской военной миссии майорами Тикстоном и Нерсом.

— Вы называли всех? У вас ведь были и другие связи. Почему вы о них не говорите?

Поняв, что от полковника ничего не скроешь, Зоя Алексеевна назвала еще одно, самое дорогое ей имя:

— Еще я была знакома с заместителем главы морской секции американской военной миссии Джексонсом Тейтом. С ним у меня были особенно хорошие отношения. Вскоре после нашего знакомства я начала с ним сожительствовать и в настоящее время имею от него ребенка.

Как же так? В анкете арестованной черным по белому написано: родители умерли, сестры живут в Москве, муж — Рязанов Александр Федорович, жив-здоров, дочь — Виктория Яковлевна, 1946 года рождения. Почему Яковлевна, а не Джексонсоне или, на худой конец, Александровна? Что за Яков, откуда он взялся? На некоторые из этих вопросов мы еще получим ответы, а вот что касается Якова — открыто мраком тайны.

Полковник Лихачев тоже отреагировал весьма своеобразно.

Он резко пресек излишняя Федоровой:

— Следствие интересуют не ваши интимные от-

ношения с иностранцами, а ваша преступная связь с ними. Об этом и рассказывайте. С кем из своего окружения вы познакомили иностранцев?

— С сестрами — Марией и Александрой, мужем Марии — артистом Большого театра Синицыным, моим мужем — композитором Рязановым, художницей «Союздетфильма» Фатеевой, сотрудницей «Огонька» Пятаковой и моей школьной подругой Алексеевой.

В ночь под Новый год — снова допрос, на этот раз куда более жесткий.

— На предыдущих допросах вы отрицали совершенные вами преступления против советской власти. Учтите, ваша преступная деятельность следствию известна, и если вы не станете рассказывать об этом, мы вынуждены будем вас изобличать.

— Изобличать меня не надо, — чего-то испугалась Зоя Алексеевна. — Оказавшись в тюрьме, я пересмотрела всю свою жизнь, все свои настроения и связи и пришла к выводу, что заключение меня под стражу является правильным.

Мне кажется, эта выученная наизусть фраза явно не ее: и стиль не ее, и слова не из лексикона актрисы. Скорее всего, начали приносить плоды те самые допросы, протоколы которых не велись.

— А конкретнее, — подтолкнул ее полковник. — В чем вы признаете себя виновной?

— В том, что на протяжении последних лет проявляла резкие антисоветские настроения и высказывала намерение любыми путями выехать в Америку... Как я уже говорила, отцом моего ребенка является Джексон Тейт. Хочу откровенно сказать, что

мною руководила мысль с помощью ребенка привязать Тейта к себе и, если представится возможность, уехать с ним из Советского Союза в США. Правда, моя сестра Мария на этот счет придерживалась другого мнения: она советовала добиться от Тейта получения денег на содержание ребенка, ведь жена Тейта — владелица нескольких заводов по производству стали и этому состоятельному семейству ничего не стоило перевести на мой счет крупную сумму. Приняв решение, я попросила Иган передать Тейту письмо, который к этому времени уехал в США: в письме я сообщала о своей беременности. Не получив ответа, передала письмо через Холла, но тот Тейта не нашел, так как он уехал куда-то на Тихий океан. После рождения Виктории я передала в Америку ее фотографии, но так и не знаю, дошло ли все это до Тейта. В Москве об этих письмах никто не знал, так как отцом Виктории был объявлен мой муж Рязанов.

Самое странное, что Рязанов против этого не возражал. Арестованный несколько позже, он на одном из доносов показал: «В конце июля 1945 года Федорова по секрету сообщила мне, что беременна от сотрудника американской военной миссии капитана I ранга Джексона Тейта, который уже уехал в США. Мы условились, что в качестве отца ребенка она будет называть меня. Я пошел на это потому, что тоже высказывал желание уехать в Америку и надеялся осуществить этот план с помощью Федоровой».

— В чем еще вы признаете себя виновной? — спросил полковник.

— Говоря откровенно, сборища на моей квартире

нередко носили откровенно антисоветский характер. Собираясь вместе, мы в антисоветском духе обсуждали внутреннюю политику, клеветали на материальное благосостояние трудящихся, допускали злобные выпады против руководителей ВКП(б) и советского правительства. Мы дошли до того, что в разговорах между собой обсуждали мысль о свержении такого правительства. Например, артист Кмит (Петька в фильме «Чапаев» — Б. С.) в ноябре 1946 года заявил, что его враждебные настроения дошли до предела, в связи с чем он имеет намерение выпускать антисоветские листовки. Я и моя сестра Мария тут же выразили готовность распространять их по городу.

Ну разве могла Федорова произнести такое: «клеветали на материальное благосостояние трудящихся»? Да и Кмит, наверняка, понимал бессмысленность затеи с листовками. Нет, все эти формулировки родились в профессионально отшлифованном мозгу следователя. Кстати, это подтвердится много лет спустя: протоколы допросов во многом сфальсифицированы, следователи не только задавали вопросы, но и сами отвечали на них, вставляя в ответы термины, один умнее и позорнее другого, как напишет Зоя Алексеевна.

А пока... пока следствие шло своим ходом. Полковник подводил Федорову к самому главному:

— Какие конкретные методы борьбы против советской власти вы обсуждали?

То, что скажет Зоя Алексеевна (или что ее заставят сказать), настолько ужасно, что я поражаюсь, как она могла подписать этот протокол! А ведь ее

подпись на каждой страничке. Неужели не понимала, что подписывает себе смертный приговор?!

— Мне тяжело и стыдно, но я должна сказать, что в ходе ряда враждебных бесед я высказывала террористические намерения против Сталина, так как считала его основным виновником невыносимых условий жизни в Советском Союзе. В связи с этим против Сталина и других руководителей ВКП(б) и советского правительства я высказывала гнусные клеветнические измышления — и в этом признаю себя виновной.

Ловушка захлопнулась! Федорова была обречена. Полковник Лихачев ликовал: раскрытие покушения на вождя — большая заслуга, которая, несомненно, будет замечена руководством. А если учесть, что во время обыска на квартире Федоровой обнаружили «браунинг» — то вот оно и орудие убийства, и не имеют значения слова подследственной, что пистолет якобы подарил знакомый летчик в память о поездке на фронт: пистолет надо было сдать, а раз не сдала — статья об ответственности за незаконное хранение оружия. У следствия нет сомнений, что «браунинг» можно было использовать при покушении на Сталина. Так что все сходится.

Рассудив таким образом и посчитав эту линию обвинения законченной, полковник решил добить Зою Алексеевну, заставив ее признаться в том, что она, помимо всего прочего, американская шпионка. И он этого добился. Раз Елизабет Иган установленная разведчица, то кем может быть ее советская подруга? Разумеется, агентом. Таким же разведчиком был и представитель американской военной миссии в

Одессе Джон Харшоу, а Федорова во время киносъемок встречалась с Харшоу. Зачем? Конечно же, чтобы передать разведданные. Какие у актрисы могут быть данные, подрывающие устои государства? Это не имеет значения: с разведчиком без дела не встречаются.

А визит к мексиканскому послу? А контакты с китайским послом? А банкет в честь ее дня рождения в американском посольстве? Почему на изъятой при обыске фотографии рядом с Федоровой чешский генерал? И почему Федорова в форме американского офицера? И наконец, встречи с послом США Гарриманом, с которым она познакомилась еще в 1943 году. Попробуй-ка кто-нибудь из людей куда более известных пробиться к американскому послу, а Федорова встречалась с ним неоднократно. И на фотографии они рядышком.

Так родилось обвинительное заключение по делу, которое к этому времени стало групповым — по нему проходили семь человек во главе с Зоей Федоровой. 15 августа 1947 года оно было утверждено генерал-лейтенантом Огольцовым и вскоре внесено на рассмотрение Особого совещания МГБ СССР.

Главные пункты обвинения Зои Алексеевны выглядят довольно зловеще: «Являлась инициатором создания антисоветской группы, вела враждебную агитацию, допускала злобные выпады против руководителей ВКП(б) и советского правительства, призывала своих сообщников к борьбе за свержение советской власти, высказывала личную готовность совершить террористический акт против главы советского государства. Поддерживала преступную связь

с находившимися в Москве иностранными разведчиками, которым передавала извращенную информацию о положении в Советском Союзе. Замышляла совершить побег из СССР в Америку. Кроме того, незаконно хранила у себя оружие».

Предложенное наказание — 20 лет исправительно-трудовых лагерей. Остальным «подельцам» — от десяти до пяти лет. Однако Особое совещание решает, что 20 лет — мало и постановляет: «Федорову Зою Алексеевну заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет». Документ подписан 8 сентября 1947 года, а уже 27 декабря Особое совещание ужесточает наказание: «Исправительно-трудовой лагерь заменить тюремным заключением на тот же срок». Через три дня ее отправляют в печально известный Владимирский централ. За что? Ведь чтобы принять такое решение, нужны очень серьезные основания.

Основания были. Сопоставив даты, я понял, в чем дело и кто инициировал эту акцию. Зоя Алексеевна имела неосторожность обратиться с письмом к своему давнему, но отвергнутому поклоннику.

«Многоуважаемый Лаврентий Павлович! Обращаюсь к Вам за помощью, спасите меня. Я не могу понять, за что меня так жестоко терзают.

В январе 1941 года, будучи несколько раз у Вас на приеме по личным вопросам, я хорошо запомнила Ваши слова. Вы разрешили мне обращаться к Вам за помощью в тяжелые минуты жизни. И вот тяжелые минуты для меня настали, даже более чем тяжелые, я бы сказала — смертельные. В глубоком отчаянии обращаюсь к Вам за помощью и справедливостью.

27.XII.46 года я была арестована... Я была крайне удивлена этим арестом, так как не знала за собой никаких преступлений. Правда, за последние шесть лет министерство кинематографии постепенно затравливало меня. Последние два года я чувствовала себя в опале. Это озлобило меня, и я среди своих родственников и друзей критиковала нашу жизнь. Говоря о материальных трудностях, я допускала довольно резкие выражения, но все это происходило в стенах моей квартиры. Находясь в жизненном тупике, я всячески искала выход: обращалась с письмом лично к Иосифу Виссарионовичу Сталину, но ответа не получила; пыталась зайти к Вам, но меня не пустили Ваши сотрудники...

Инкриминированное мне преступление и весь ход следствия напоминают какую-то кровавую комедию, построенную следователями на нескольких неосторожно мною сказанных фразах, в результате чего на бумаге из меня сделали чудовище. Я пыталась возражать и спрашивала: «Зачем вы все преувеличиваете и сами за меня отвечаете?» А мне говорили, что если записывать мои ответы, то протоколы будут безграмотны. «Вы боитесь терминов», — говорили мне и вставляли в мои ответы термины — один другого ужаснее, один другого позорнее, делавшие из меня изверга и изменника Родины.

Что дало повод так позорно заклеить меня? Мое знакомство с иностранцами. Но знала ли я, что дружба, которая была у нас с ними в те годы, перейдет во вражду и что это знакомство будет истолковано как измена Родине?! Но этого мало, полет жестокой фантазии следователей на этом не остановил-

ся. Подаренный мне во время войны маленький дамский пистолет послужил поводом для обвинения меня в террористических намерениях. Против кого? Против Власти?

Против партии и правительства, ради которых, если Вы помните, я дала Вам согласие остаться в Москве на случай, если немцы захватят ее, чтобы помогать Вам вести с ними подпольную борьбу.

Следователи говорили мне: «Не бойтесь, эти протоколы будут читать умные люди, которые все поймут правильно. Неужели вы не чувствуете, что вам хотят протянуть руку помощи? Вас надо было встряхнуть. Да и вообще, это дело вряд ли дойдет до суда». Я сходила с ума, решила покончить с собой и повесилась в одиночной камере Лефортовской тюрьмы, но умереть мне не дали... Потом я была отправлена в Темниковские лагеря — больная, полусумасшедшая. Но Особому совещанию показалось недостаточным столь суровое наказание и через два месяца они решили добавить конфискацию имущества, отнять то, что было нажито в течение всей жизни честным трудом. Этим они наказали не меня, а моих маленьких детей, которых у меня на иждивении было четверо: самой маленькой, дочери, два года, а самому старшему, племяннику, десять лет.

Я умоляю Вас, многоуважаемый Лаврентий Павлович, спасите меня! Я чувствую себя виноватой за легкомысленный характер и несдержанный язык. Я хорошо поняла свои ошибки и взываю к Вам как к родному отцу. Верните меня к жизни! Верните меня в Москву! За что же я должна погибнуть? Единст-

венная надежда у меня на Ваше справедливое решение. 20.12.1947 года».

Повнимательнее проанализируем это письмо. В январе 1941-го Зоя Федорова несколько раз была у Берии по личным вопросам. Хлопотать вроде бы не за кого: ее отец уже на воле, все друзья и родственники на свободе. Но если грозный и всегда занятой нарком внутренних дел принимает ее несколько раз в течение одного месяца, значит, дела были достаточно серьезные. Думаю, непосредственное отношение к ним имеет и разрешение Берии обращаться за помощью лично к нему.

И уж совсем откровенно звучит напоминание о согласии, данном лично Берии, остаться для подпольной борьбы в Москве. Не станет, ох, не станет должностное лицо такого уровня, как Берия, вести разговоры о подпольной работе с посторонним для его ведомства человеком.

Если сопоставить даты, то все выглядит именно так: 20 декабря письмо уходит из лагеря, 23-го группа сотрудников МГБ во главе с генерал-лейтенантом Селивановским подписывает заключение, в котором рекомендует 25 лет ИТЛ заменить на 25 лет тюремного заключения. Причина? «Отбывая наказание в лагерях МВД Федорова З. А. пыталась установить нелегальную связь с иностранцами». Как можно, будучи за колючей проволокой, да еще у черта на куличках, установить связь с иностранцами, находящимися в Москве? Но нелепость ситуации никого не волновала: главное, выполнено указание «родного отца», и теперь строптивая актерка не раз проклянет себя за гордыню и упрямство. Так оно и случилось:

27-го Особое совещание проشتهмпелевало заключение МГБ, а 30 декабря Федорова была этапирована во Владимир.

Как она выжила, как все это вынесла?! Ведь по имеющимся в деле справкам Зоя Алексеевна была серьезно больна, да и в письме к Берии жалуется на малокровие и чисто женские заболевания. Но она держалась... И продержалась до января 1955 года, когда Центральная комиссия по пересмотру дел вышла с предложением: «Решение Особого совещания от 8 сентября 1947 года изменить, меру наказания снизить до фактически отбытого срока и из-под стражи Федорову Зою Алексеевну освободить. Конфискованное имущество возвратить». Такое же предложение было высказано и в отношении всех ее «подельцев», вот только сестра Мария этого решения не дождалась: умерла в заключении.

В феврале Зою Алексеевну освободили. А в августе Центральная комиссия все постановления Особого совещания отменила и дело в уголовном порядке прекратила. Своеобразный экзамен с честью выдержали друзья и коллеги Зои Федоровой. Их попросили, казалось бы, о малом: написать характеристику артистке Федоровой. Нет уже ни Сталина, ни Берии, но кто знает, как себя вести: ведь об этом просит не ЖЭК и не домком, а Лубянка. И вот что замечательно: характеристик нужно было не более трех-четырех, а их пришлось двенадцать! Что ни говорите — это поступок, поэтому я назову всех, кто сказал самые теплые слова о Зое Федоровой: И. Пырьев, С. Михалков, А. Абрикосов, Л. Целиковская, М. Астанов, Б. Бабочкин, Б. Барнет, Ф. Раневская,

С. Юткевич, В. Эйсымонт, Л. Арнштам, Э. Гарин.

Жизнь надо было догонять. Девять лет в ГУЛАГе — это не шуточки: потеряны здоровье, форма, забыл зритель, а жить на что-то надо. Не в Госстрах же снова обращаться! И Зоя Алексеевна взялась за себя, как это могла только она, — и снялась более чем в тридцати фильмах. Роли были и главные, и эпизодические, но самое важное, они были! Потрясающая работоспособность дала результаты — в 1965 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Последняя ее работа — фильм «Живите в радости» (1977 год). Потом она сказала: «Все, уйду на пенсию. Пора и отдохнуть». Но отдыха не получилось. Дом у нее хлебосольный, друзей и знакомых тьма. Конечно же, Зоя Алексеевна скучала по дочери, хотела съездить к ней в Америку, кто-то ее одобрял, а кто-то отговаривал — в 1981-м такие поездки были не столь частыми и не столь простыми, как сейчас. Короче говоря, Зоя Алексеевна жила обычной жизнью не совсем обычной советской пенсионерки.

Так было до трагического вечера 11 декабря 1981 года.

— Кому помешала Зоя Алексеевна? И почему это преступление до сих пор не раскрыто? — спросил Б. Сопельняк у начальника следственного управления прокуратуры города Москвы В. П. Конины.

— Племянник обнаружил убитую вечером, но убийство произошло днем. На месте преступления нашли пулю и гильзу от пистолета «зауер». Следы борьбы отсутствовали. Замки на дверях целые. Из квартиры, судя по всему, ничего не похищено. Но и

следов преступника или преступников тоже не обнаружено. Работали профессионалы, причем хорошо знакомые Зое Алексеевне. Скорее всего, она сама открыла дверь, потом спокойно села в кресло, к ней подошли сзади и выстрелили в затылок. Но так как преступление не раскрыто, говорить о большем, в интересах следствия, я не имею права. А тогда... Я хорошо помню, что тогда были подняты на ноги милиция и прокуратура Москвы. Отработаны многочисленные связи, знакомства и контакты Зои Алексеевны. На причастность к убийству мы проверили свыше четырех тысяч человек, в том числе более ста ранее судимых. К рассмотрению принимались самые разные версии — от убийства на бытовой почве до убийства по политическим мотивам. Но ни одна не дала положительного результата. Следствие по делу было приостановлено.

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА

«Мы так же не можем навеки сохранить любовь, как не могли не полюбить.

Умирает любовь от усталости, а хоронит ее забвение.

И при рождении и на закате любви люди всегда испытывают замешательство, оставаясь наедине друг с другом.

Угасание любви — вот неопровержимое доказательство того, что человек ограничен и у сердца есть пределы.

Полюбить — значит, проявить слабость; разлюбить — значит, иной раз проявить не меньшую слабость.

Люди перестают любить по той же причине, по какой они перестают плакать: в их сердцах иссякает источник и слез и любви». Так писал французский моралист Жан де Лабрюйер в книге «Характеры или Нравы нынешнего века».

Каждому человеку присуще желание любить и быть любимым. Но как сделать, чтобы ваш брак был основан на взаимной любви?

Можно попытаться правильно вести себя и в этой ситуации.

Самое главное для человека — его желание жить. Именно стремление к жизни является тем важным источником, который дает человеку энергию и силу.

Способности человека подобны углям костра, дающего тепло тем, кто его разжигает. Угли могут вспыхнуть ярким пламенем, но могут и угаснуть. Все зависит от силы воли человека, от его энергии.

В семейной жизни, основанной на чувстве любви, внутренняя энергия двух людей объединяется, чтобы породить новую, более мощную энергию.

Брак чем-то похож на паломничество, на поиск счастья и любви, однако, никто не может знать точно: что встретиться на дороге.

Корреспондент «Комсомольской правды» Ирина Мастыкина встретила с дочерьми маршала Жукова и взяла у них интервью.

— Поскольку прежде всего сейчас меня интересует семья маршала Жукова, хочу спросить вас, Элла Георгиевна и Эра Георгиевна, о том, где и при ка-

ких обстоятельствах познакомились ваши родители?

Эра Г.: Это случилось в 20-м году, в Воронежской губернии, где мама родилась, а отец воевал с бандой Антонова. Так вот, однажды нашу маму стали преследовать несколько красноармейцев, и отец ее защитил. Понравились они друг другу с первого взгляда и больше уже не расставались.

Мама стала за отцом всюду ездить. Часами тряслись в разваленных бричках, тачанках, жила в нетопленных избах. Перешивала себе гимнастерки на юбки, красноармейские бязевые сорочки — на белье, плела из веревок «босоножки»... Из-за этих кочевок она и потеряла первого своего ребенка, как говорили — мальчика. Больше ей рожать не советовали — хрупкое было здоровье. Но она все-таки решилась, и в декабре 28-го года в Минске родила меня, а через восемь лет, в апреле 37-го, в Слуцке, на свет появилась Элла.

— Отец не расстроился из-за того, что рождались одни девочки?

Элла Г.: Ни разу. Даже когда друзья над ним в связи с этим подшучивали: что мол, бракодел, сына-то хочешь? — он всегда отвечал: «Мальчишки хулиганят. С девочками спокойней».

— Когда ваши родители официально оформили свои отношения?

Элла Г.: В первый раз они расписались в 22-м году. Но, видимо, за годы бесконечных переездов документы потерялись, и вторично отец с мамой зарегистрировались уже в 53-м году в московском загсе. Скорее всего это было с чем-то связано... Сейчас уж трудно сказать.

— Александра Диевна когда-либо в своей жизни работала?

Эра Г.: В свое время мама окончила гимназию, до встречи с отцом была учительницей, а после отец взял ее в отряд на должность писаря. Потом она работала разве что по общественной линии: женсоветы, детдома, спорт, выставки. Некогда было — появились дети, да и быт приходилось налаживать, создать для семьи уют...

— Вы когда-нибудь подолгу жили без отца или постоянно следовали за ним к его новому месту службы?

Элла Г.: У нас был закон: куда бы отца ни направляли — семья всегда должна была быть рядом. Мать настолько любила отца, что не мыслила без него жизни. За десять лет Эре, например, пришлось сменить одиннадцать школ. Отец нас затребовал к себе даже в Монголию, где еще шли бои. Летали мы к нему в конце 41-го года на фронт — ночью, на спецсамолете. А августе нас всех эвакуировали в Куйбышев, а линия фронта к Новому году подходила к Москве, поэтому штаб был в Перхушкове.

Эра Г.: Там отец нарядил для нас елочку, накрыл стол, где было много еды и небольших конфет. Никто нам не запрещал есть сколько хочется, и было очень весело. Это ощущение праздника осталось до сих пор. Потом мама ездила к отцу на фронт уже одна, дней, наверное, на десять. А когда не могла — отправляла с оказией капусту, бруснику, грибы и так далее.

— Георгий Константинович всегда придавал большое значение образованию...

Эра Г.: В молодости мама долго учила отца русскому языку, заставляла писать диктанты. Отец ведь закончил только церковно-приходскую школу, но, тем не менее, все время совершенствовался. Раньше в его письмах было столько ошибок! А потом, смотришь, все меньше и меньше. Мама очень много в этом смысле ему дала.

— В 47-м году вашего отца удалили в Одессу, а затем сослали еще дальше — в Свердловск. Поговаривали, что поводом к'этому послужил чей-то донос о присвоении Жуковым несметного количества антиквариата, драгоценностей, мебели, посуды, мехов и так далее, вывезенных им из Германии. Упоминался и некий черный чемоданчик с золотом и бриллиантами, который ваша мама якобы постоянно возила с собой.

Элла Г.: Все эти доносы были частью заговора против отца. Ему просто тогда шилось «дело» о ма-родерстве. Сталин, конечно, дал указание «факты» проверить, и в нашей московской квартире, а затем и на даче был тайно проведен обыск. После войны мы, действительно, наконец-то зажили в достатке. Но все наше добро было куплено в Германии на высокую папину зарплату, которую тогда платили в оккупационных марках. И на каждую вещь сохранилась квитанция. Что же касается «чемоданчика с драгоценностями», то речь, видимо, шла об обычном дорожном несессере, который маме подарил отец. Ничего, кроме всяких кремов, щеточек, пудры и прочего, там отродясь не было...

Эра Г.: Я помню, каким унижительным для нас был второй обыск. Его проводили уже легально.

Отец тогда впервые узнал о том, что некоторые из приобретенных им в Германии вещей были музейными экспонатами. Например, фламандские гобелены, старинные часы, два ружья. Когда отцу сказали, сколько они стоят, он схватился за голову. Потом все наши ценности переписали и забрали. Даже подарки маме. Например, брошку в виде звезды, которую ей со словами: «У маршала есть своя маршальская звезда, а жена маршала тоже заслужила награду», преподнесла на День Победы ее приятельница Лидия Русланова. Очень красивая работа, с крупными бриллиантами посередине. Оставили только вещи, на которых стояли дарственные надписи.

— В 57-м году Жукова отстранили от должности министра обороны, отправили в отставку. Этот период был для него, наверное, самым тяжелым в жизни. Как он вел себя тогда и чем его поддерживала мама?

Элла Г.: Отец у нас был не из тех людей, которые считали, что с крушением карьеры вся жизнь кончена. Переживал он, конечно, очень. Первое время писал Хрущеву. На что-то надеялся. Но потом смирился. А мама в эти годы от него просто не отходила ни на шаг. Хотя у нас уже и была прислуга, но мама по-прежнему каждый вечер стирала отцовские носки собственноручно. Помню, еще так смешно: под краном мылом хозяйственным их намылит и трет, трет... Плакала ли? Нет, никогда. Отец не любил слез, и у нас в доме подобные слабости не в почете.

Эра Г.: Помню, однажды, провожая отца в Монголию, мама не удержалась и расплакалась. И в первом же письме отец сообщил, что своими слезами мама его очень обидела. Впредь он просил ее сдер-

живаться, чтобы можно было не беспокоиться за семью и целиком заниматься работой...

— Георгий Константинович и Александра Диевна прожили вместе душа в душу почти сорок лет. И вдруг неожиданно в его жизни появляется другая женщина, и от нее — дочь. Когда вы об этом узнали?

Элла Г.: Первой узнала мама. Сразу же после того, как отца в 57-м сняли со всех постов, из его рабочего кабинета к нам домой привезли хранившиеся там документы. Мама стала их разбирать и наткнулась на фото какой-то женщины. Понятно, сразу же потребовала у отца объяснений. Наши родители всегда были откровенны друг с другом. Отец и на сей раз ничего скрывать не стал. Так мама узнала о Галине Александровне Семеновой, которую отец встретил еще в Свердловске, видимо, в то время, когда мама уезжала в Москву, навестить нас с сестрой. Потом эта женщина переехала сюда, отец обеспечил ее квартирой... А в 57-м у них родилась дочь Маша. Но о ней отец сказал маме года через четыре, когда встал вопрос о ее удочерении. Отцу хотелось дать дочке свою фамилию, а тогда на это нужно было и разрешении его законной жены. Мама по своей безоглядной доброте против, конечно, ничего не имела. Мы с сестрой считаем, что она этим почти женский подвиг совершила.

Эра Г.: Для нашей мамы это было не первое потрясение подобного рода. Во время войны отец тоже жил с женщиной — своим фельдшером Лидой Захаровой. После контузии у него часто возникали боли в пояснице, он плохо слышал, к нему и прикомандировали медработника. Случайно мама об этом узна-

ла. Переживала очень, но никаких скандалов отцу не закатывала. Всегда по этому поводу деликатно отмалчивалась. Она знала, каким интересным мужчиной был отец и как на него вешались женщины. К тому же на войне свои законы... К счастью, Лида оказалась порядочным человеком. Никогда ничего у отца не требовала и даже о себе не напоминала. Может быть, поэтому мы и узнали о ней совсем недавно. От шофера отца, который возил его всю войну. Он же нам рассказал и о сохранившемся у Захаровой большом архиве фронтовых фотографий отца. Но что с ним стало теперь — неизвестно. Несколько лет назад Лида погибла в автокатастрофе.

Элла Г.: Отношения с Галиной Александровной, как и связь с Лидой, от нас с Эрой тоже долго пытались скрывать, но разве это можно сделать в одной квартире? Ведь по этому поводу в доме велись долгие разговоры, и многие из них мы просто не могли не слышать. Мама очень страдала, но и на сей раз простила отца. «Только не уходи из семьи», — просила. Отец тоже мучился. Однако считал, что мы с сестрой уже устроены, у каждого из нас своя жизнь, а Маше нужна поддержка. Временами он уходил из дома на несколько дней, потом возвращался и снова уходил. Ну, у мамы, может быть, тоже выдержки не хватило... В общем, это было трагедией целой семьи. В результате папа все-таки ушел насовсем и в январе 65-го оформил развод. Тогда ему было уже 69 лет, а нашей маме — 65.

— Что в это время стало с Александрой Диевной?

Элла Г.: Она была в очень тяжелом состоянии — плакала, жаловалась на жизнь, которая без отца для

нее закончилась. Сразу как-то постарела, обострилась ее гипертония. Мы уговаривали маму лечь в больницу, но она категорически отказывалась. Эра к этому времени со своей семьей жила уже отдельно, а я со своей — с родителями.

Эра Г.: Я приду к ней, бывало, что-то о детях рассказываю, чтобы отвлечь. Она вроде все слушает, а потом вдруг раз — и опять ушла в себя. Мама ведь всю жизнь отцу отдала. Свою любовь пронесла через все эти годы. Это была незаживающая рана.

— Насколько я знаю, заметный след в судьбе вашего отца оставила и еще одна женщина — из Белоруссии. Кто она такая и когда все это произошло?

Элла Г.: В 1928 году, в Минске. Мама была в положении и плохо себя чувствовала. К ней приходили чем-то помочь и просто навестить подруги, в том числе и эта женщина. Она появлялась одна и засиживалась допоздна, чтобы отец потом проводил... В результате в 1929 году родилась дочь. Все сразу поняли, от кого. Общество-то маленькое, все друг у друга на виду... У отца были большие неприятности. Состоялся даже суд по поводу алиментов.

Году где-то в 1951-м когда я училась в аспирантуре, мне позвонила некая женщина и сказала, что пишет диссертацию на близкую моей теме и хочет сообщить какие-то моменты. Я попала на эту удочку. На встречу по указанному адресу отправилась с мужем. Он остался у подъезда, а я зашла в одну из комнат коммунальной квартиры. И вдруг увидела на стене фотографию отца с надписью его почерком — «Маргарите». У меня земля уплыла из-под ног, поскольку о существовании сестры я тогда даже не по-

дозревала. А она что-то говорила о том, что нуждается в сестрах, общении... Дома я еле дождалась, когда отец вернется с работы и потребовала объяснений. Вот тогда-то мне и рассказали об этой истории.

Вскоре после рождения ребенка ее мать вышла замуж за человека, который удочерил Маргариту. Потом он погиб на фронте. И мать Маргариты решила открыть правду дочери об ее отце. Девушка приезжает в Москву, появляется у отца на работе... Он помогает ей поступить...

Видимо, поняв за это время, что собой представляет Маргарита, отец уже тогда, при нашем объяснении, категорически запретил мне поддерживать с ней отношения. А на следующий день у нас сменили все телефоны.

Но и тогда Маргарита не оставила нас в покое. Поджидала меня у издательства, где я уже работала, и просила передать отцу письма. Я по какой-то своей идиотской доброте передавала. А в письмах этих, как потом мне рассказала мама, были сплошные требования денег.

Элла Г.: А в начале семидесятых Галина Александровна рассказала мне, что Маргарита и дома понимала отца до предела: постоянно требовала денег, хотя сама уже была вполне взрослым человеком. Отец боялся, что все станет известно Маше, и исполнял все ее требования. Последней каплей его терпения стало письмо Маргариты, в котором она, по словам Галины Александровны, в связи с выходом в свет книги отца требовала от него либо сразу выделить ей крупную сумму, либо выплачивать в месяц то ли по 120, то ли по 150 рублей.

И отец, и его вторая жена этим так были возмущены, что прервали с этой дамой всяческие отношения. Не подходили к телефону, выбрасывали, не читая, письма... Совсем незадолго до смерти отец нам с Эрой сказал, что эта женщина — аферистка и что он запрещает иметь с ней что-либо общее. К счастью, к нам она больше не обращалась — мы ей стали неинтересны. Взять-то нечего.

— И когда же она появилась на вашем горизонте вновь?

Элла Г.: На похоронах отца, в июне 1974 года. Я ее вообще ни разу в жизни до этого не видела, но, как только вошла в траурный зал, сразу поняла, кто там уже рядом с гробом сидит. Тогда было много разных неприятных моментов. Маша, например, вообще ничего не знала о существовании Маргариты. Не помню уж кто, но ей тогда об этом сказали. Можете себе представить ее состояние? Потом, когда процессия пошла к Мавзолею, Маргарита была чуть ли не в первом ряду. Мы вынуждены были обратиться к распорядителям с просьбой несколько удалить ее от гроба. Но никто с ней связываться не хотел.

Эра Г.: Ну не станем же мы сами отпихивать ее на похоронах. Нам и не до этого тогда было... Вот с тех пор все и понеслось. Видимо, всю свою кампанию она продумала очень тщательно. Почти сразу же после похорон стала ездить по провинции и выступать с рассказами «об отце». А что она может о нем сказать, если ни дня не прожила в семье? Узнав об этом, мы написали в общество «Знание», от которого она работала, в Министерство обороны, но никто к нам не прислушался.

— О чем же вы просили в тех письмах?

Элла Г.: Разобраться в ситуации. Маргарита — не член семьи и выступать от имени семьи не имеет права. Ведь она никому не говорила поначалу, что внебрачная дочь.

Эра Г.: Да мы бы ничего не имели против ее деятельности, помогли даже, если бы не ее поведение: грубое, резкое, нетерпимое. В Перми, например, один ветеран спросил ее, в каком году умер маршал Жуков. Так знаете, как она на него напустилась! За что? Никто не спорит с тем, что она дочь Георгия Константиновича Жукова. Но нельзя же постоянно этим козырять!

— Если Георгий Константинович не признавал свою внебрачную дочь, каким образом тогда она оказалась Жуковой да еще Георгиевной?

Элла Г.: В этой истории много странностей. Непонятно, как после смерти отца она сменила фамилию своему сыну. Раньше он был Певцов, теперь вот уже Жуков.

— Перед своей смертью маршал что-нибудь Маргарите Георгиевне завещал?

Элла Г.: По отдельному завещанию тысячу рублей. Нам с Эрой папа оставил по пять тысяч. На эти деньги тогда можно было купить машину. Ну, а основной наследницей — авторских прав — стала Мария. За 22 года со дня смерти отца его книги вышли примерно в тридцати странах.

— Вы поддерживаете с ней сейчас отношения?

Эра Г.: Видите ли, у нас очень большая разница в возрасте. Мне сейчас — 67 лет, Элле — 59. А Маше в июне только исполнится 39. Мы в хороших от-

ношениях, но видимся и общаемся сейчас редко, только по необходимости.

— Скажите, пожалуйста, какие-то привилегии остались у семьи маршала Жукова после его смерти?

Элла Г.: Одна-единственная — поликлиника 4-го управления. Но в эпоху борьбы с привилегиями товарищ Рыжков лишил нас и ее.

— Кто вы, дочери великого полководца, по профессии?

Эра Г.: Обе мы окончили МГИМО. Я — юридический факультет, Элла — страноведения, но потом она переквалифицировалась в журналиста-международника, более тридцати лет проработала в Радиокomitee. А сначала из-за отца с вехом Громыко ее хотели распределить в какое-то издательство корректором. Были проблемы с устройством на работу и у меня. Шел 57-й год, и дочь опального министра обороны никто не хотел к себе брать. Несколько лет проработала научным редактором в «Иностранной литературе», а в 61-м устроилась в Институт государства и права, откуда всего несколько месяцев назад и ушла на пенсию.

Сегодня в первой семье Георгия Константиновича Жукова подрастает четвертое поколение. У дочек Эры Георгиевны Тани и Саши — пятеро наследников и наследниц. У сына Эллы Георгиевны Кирилла — пока одна. У них, конечно, другие фамилии. Но дочери маршала по-прежнему Жуковы.

БРЕЖНЕВ ПЫТАЛСЯ ДЕРЖАТЬ СВОЮ ДОЧЬ В СТРОГОСТИ

В книге А. Авторханова, написанной в 70-е годы, предпринята, по существу, первая попытка серьезного политологического исследования эпохи Брежнева.

«Мы это видели по телевизору. Крупными, размеренными шагами солдафона, с напыщенным взглядом вельможного сановника, человек вышел на трибуну и начал читать с листа: «Пленум единогласно избрал Генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Брежнева Леонида Ильича»

Бурные аплодисменты отлично выдрессированного зала переходят не то что в овацию, знакомую нам еще со сталинских времен, а в нечто вроде девятого вала: пять тысяч человек в зале и тысячи гостей в ложах, как по команде, вскакивают с мест и неистово кричат: «Ура, ура, слава, слава!..»

Так продолжалось бы долго, если бы оратор на трибуне властным движением руки в сторону президиума не сделал жеста, означающего «Хватит, садитесь!».

Оратором на трибуне был сам Брежнев.

Только после сообщения о собственном избрании он объявил состав Политбюро и Секретариата ЦК, везде называя свое имя не по алфавиту, а первым».

7 Ноября 1982 года, за три дня до смерти, престарелый советский вождь, поддерживаемый с обеих сторон помощниками, останавливаясь, чтобы отдышаться, на каждом переходе, с трудом поднялся на

трибуну ленинского Мавзолея. Он простоял там несколько часов, подняв в приветствии одеревенелую руку. Старческая кровь на десятиградусном морозе не согревала, мускулы на отеком лице окаменели. То было прощание с принадлежавшей ему когда-то Красной площадью, Москвой, Россией — через неделю на Мавзолее поднялись его коллеги, и преемник Юрий Владимирович Андропов открыл траурный митинг. Гроб опустили в могилу у Кремлевской стены между Мавзолеем, где лежал основатель Советского государства, и могилой преемника Ленина — Сталина, при котором Брежнев начал свою политическую карьеру.

Вместе со Сталиным он поднялся на Мавзолее, заслоняемый вождями первого ранга. Потом — с Хрущевым, которому служил верой и правдой, пока не сверг его осенью 1964 года и не сменил на посту руководителя партии.

В последнее время он стоял здесь фактически один, окруженный торжественной свитой — Политбюро, одному из членов которого, Андропову, полностью доверил охрану своего престола от претендентов на него, поскольку сам уже был не способен по старости вникать в кремлевские интриги, как ни необходимо это было и для захвата власти, и для ее удержания. Благодаря Андропову он обеспечил себе несколько спокойных лет и одновременно обрек себя на ужасную агонию последнего года, когда не в силах был защититься от высокопоставленного стража не только ближайших друзей и соратников, но даже семью. Ибо никто так не опасен диктатору, как собственный охранник.

Но был ли он когда диктатором?

Разве что внешне.

Феномен политического долголетия Брежнева поразителен и на международном, и — тем более — на отечественном фоне. За время его правления сменились — иногда по несколько раз — руководители большинства стран мира, демократических и тоталитарных, включая Францию, Великобританию, Западную Германию, Италию, Югославию, Польшу, Ватикан, Испанию, Китай, Индию, Пакистан, Иран, Израиль, Египет, даже Уганду. Одни только США сменили пятерых президентов. Что касается его собственной страны, то хоть и есть среди русских вождей и царей такие, что правили дольше его, но нет ни одного из функционирующих лидеров, кто бы дожил до столь преклонного возраста. Здесь Брежнев рекордсмен. Император Николай II расстрелян 50-ти лет от роду, Иван Грозный, Петр Великий и Ленин умерли в 53 года, Николай I — в 59, Александр II убит бомбой за полтора месяца до 63-летия, Екатерина Великая умерла в 67 лет. Даже Сталин, несмотря на традиционное грузинское долголетие, едва дотянул до 73.

За время пребывания у власти Брежнев пережил физически и политически не только всех соперников, но и всех соратников и даже возможных наследников, а после Суслова и опалы Кириленко остался в начале 1982 года последним членом того Политбюро — тогда оно называлось Президиумом, — которое 18 лет назад свергло Хрущева.

Как удивительно повторяется порой история, да еще за такой короткий срок! Будто кто-то, за преде-

лами нашего зрения и понимания, подыскивает к событию в прошлом современную рифму, дабы связать воедино разобщенные звенья исторической цепи.

Мать кремлевского долгожителя, Наталья Денисовна, дожила до девяноста лет. Она была скромной женщиной. Сам Брежнев рассказывал позднее, что его мать ни за что не хотела переезжать в Москву и жила в небольшой квартире в Днепродзержинске вместе с семьей своей сестры. Она стояла в очередях в магазине, вечерами любила поговорить с соседками, сидя на скамейке возле дома.

Лишь после того, как Брежнев сделался Генеральным секретарем ЦК КПСС, его восьмидесятилетней матери пришлось все же переехать в Москву. Она не слишком хорошо понимала сложные обязанности сына, а его образ жизни и вся московская суэта были ей явно не по душе. Не могли ей понравиться ни склонная ко всякого рода авантюрам, грубая и алчная дочь Брежнева Галина, ни его легкомысленный и часто нетрезвый сын Юрий. Из этих противоречий в недружной московской семье Брежнева, доставлявшей ему самому немало хлопот и ускорившей, в конце концов, его смерть, и родился, по видимому, один из многочисленных анекдотов о Брежневе:

— Пригласил как-то Л. И. в гости свою старую мать из небольшого поселка на Украине, где она прожила всю жизнь. Брежнев показал ей не только свою квартиру, но и роскошные дачи под Москвой и в Крыму, свои охотничьи домики, коллекцию золота и драгоценностей.

— А ты не боишься, Леня, — вдруг спросила его

мать, удивленная всей этой роскошью и богатством. — Вдруг придут к власти большевики.

Охранявший генерального секретаря Владимир Медведев вспоминал:

Начальником охраны Брежнева был Александр Яковлевич Рябенко, он в 1938 году возил Леонида Ильича на «бьюике». Рябенко в 1973 году сделал меня своим заместителем. Как раз перед этим со мной приключилась такая история. Брежнев пригласил летом отдохнуть на дачу в Крым невестку с внуком Андреем. Тому было лет шесть-семь, он постоянно пропадал на дачной территории, все волновались, охрана бегала искала. Леонид Ильич, наконец, попросил выделить человека, чтобы постоянно присматривать за мальчишкой. Доверили мне. С самого утра мы лазили по окрестностям, я еще позавтракать не успел — Андрей уже ждет. И вот однажды я нахожу его в бамбуковой роще, он ломает молодые деревца, а их и без этого там не густо. «Андрей, нельзя!» — «Ну да-а, нельзя...» И продолжает. Я — шлеп! — ему по заднему месту. А он обиделся: «Я расскажу деду, и он тебя выгонит». И пошел. А я остался стоять. Я был рядовым. Малейшее неудовольствие генсека, и меня здесь нет. Но мальчишка не пожаловался и даже извинился. Сколько раз я его вспоминал потом, когда Раиса Максимовна жаловалась на меня Горбачеву по всяким пустякам, а горничную выгнали, как только она попыталась усовестить внучку Горбачевых... Так я вошел в эту семью. Вплоть до того, что собирал и складывал вещи Леонида Ильича в чемодан, когда мы ехали в командировку. Я и теперь считаю, что личная охрана потому

и называется личной, что во многом это дело и семейное.

С особой любовью он относился к двум женщинам — к матери и жене. Мать, маленькая, сухонькая, подолгу жила на даче, сидела обычно у подъезда. Утром уезжаем — сидит, приезжаем вечером — сидит, как будто и не уходила, так каждый день. Он иногда подойдет: «Мама, смотри, солнце печет, уйди в тенечек». Очень плакал, когда она умерла, и когда несли гроб, и когда закапывали — плакал. Его отношение к жене было нежным, даже старомодным, очень переживал, когда она тяжело болела диабетом: «Как бы Витю поднять на ноги...» А она его пережила на десяток лет. Мы втроем часто смотрели телевизор. Увидев на экране мужа, Виктория Петровна оживлялась: «Вот ты какой молодец!» — потом, когда он начал шамкать, уже иронизировала. Из певцов Брежнев любил Утесова, Шульженко, Штоколова, Магомаева. Не любил Пугачеву и Высоцкого. Из эстрады нравился Райкин, в кино — Андреев, Бернес, Крючков, Матвеев, Глебов, Тихонов. Когда Брежнев с опозданием посмотрел «Семнадцать мгновений весны», медсестра, втершаяся к генсеку в доверие, с которой у него сложились особые, скажем так, отношения, вдруг сообщила Леониду Ильичу, что разведчик Исаев жив и доныне и всеми позабыт. Сперва Брежнев мучил нас поручениями найти Исаева. Затем сам позвонил Андропову. Тот в ответ: проверили, нету такого. Но Брежнев уже так настроился дать награду заслуженному человеку, что пришлось награждать Золотой Звездой актера Тихонова за исполнение роли Исаева-Штирлица.

Когда генсек был помоложе, стол ломился. Как-то директор охотхозяйства увлекся за столом черной икрой, ел ее ложками. Леонид Ильич дождался, пока он закончит, и напомнил: «Это же икра, а не гречневая каша». Директор не смутился: «Что вы говорите? А я и не заметил». Брежнев немедленно отдал команду: рацион сократить! Кроме того, Брежнев и в молодости, когда был стройным красавцем, строго следил за своим весом, а с возрастом и болезнями борьба с весом стала родом недуга. Он следил за каждой ложкой. При росте 178 сантиметров он удерживал вес 90—92 килограмма. На ужин — капуста и чай. Я признавался: «С такого ужина, Леонид Ильич, и ног таскать не будешь...» Он удивлялся: «Ты что, голодный уходишь? Витя, — просит жену, — принеси ему колбасы!» Если Брежнев прибавлял в весе пятьсот граммов, то раздражался и приказывал поменять весы. Весы всех видов — отечественные и лучшие зарубежные — стояли и на даче в заречье, и в охотничьем Завидове, и в кремлевском кабинете. С утра — на весы, перед сном — взвешиваться.

К людям он привязывался, держал их близко и барства не позволял. Снисходителен был безгранично. Например, был у него парикмахер Толя. Приходить он должен был дважды в день: брить и укладывать волосы, прическа у Ильича была сложной. Но Толя часто запаздывал, а то и вообще не приходил, потому что пил. Брежнев сидит, ждет, кипятится: «Если еще раз повторится! Сам же сейчас позвоню, чтоб выгнали!» Но быстро остывал и, когда Толя появлялся, сочувственно расспрашивал его: «Ну, как

праздник провел?» — «Да ничего, собрались, шарахнули». — «Стаканчик-то опрокинул?» — «Да побольше». И главная беда не в том, что Толя запивал и не приходил. Беда, когда он являлся с похмелья и скреб лицо главы могучего государства опасной бритвой!

Виноват не Брежнев, система сложилась до него, все смотрели ему в рот. Однажды он вызвал меня к себе, поманил и с улыбкой протянул телефонную трубку. Я услышал голос Капитонова, тот вздохнул, докладывая Генеральному, что народ любит своего мудрого вождя Леонида Ильича, волнуется за его здоровье и мечтает о встрече. Это длилось несколько минут. После разговора Брежнев рассмеялся: «Очень уж хочет быть кандидатом в члены Политбюро». Кандидатом Капитонов так и не стал.

Редкое событие случилось летом 1973-го, когда Леонид Ильич был в США. Никсон пригласил Брежнева к себе на ранчо, и вечером охрана президента дала прием в ресторане в честь сотрудников КГБ. Кто был свободен, пошли веселиться, а я, как самый молодой, охраняю двери спальни Брежнева, он уже лег. Почти напротив — покои Никсона, прохаживаются два американца, мои коллеги. Прохаживались они, прохаживались и ушли куда-то далеко, а в два часа ночи дверь спальни Никсона распахивается и перед моим носом жена президента США Патриция в длинной ночной рубашке, босиком. Она вытянула руки и двинулась к спальне Леонида Ильича. Я шагнул навстречу, а она меня не видит, она смотрит куда-то вверх, не отвечает на мои уговоры, повернуть я ее не могу, она упрямо пытается пройти за мою спину. Делать нечего — я поднял ее на руки и

понес в спальню. Там горел только светильник, посреди стояла низкая кровать, Никсона, к счастью, не было. Я положил Патрицию на кровать, под голову подложил подушку, укрыл одеялом и на цыпочках вышел. Американская охрана уже бежала ко мне, я махнул им, что уже справился, они рассмеялись и остановились. Всю оставшуюся ночь стоял в тревоге, а вдруг опять выйдет? Наутро был прием на берегу океана, жена Никсона все время поглядывала в мою сторону. Наверное, думала, что я ей приснился.

Все годы своего правления руководитель Чехословакии Гусак был для Брежнева самым близким и верным товарищем. Леонид Ильич оставался ему верен в ситуациях критических, о которых и теперь мало кто знает. У Гусака в катастрофе погибла жена, он очень тяжело переживал, и до Москвы дошли сведения, что Гусак запил. Брежнев вынужден был отправиться в Прагу, чтобы поддержать друга. Как раз накануне этой поездки он во время охоты дважды прицелом винтовки ранил самого себя, тяжело, в кровь, разбив сначала бровь, а затем и переносицу. На второй день наша делегация должна была посетить пражское метро. Гусак ждал нас у входа в метро. Когда он двинулся навстречу, все увидели, что он совершенно пьян. Леонид Ильич расцеловался с Гусаком и сам же, не без труда, удержал его в вертикальном положении. Представьте себе двух целующихся, обнимающихся коммунистических лидеров. Один — совершенно пьян, у другого — разбиты бровь и переносица. После обеда часа два поговорил с Гусаком, и после разговора тот «завязал» и, как говорят, пил только пиво.

Во время охоты Леонид Ильич любил, спустившись с вышки, подойти к убитому кабану, насладиться результатом. Однажды он повалил огромного зверя, спустился и направился к нему. Осталось метров двадцать, кабан вдруг вскочил и бросился на Брежнева. У егеря в руках был карабин, он мгновенно, навскидку, выстрелил и... не попал. Зверь отпрянул и побежал по кругу. Телохранителем в тот день был Геннадий Федотов, у него в левой руке карабин, в правой — длинный нож. Он быстро воткнул нож в землю, карабин перекинул на правую руку, но выстрелить уже не успел — кабан бросился на него, попал рылом в нож, согнул его и помчался дальше. Замначальника личной охраны Борис Давыдов попятился, зацепился ногой за кочку и упал в болото — кабан перепрыгнул через него и ушел в лес. Леонид Ильич стоял рядом и даже бровью не повел. Борис с маузером в руке встал из болотной жижи, грязная вода стекает, весь в водорослях. Брежнев спросил: «А что ты там делал, Борис?» — «Вас защищал». Кабана, сколько ни искали, так и не нашли.

То же самое случилось с министром обороны маршалом Гречко. Раненый кабан бросился на него, а Гречко с охранником — к вышке.

И так вышло, что маршал еще бежит, а охранник уже на самом верху. Гречко удивился: «А ты как здесь впереди меня оказался?» — «А я вам дорогу показывал, товарищ маршал». Охранника не уволили и даже не наказали.

Для некоторых соратников генсека его страсть охотиться становилась трагедией. Люди болели, дряхлели, но отказаться от приглашения не могли —

это же знак близости, доверия! «Позвони Косте, завтра поедем», — говорил Брежнев, и я звонил Черненко. Жена просила: «Вы как-то скажите Леониду Ильичу... Константин Устинович очень плохо себя чувствует». Брал трубку сам Черненко: «Да, Володя, чувствую себя неважно». — «Давайте доложу, что должны приехать врачи?» — «Нет, нет». И я докладывал, что Черненко всю ночь работал и устал. Тогда Брежнев звонил уже с дороги: «Костя, бросай работу. Тебе надо отдохнуть». И Черненко, тяжело, неизлечимо болевший бронхиальной астмой, поднимался с постели и ехал... На вышке сидеть холодно, сыро. Каждый раз Константин Устинович простужался и, вернувшись, укладывался в постель с температурой. Охота добивала, укорачивала многим жизнь.

Американские коллеги никогда бы не справились с нашими обязанностями. Теория сопровождения охраняемого существует для охраны нормальных, здоровых лидеров, мы же опекали беспомощных стариков, наша задача была — не дать им рухнуть и скатиться вниз по лестнице.

По Берлину Брежнев и Хонеккер ехали стоя в открытой машине на глазах всего мира, и ни одна душа не видела, что я распластался на дне машины, вытянул руки и на ходу, на скорости держу за бока, почти на весу, грузного Леонида Ильича.

Американские коллеги никогда не держат на торжественных церемониях шляпу, портфель или бумаги своего шефа. Им не надо следить за исправностью весов своего шефа, чистить ему множество охотничьих ружей, прочищать мундштуки и по ночам обу-

ривать шефа, которому курить нельзя, но подышать дымом хочется, не надо набивать карманы запасом различных очков шефа с наклейками «для дали», «для чтения», «для доклада». У русских правителей телохранители всегда были еще и няньками.

В ноябре 1974-го, когда обнажилась слабость к подаркам и наградам, Брежнев пристрастился к снотворным, «лечил» себя бесконтрольно. Мы, охрана, пытались его удержать, сражаясь за каждую лишнюю таблетку, но Чазов не смел перечить генсеку и легко ему покорялся. Начались попытки подменять настоящие таблетки «пустышками». Затем кто-то из членов Политбюро посоветовал Леониду Ильичу запивать лекарства водкой, дескать, так лучше усваивается, выбор пал на «зубровку», и она стала для него наркотиком. Нам приходилось разбавлять «зубровку» кипяченой водой. Он после выпитой рюмки настораживался: «Что-то не берет».

Чтобы упорядочить прием лекарств, придумали постоянный медицинский пост при генсеке. Одна из медсестер, как на грех, оказалась молодой и красивой. Она установила с Брежневым «особые отношения», и он решил: «Пусть будет одна». Медсестра сперва держалась тихонько, но быстро стала полной хозяйкой, садилась за стол с членами Политбюро, в ее присутствии обсуждались международные проблемы, даже Андропов просил Чазова убрать эту даму, но Чазов уклонялся: «Вряд ли председатель КГБ должен заниматься такими мелкими вопросами, как организация работы медсестер». Муж этой медсестры, несомненно укоротившей вольной выдачей таблеток жизнь генсеку, из капитана превратился в ге-

нерала и погиб в дорожной арии в 1982 году — в год смерти Брежнева. В конце концов ее удалось удалить, для этого проводилась целая операция с участием руководства КГБ, Министерства внутренних дел и Минздрава. Не медсестра, а Мата Хари!

Во-первых, он был болен, личность его разрушалась. Во-вторых, Виктория Петровна не раз заводила разговор: «Леня, может, ты уйдешь на пенсию? Тяжело тебе уже. Пусть молодые...» Он отвечал: «Я говорил, не отпускают». Это было правдой. Один из ближайших сотрудников Брежнева Александров-Агентов свидетельствовал, что только за последние годы Леонид Ильич дважды ставил вопрос о своей отставке, но старцы Политбюро его не отпускали, многие из них выглядели не менее жалко.

Разваливался Черненко, также принимавший большие дозы снотворного. Брежнев завел разговор о своем скверном сне, Константин Устинович машинально пробормотал: «Все хорошо, все хорошо». Брежнев вскипел, выругался и крикнул: «Что ж тут хорошего? Я спать не могу!» Черненко словно очнулся: «А-а, это нехорошо!»

И так почти каждый. После переговоров в Польше спускаемся по большой лестнице, вдруг — шум, оглянулся: Председатель Совета Министров СССР Тихонов падает, покотился вниз боком по парадным ступеням до самого низа, прокатился по полу и остановился только уткнувшись в ноги Громыко. Я объяснил Брежневу: «Николай Александрович «загремел»».

Сам Громыко при вручении Леониду Ильичу очередной Звезды Героя вдруг стал заваливаться, с од-

ной стороны его плечом прижал Андропов, с другой — еще кто-то, так и вынесли, сжатого с двух сторон.

Один из руководителей страны в перерыве важного совещания заснул в туалете, встревоженная охрана сорвала дверь.

У Кириленко, третьего лица партии, началась атрофия головного мозга, но он продолжал работать. Не раз Брежневу звонил: «Леонид, здравствуй, это я, Андрей». — «Слушаю, слушаю тебя, Андрей». — «Ты знаешь... — и долго молчал. — Извини, вылетело из головы». «Ну ничего. Вспомнишь — позвони». Его не раз пытались отправить на пенсию, но он заверял, что полон сил и готов приносить пользу Родине.

Про дочь генерального секретаря в народе ходили поистине апокрифические легенды, посвященные ей очерки Роя Медведева перепечатывались на машинках, передавались из рук в руки и читались «из-под стола».

«Еще в школе Галина отличалась дерзким и своенравным характером, ее не интересовала политика и политическая карьера, которой занимался ее отец.

Некоторое время она училась на литературном факультете Кишиневского университета. Но науки мало интересовали Галину. Одна из ее сокурсниц вспоминает, что сам первый секретарь ЦК Молдавии Л. Брежнев приходил в университет и просил студенток из ее группы повлиять на его дочь и хотя бы убедить ее вступить в комсомол. «Очень плохо, — откровенно признавался Брежнев, — я возглавляю партийную организацию всей республики, а моя дочь не хочет стать комсомолкой».

Но Галину не занимала комсомольская работа.

В 1951 году в Кишинев приехал на гастроли передвижной цирк «Шапито». Галина ходила на все его представления. Она увлеклась Евгением Милаевым, молодым силачом и акробатом, который держал на себе пирамиду из десятка людей. Вскоре цирк уехал из Кишинева, но вместе с цирком, бросив университет, уехала Галина. Милаев стал ее первым мужем, и она вернулась в семью отца лишь через год, но с маленькой дочкой, заботу о которой взяла на себя жена Брежнева — Виктория. Галина жила с Милаевым всего 8 лет, они развелись из-за постоянных ссор, в которых родители Галины неизменно брали сторону ее мужа.

Брежнев и его жена привязались к своей внучке и сохранили добрые отношения с ее отцом, который перестал выступать на арене, получил звание заслуженного артиста РСФСР, потом и народного артиста СССР. Бывший акробат стал даже Героем Социалистического Труда и директором Московского цирка на проспекте Вернадского. В 1983 году он умер.

Галина рассталась с Милаевым, но не с цирком, где теперь у нее было много поклонников и друзей.

Только один раз — в 1960 году, когда Брежнев стал Председателем Президиума Верховного Совета СССР, он взял с собой не только жену, но и 32-летнюю дочь в официальную поездку по Югославии. Но ее поведение и экстравагантные костюмы привлекли слишком большое внимание прессы, и Л. Брежнев больше никогда не брал с собой дочь при официальных визитах в другие страны.

Но Галина не перестала и после этого ездить за границу.

При покровительстве начальника управления всех цирков страны Анатолия Колеватова Галина ездила за границу с самыми различными цирковыми труппами и, конечно, инкогнито. Обычно, ее оформляли в качестве гримерши. И никто в других странах не знал, что под личиной скромной служащей скрывается дочь Брежнева. Конечно, она не платила Колеватову тех взяток, которые ему давали другие артисты. Она одаривала семью Колеватовых своим покровительством.

Очередным увлечением 35-летней Галины стал 20-летний Игорь Кио. Сын знаменитого иллюзиониста Эмиля Ренарда, принявшего цирковую фамилию Кио. После смерти его сыновья Эмиль и Игорь унаследовали цирковую аппаратуру и его номер.

Роман Галины и Игоря развивался быстро. И вскоре они решили пожениться. На одном южном курорте они явились в местное отделение для регистрации брака и потребовали оформить их отношения. Но в СССР запрещается немедленная регистрация брака. Жених и невеста должны вначале подать заявление и пройти «исполнительный срок». Однако заведующая ЗАГСом не решилась перечить властной и грубой дочери Брежнева и объявила Галину и Игоря Кио мужем и женой.

Когда это известие достигло Брежнева, он был разгневан. Вскоре на ближайшем аэродроме приземлился самолет, несколько крепких мужчин сели в машину и поехали к вилле, в которой жили счастливые молодожены. Галине предложили немедленно

вернуться в Москву. Игоря Кио вызвали в местное отделение милиции, и вскоре он получил новый паспорт, где не было никакой регистрации брака. Брак этот был аннулирован как незаконный, а заведующая ЗАГСом была не только снята с должности, но и наказана по суду за нарушение закона.

Вообще Брежнев пытался держать свою дочь в строгости. В Москве она должна была жить с отцом и матерью, и Леонид Ильич решительно отказался «подарить» Галине отдельную квартиру. Он заставил ее работать в Агентстве печати «Новости» и даже вести научную работу.

В промежутках между своими увлечениями Галина даже сумела защитить диссертацию и стать кандидатом филологических наук. Впрочем, удивляться этому нечего, Брежнев через несколько лет удостоился Ленинской премии за «выдающиеся» достижения в литературе.

Галина не долго горевала о своей разлуке с И. Кио. Она познакомилась с 32-летним подполковником милиции, который, правда, был женат и имел двоих детей, был на 7 лет моложе Галины. Однако желание стать зятем Брежнева оказалось у подполковника Чурбанова сильнее любви к своей семье, и вскоре он стал третьим мужем Галины. На этот раз отец был доволен. Мужем дочери стал не циркач, не акробат, не клоун, не иллюзионист, а крепкий милицейский офицер, и Брежнев надеялся, что Чурбанов сможет обуздать его своенравную дочь.

На этот раз Леонид Ильич расщедрился — молодожены получили отдельную квартиру в Москве. Им построили отдельную дачу недалеко от дачи отца. Но

надежды Чурбанова оправдались только в одном отношении — он стал делать карьеру. Уже в 1970 году он стал одним из руководителей Политотдела МВД СССР. В 1977 году — пост заместителя, а в 1980 году — первого зам. министра внутренних дел СССР. Министром внутренних дел был, как известно, Щелоков, один из ближайших друзей Брежнева еще со студенческих лет. Менее чем за 20 лет Чурбанов из подполковника стал генерал-лейтенантом, его власть была огромна, но она не распространялась на его жену, которая очень скоро перестала считаться со своим мужем и завела себе новых друзей.

Главный из них был молодой цыган и артист — Борис Буряце. Один из артистов рассказывал:

— Я видел первый раз Галину Брежневу в 1977 году в Доме творчества театрального общества (ВТО) в Мисхоре в Крыму. Она приехала туда с дачи отца к своему любовнику Б. Буряце, цыгану. Ему было тогда 29 лет, он закончил отделение музыкальной комедии ГИТИСа. У него был неплохой тенор, но слабые актерские данные, весьма изысканные манеры и утонченные вкусы в еде, одежде, музыке. Носил он джинсы, джинсовую широкополую шляпу. На безымянном пальце сверкал перстень с огромным бриллиантом, а на шее — толстая крученая золотая цепь, которую он не снимал даже купаясь в море. Он появлялся на пляже в коротком махровом халате. Иногда он читал, но чаще играл в карты с несколькими знакомыми и с младшим братом Михаилом, 25 лет.

Борис жил в двухкомнатном номере-люксе с отдельным душем, телевизором и холодильником. На

столе стояла черная икра в больших жестяных банках, мясо; шашлыки готовились тут же, подавался только что испеченный хлеб, языки, раки, виноград, арбузы, шампанское и водка. Все эти недоступные рядовому отдыхающему деликатесы в неограниченном количестве поставлялось ему Галиной Брежневой-Чурбановой, которая приезжала изредка с шофером Валерой на белой «Волге».

Приехать ей было, видимо, сложно, и она была вынуждена хитрить, так как отец всячески старался блюсти честь дочери, уже ставшей к тому времени бабушкой. Галина была грузной, высокой женщиной, которую при всем желании нельзя назвать красивой. У нее были грубые, крупные черты лица, очень напоминавшие отцовские, темные волосы, забранные в пучок и темные густые брови. На пляж она ходила в длинном, до полу шелковом халате. В свою речь, она часто вставляла матерные слова.

Отношения Бориса и Галины были странными. По его словам, их связь началась когда ему не было еще 20 лет. Вряд ли он любил эту женщину. Но Галина, казалось, была влюблена в своего цыгана, причем страсть ее была властной, изнуряющей и утомительной. Она ревновала Бориса, устраивала ему сцены — зачастую только из-за того, что он зашел куда-то, не предупредив ее, вместо того, чтобы целый день ждать звонка. О женитьбе Бориса на какой-либо из знакомых не могло быть и речи — он был обречен на роль вечного любовника стареющей и своевольной «мадам».

Это был удивительно красивый и высокий парень с несколько грубоватым лицом, темноволосый, очень

похожий на актеров, играющих в Голливуде роли добрых индейцев. Он был не особенно умен и не слишком развит, но это был добрый парень, страшно скупавший в номере-люкс Дома творчества ВТО, желающий лишь послушать музыку, подцепить на пляже какую-нибудь девчонку, а когда становилось совсем невмоготу, просто напивался дармовой водки, ящиками стоявшей в комнате. Напившись, он мрачнел и позволял себе презрительно отзываться по поводу «мадам», которую он явно ненавидел.

Борис был скрытен и хитер, тактичен и вежлив. Пил он только шампанское и всегда держал себя в руках. Галина была крайне раздражительна, так что Борису, напротив, нужна была сдержанность.

Своего 40-летнего мужа-генерала она презирала и могла закатить истерику только потому, что Борис напоминал ей, что пора уезжать, дабы не огорчать папу и маму. Галина называла родителей «двумя одуванчиками».

Иногда она говорила об отце, который, несмотря на возраст и болезни, каждый день купался в Черном море: «О нем много болтают, но все-таки он борется за мир. Он искренне хочет мира».

Напившись, она говорила: «Я люблю искусство, а мой муж — генерал».

Борис Буряце жил в Москве в большой кооперативной квартире в доме по улице Чехова, недалеко от театра кукол Образцова. Комнаты были роскошно отделаны не без участия Галины. В них было много редчайших икон и антиквариата. У Бориса множество дорогих бриллиантов, и друзья называли его иногда между собой «Борисом Бриллиантовым». Давно

прошли времена, когда, появившись в Москве в цыганском театре «Ромен», он скромно жил, снимая комнату в чужой квартире. Теперь он работал в Большом театре сначала стажером, потом артистом, хотя он вряд ли выходил на сцену с другими артистами. Дружба с Г. Брежневой делала Бориса влиятельным человеком.

В его квартире часто собирались компании друзей Бориса и Галины, и угощение здесь было изысканнее, чем в Крыму. Это было и неудивительно. Одним из ближайших друзей Галины был Ю. К. Соколов — директор Московского гастронома № 1, или Елисеевского магазина, как его называют москвичи. Гулянки затягивались, и Галина все чаще и чаще оставалась ночевать у Бориса. Часов в 11 утра она, небрежно одевшись, спускалась в расположенную рядом парикмахерскую, куда Московское управление бытослуживания направляло своих лучших парикмахеров.

Рассказывали, что Б. Буряце был своим человеком и в резиденции посла Румынии в СССР, жена которого также была цыганкой.

Несомненно, что Юрий Чурбанов даже по долгу своей милицейской службы знал о Борисе Буряце, его образе жизни и его друзей. Несколько раз Бориса жестоко избивали, и не только брату, но и друзьям приходилось его охранять. Но он просто уже был не в состоянии изменить свой образ жизни, он лишь сменил золотую цепь на большой платиновый крест с бриллиантами, и Чурбанову пришлось как-то смириться с капризами и прихотями своей жены, ибо, потеряв жену, он мог потерять и благосклонность ее отца.

Страницы книги Стэнли Лаудана «Бриллианты для Галины», посвященные любовнику Галины, лично у меня вызывают некоторые сомнения.

«Борис на минуту прервался, задумался, выпил глоток шампанского.

— Слушай внимательно. Я ни с кем не говорил о том, о чем сейчас скажу тебе. Если бы я болтал об этом, я бы не сидел сейчас здесь. А все очень просто. Я охотно бы отдал все, что имею, все, что ты видел, и еще больше, за возможность выехать на Запад. Все — за свободу. Понимаешь?

Я сидел ошеломленный. Не потому, что его объяснение было необычным. Оно было опасным.

— Перестань. Я узнал не так уж много, но достаточно, чтобы понять — ты живешь абсолютно свободно, — прервал я. — Делаешь, что хочешь, едешь, куда хочешь, и ко всему — имеешь немало. Не хочу больше это слушать. Я боюсь таких исповедей.

— Я живу свободно? — в голосе Бориса прозвучала грустная нота. — Ты не понимаешь, что значит жить здесь. Конечно, за мои деньги я могу купить более длинный поводок, но нельзя себя чувствовать человеком, все время думая, что вот-вот твой лимит свободы будет исчерпан. Я — любовник Галины, дочери Брежнева. Теперь понимаешь? На Западе таких, как я, называют альфонсами, правда? Так вот, я такой и есть.

Я был в шоке.

Борис увидел это и начал говорить спокойнее.

— Да нет, не сразу же я стал альфонсом. Я немного любил ее, да еще немного возбуждал тот факт,

что я обладал дочерью самого могущественного человека на земном шаре... Во всяком случае, мы с ней были довольны друг другом. И что смешно — она замужняя женщина. Ее муж — крупный чин в Министерстве внутренних дел. Правда, его обычно нет в Москве. Так вот, я фаворит Галины, а это изматывающее занятие. Ибо дама требовательна. Очень требовательна. А ты называешь это свободой!

Я нервничал все больше и больше. Ситуация в самом деле становилась небезопасной. Я видел Россию и в годы войны, и в мирные дни, но даже в самом диком воображении я не мог допустить, что в такой политизированной стране, где все контролируется властями, может существовать подобный человек. Ох, как хорошо я понимал теперь этих козырявших машине милиционеров: в серебристом «мерседесе» могла ехать дочь Генерального секретаря! Борис читал мои мысли.

— Я много знаю о тебе, — сказал он. — Я знаю, что ты делал здесь во время войны. Знаю, ты был эс-традной звездой. Могу тебя заверить, наши важные особы уважают тебя и считают, что ты достаточно безопасен, достаточно свой. Ты «в порядке», поэтому подозревать тебя начнут позднее, чем других.

— Подозревать меня? В чем? У меня нет ни малейшего намерения преступать закон. И прежде всего, у меня нет ни малейшего желания продолжать этот разговор. Будет лучше, если я пойду...

Борис вздрогнул, поняв, что несколько торопил события.

— Не глупи. У меня совсем нет желания уговаривать тебя преступить закон. Я еще не сошел с ума.

Я еще соображаю, но ты можешь мне помочь без всякой уголовщины.

— Как?!

— У меня есть план, но не надо с этим спешить. В другой раз, не горит же.

— Не будет следующего раза, — твердо сказал я, чувствуя, что, помимо своей воли, погружаюсь в дела Бориса.

— Маэстро, признайся, ты ведь хочешь быть богатым? Я могу сделать тебя богатым. Мне это по карману.

Обычное человеческое желание велело слушать, а любопытство — спросить:

— Чего же ты хочешь взамен?

— Единственное, что я от тебя хочу, маэстро, чтобы ты научил меня петь. Ну да, стать звездой эстрады. Хочу научиться держаться на сцене. Речь не идет об оперных пениях, это я умею. Только об эстраде. Ты дашь мне несколько уроков?

Наконец-то я начал соображать. С его хорошим голосом научиться профессионально петь не составит больших трудов. Потом он войдет в какой-нибудь ансамбль. Хороший ансамбль. Рассчитал на заграничное турне, и тогда...

Замысел был неплохим, а обучение пению ничем мне не грозило.

КГБ и Галина Брежнева решительно недооценивали хитрости Бориса, а это уже их трудности.

Да, риск невелик. Никто не мог обвинить меня в том, что я учу пению будущего эмигранта. И все же...

Я отговаривался выездом с концертами в другие

города. Но оказалось, что я недооценивал Бориса. Он открыл шкатулку и достал из нее перстень с большим, сверкающим бриллиантом. Дал мне возможность внимательно рассмотреть его.

— Это очень старый и красивый перстень, правда? Он принадлежал моей матери. Бриллиант чистой воды, два карата. Как ты думаешь, мог бы он стать авансом в зачет уроков пения?

Я решительно возражал, он настаивал, и, в конце концов, я сказал, что если он хочет избавиться от такого красивого перстня, то я готов его у него купить.

— Послушай, — он втолковывал мне, как ребенку, — возьми этот перстень. Он в самом деле принадлежал моей матери, я тебе его подарю. Все, что я от тебя хочу, — несколько уроков. Что в этом страшного? Клянусь, я не втяну тебя ни во что плохое.

Мне вспомнилась поговорка «Остерегайся цыгана, дающего клятву», но я все же положил перстень в карман пиджака и несколько раз повторил, что петть я его, пожалуй, научу, однако ни на что большее он рассчитывать не должен.

У Бориса был талант и красивый голос, из него мог получиться вполне сносный исполнитель. Занятия с ним были приятными, и я забывал, что, скорее всего, уже нахожусь в «черном списке» КГБ.

Однажды во время урока он снял пиджак, бросил его на спинку стула и... из карманов на пол посыпались драгоценные камни. Борис даже не прервал меня! Мурашки побежали у меня по спине. Сколько же он их имеет, если так легкомысленно относится к тем, что лежали возле его ног? Почему ходит с ними по городу?

Я не смог найти ответа на эти вопросы ни тогда, ни позже, даже когда с облегчением поднимался после досмотра по трапу самолета, уносящего меня в Англию.

Я вернулся в Москву только весной. В «Метрополе» не успел я еще распаковать чемоданы, как раздался телефонный звонок — Борис. Он радостно приветствовал меня, решительно испортив мне настроение.

На этот раз мое пребывание в Москве было частным и за свой общественный счет. Я хотел организовать концерт Арама Хачатуряна в Лондоне.

Борис, как всегда пунктуальный, подошел ко мне ровно в семь и заботливо провел сквозь зевак. Толпа окружила новый «Понтиак». Он не изменял своим экстравагантным привычкам и, как раньше, резко тронул с места с демонстративным неуважением правил дорожного движения.

Только сейчас до меня дошло, что Борис сменил автомобиль.

— Ситуация изменилась, — сказал он. — Ничто не вечно.

Я попросил тебя о небольшой услуге, ты не отказал, и я тебе благодарен. Но из этого ничего не выйдет. Я должен изменить свои планы и начать все сначала.

— Что случилось? — спросил я.

— Галина догадалась, что я что-то замышляю. Не знаю, как ей это удалось, она даже не требовала от меня никаких объяснений. Но я знаю, что она знает...

Если Галина знает, подумал я, то и КГБ знает.

Сердце подступило к горлу. Борис даже не заметил, что я скорчился от страха.

— Пока что я ее любимая игрушка, — продолжал он между тем. — Я нужен ей временами, поэтому пока что она еще не просит своего папочку, чтобы тот устроил с кем-либо мое исчезновение. Я хорошо знаю, что она может это сделать, и тогда папаша меня уберет как пешку с шахматной доски, и моя игра будет закончена.

Есть еще одна причина, по которой Галя продолжает держать меня. Она ненавидит своего мужа! Ох, как она его ненавидит! Я нужен ей, чтобы дразнить его. При своем положении он может упрятать меня в лагерь, но боится. Галя может пожаловаться папочке, что Юра Чурбанов задирает нос, что учинил ей неприятности, и тогда даже министерское кресло его не спасет. Видишь, какие игры? Убийственные, но она любит только такие...

Я напряженно слушал, потому что хотел знать как можно больше. Информация может помочь избежать ошибок.

— Я думаю, ты понимаешь, почему я хочу отсюда убежать. Не убегая из страны, а хочу освободиться от Галины Брежневой. Она сильнее, чем КГБ, Политбюро и все остальное, вместе взятое. Да, да! Знаешь, что она сотворила?.. Сделала меня певцом Большого театра и выбила должность солиста! Это значит, что теперь мне несолидно даже думать об эстрадной карьере. У нас так и делается. Или-или.

— Андропов ведет досье на каждого из ближайшего окружения Брежнева, — продолжал Борис. — Мое досье называется «Цыган Борис, любовник Галины».

Мороз пробежал у меня по коже. Я подумал: в том досье, наверняка, есть страничка, посвященная и мне, и мне так захотелось домой, в Лондон! Однако я изобразил на лице подобие улыбки:

— Ничего, обойдется! Откуда ты все это знаешь?

— Я знаю, — сказал он резко. — Я знаю. Галина — кладезь информации, когда выпьет. Я знаю об интимных подробностях жизни и дипломатических хитростях товарища Брежнева больше, чем кто-либо другой в Москве.

Я попытался переменить тему разговора: может случиться, что я услышу такое, что не позволит мне выбраться из России.

Борис жестко улыбнулся:

— Не беспокойся, Стэнли. Ты помнишь тех цыган, с которыми я тебя познакомил в Вильнюсе? Одному из них я заплатил очень много денег в твердой валюте, чтобы он сохранил кое-какие бумаги в безопасном месте. Страница за страницей, огромный документальный роман о наших высших должностных лицах. Это моя единственная защита. Только троньте меня, и тут же Запад будет ошарашен этой информацией.

Недавно Галина, особенно довольная мной, сказала: «Борис, почему бы нам вместе не сорваться за границу? Мы могли бы зажить там фантастической жизнью».

Конечно, мне понравилась эта идея, но я сдерживал себя. А вдруг она проверяет меня? Но на следующий вечер она вновь заговорила об этом...

Меня пригласили на обед с Галиной Брежневой. Отступать не было смысла. Даже если ее отец ско-

ро умрет, неразумно раздражать ее, пока он жив.

Галина Брежнева выглядела совсем не так, как я ее себе представлял.

За сорок, ростом 5 футов 6 дюймов, стройная, с большой грудью, выделяющейся под белой вышитой шелковой блузкой. Драгоценности были на ней повсюду. Будто она достала все украшения из шкатулки и надела на себя. Большая бриллиантовая брошь украшала блузку, в ушах сверкали большие бриллиантовые серьги, алмазы в кольцах и браслетах. Но особое внимание, несмотря на весь этот блеск, привлекала золотая цепь, несколько раз обернутая вокруг шеи и поддерживающая массивные золотые часы старинной работы. Она была окружена особой аурой.

Галина вошла, как правитель, дающий аудиенцию своим подданным. Выглядела надменно, но, несмотря на все эти драгоценности, у нее был стиль.

К каждому из нас она подошла по очереди, предлагая руку для поцелуя, причем сделано это было скорее в стиле папы римского, чем королевы.

Когда она остановилась около меня, я смог рассмотреть ее более внимательно. Густые темные каштановые волосы зачесаны назад, светло-карие глаза под очень густыми бровями, унаследованными от отца.

У нее была хорошая кожа, Галина не злоупотребляла косметикой, можно было заметить веснушки. Нос прямой, твердый подбородок. Красивые полные губы прикрывали замечательные небольшие зубки. Я разглядел их, когда она улыбнулась мне и, повернувшись к Борису, спросила:

— Это и есть наш друг, импресарио из Лондона?

Я думаю, ей следовало чаще смеяться. Она сразу же стала выглядеть намного моложе.

Сев около меня, Галина уже не обращала внимания на других гостей, забыв даже поздороваться со своим дядюшкой.

— Я много слышала о вас, — сказала она и добавила, когда я поднял голову, — конечно, только хорошее. Пожалуйста, налейте мне джин с тоником.

Пока я искал бутылку джина и повернулся к ней, чтобы спросить, сколько налить джина, она громко произнесла фразу, предназначенную для всех:

— Сразу легко распознать джентльмена по его отношению к женщине — не то что эти деревенские мужики вокруг нас!

К моему удивлению, те, к кому непосредственно относилось это оскорбление, восприняли его как остроумную шутку. Они долго и громко смеялись. Но она еще не закончила:

— Послушайте. Знаете, чего нам не хватает в этой стране? Манер, воспитания. В России все делается мускулами, но не мозгами...

Кроме молодых мужчин, у Галины была еще одна страсть — бриллианты. Она следила за поступлением лучших бриллиантов в московские ювелирные магазины и скупала самые дорогие. Однажды один богатый кавказец хотел купить в ювелирном магазине очень дорогое бриллиантовое кольцо. «Это кольцо не продается, — сказала ему заведующая. — Это имущество магазина, это для рекламы». Но через несколько дней кавказец обнаружил, что приглянувшееся ему кольцо уже не выставляется. «Этот бриллиант купила сама Г. Брежнева».

Когда у Галины не хватало денег, она оставляла расписки, и немало таких расписок лежало в сейфах магазинов.

Но чаще всего деньги у Галины были и в больших количествах. Она получала их от отца и мужа. Не слишком велика была ее служебная ставка. Она работала теперь в Министерстве иностранных дел в отделе, который должен был организовывать отдых для дипломатов и особенно для жен дипломатов, скучающих в Москве. Немало денег привозили Галине в качестве подарков из разных республик. Даже не обращаясь к отцу или мужу, она смогла оказать своим «визитерам» свою помощь — иногда в назначении на какой-нибудь пост, иногда даже и в освобождении от уголовного преследования.

Но главный доход у Галины, и ее приятельнице — жене министра внутренних дел Н. Щелоковой, давала простая спекуляция бриллиантами. Как известно, с конца 60-х до начала 80-х цены на бриллианты и золотые изделия повышались не менее трех раз. Быстро росли в 70-е годы мировые цены на золото и драгоценности. Существовал строгий порядок: за несколько дней до повышения цен ювелирные магазины прекращали торговлю. Но еще раньше, чем закрывались на «учет» ювелирные магазины, Галина и ее компаньонки покупали бриллианты и другие украшения на сотни тысяч рублей. Вскоре после повышения цен на купленные ими бриллианты менялись товарные ярлыки, и эти «камешки» снова поступали в продажу. На руках у Галины оставались все ранее истраченные деньги. После строительства в Москве большой ювелирной фабрики по ул. Лавочкина Га-

лина стала заказывать здесь украшения с бриллиантами по приготовленным ей лучшим эскизам. И здесь, на фабрике, она нередко оставляла вместо денег расписки.

Вышедший из тюрьмы Юрий Чурбанов говорил о своей бывшей жене с сочувственными интонациями, но Галина Брежнева была для него пройденным этапом. Как говорили древние и мудрые: все прошло, пройдет и это.

НА СКЛОНЕ ЛЕТ ЕЙ ДОСАЖДАЛ ДОВОЙ

Старые друзья, бывшие любовники (ему за восемьдесят, ей почти семьдесят) переписываются в середине семидесятых годов, десятилетия спустя после того, как на полном ходу вскочили в поезд Истории. Она живет в Кембридже, он — в Париже, и утекло немало воды: она «прозрела», давно уже не коммунистка; он же, напротив, ничего не забыл, ничего не понял, по-прежнему предан идее. Ее зовут Вера Трайл, его — Константин Родзевич. Из их переписки до нас дошли (опять — чемодан!) только письма Веры Трайл. Однако по ним иногда угадывается и содержание ответов.

В Кембридже Вера Трайл «страшно одинока» и едва сводит концы с концами. Ей было бы легче, откажись она от красного вина и сигарет, которые употребляет в больших количествах, но этого ей совсем

не хочется. В своем хорошеньком домике, стоящем на берегу реки, она держит постояльцев, причиняющих ей немало хлопот. Вера Трайл не устает крыть их на чем свет стоит, целыми днями не появляется дома, лишь бы поменьше их видеть, но не может себе позволить отказаться от них. В ней сильно чувство юмора, чаще всего обращаемого против себя самой.

Она работает, пишет сценарии для британского телевидения, которые профессионалы находят восхитительными, но по непонятным причинам дальше первого чтения дело так и не идет. Как жаль! Будь у нее несколько тысяч фунтов стерлингов, — а сценарии дали бы ей эту сумму, — она бы непременно слетала в Париж навестить старого друга и еще в Израиль, в табун к своему внуку... Но не едет, а непошедших сценариев скапливается все больше. Еще она пишет рассказ под названием «Две жизни», навеянный случайным знакомством: настоящий доктор Джекилл — человек из приличной семьи, прохвост, нежный друг, алкоголик, поэт в жизни и потенциальный убийца. Двуликие мужчины интересуют и завораживают двуликих женщин, это вполне естественно.

Непризнанная художница Вера Трайл хвалит скульптуры Родзевича, фотографии которых он часто присылает ей. Будь у нее деньги, она бы купила у него несколько десятков работ, но увы... Она восторгается «силой воображения», веющей от этих снимков, и жалуется, что, в отличие от Родзевича, может поведать только о том, что пережила, о «минувшем». (Впрочем, о минувшем-то она как раз поведать не

может, во всяком случае всего.) Еще она сожалеет, что не освоила искусства фотографии, в нем бы она, наверняка, преуспела.

К тому же (возраст, что вы хотите) ей досаждают «домовой» — поселился в доме и знай себе постукивает; ему посвящены страницы и страницы писем: весьма игривый «домовой» с чисто русскими манерами, имеющий привычку, кроме ритуальных постукиваний по стенам и перегородкам, прятать все спички... Иногда доходит до того, что старуха не может приготовить себе завтрак. Так как юмора ей не занимать, она оставляет записку рядом со спичечным коробком: «Что вы все время таскаете спички, нет чтобы в дом принести!» Постукивающий дух, добрый демон, кладет спички на место и собственноручно приписывает: «спички»...

Как жаль, что до нас не дошли комментарии закоренелого материалиста и рационалиста Родзевича-Корде по поводу этих чудес в Кембридже... Наверное, про себя он думал: «Бедная Вера, как она сдала...»

Часто довольно одного слова, маленького происшествия, чтобы заговорила память: отключили свет во всем городе (о, эти рабочие, опять бастуют!), и пожилая дама вынуждена под проливным дождем, в полной темноте ждать автобуса. «И вспомнила мой — наш — первый black-out. Помнишь 1 сентября 1939 г. в Париже. Мы шли в Brasserie Alsacienne. Ты я помню — а кто еще был? Кажется, Алеша Эйсер, нет?..»

Вот персонаж, за которым нам хочется последовать: в прошлом — белогвардейский офицер, коман-

дир в интербригадах, доброволец, потом «репатриант» в СССР, пятнадцать лет ГУЛАГа, известная и уважаемая фигура в неофициальных кругах московской интеллигенции шестидесятых-семидесятых годов. В 1986 году, после его смерти, одно советское издательство выпустило «дозволенную» версию его мемуаров об Испании. Выходит, он был близким другом Родзевича и Веры Трайл...

Квартиранты досаждают еще больше, чем домовой, но в них все же есть нечто хорошее — замечательная библиотека. Однажды Вера Трайл находит там воспоминания Литвинова, бывшего сталинского наркома иностранных дел, еврея, вместо которого для подписания германо-советского пакта предусмотрено наркомом назначили Молотова. Литвинов рисует нелестный портрет Ежова, палача, кровавого сталинского лакея: лицо, дергающееся от тика, бегающие глазки — в общем, весьма приличествующая должности внешность... Веру Трайл Литвинов сильно удивил, даже шокировал, о чем она спешит сообщить своему другу:

«Всю субботу и воскресенье читала отрывки из мемуаров Литвинова. Кому верить? Своим собственным глазам или воспоминаниям интеллигента Литвинова? В свое время Ежов обожал меня (конечно же, в абсолютно невинном смысле), впрочем, я писала об этом в своей книге. У него было маленькое, но миловидное лицо, как у статуэтки или иконы, приятная улыбка, прямой и открытый взгляд, серьезные глаза... И он спас мне жизнь (...). Я провела с Ежовым четыре часа и не заметила и намека на тик, — не было у него никакого тика! Только в одном я со-

гласна с Литвиновым: Ежов, бесспорно, был параноиком...»

Итак, оказывается, можно быть незаурядным человеком, иметь артистическую внешность и при этом отличаться на поприще, крайне далеком от мира литературы и искусства... Скоро мы узнаем об этом больше. Слово за слово. Вера Трайл продолжает: «Постараюсь описать свои преступления (Рейсс, Миллер и сын Троцкого, которого я будто бы бросила в Сену). Я не только не имела к этому никакого отношения, но у меня есть великолепное алиби, лучшее, чем ты можешь себе вообразить. Так вот, бедный Миллер погиб на следующий день после того, как у меня родилась М. Я посоветовала Второму Отделу позвонить в клинику моему доктору, который бы им ясно объяснил, была ли я в тот день в состоянии прикончить генерала Миллера, настоящего гиганта, когда обессиленная лежала в кровати. Это Борис Николаевский (ты помнишь этого эсера?) наговорил им обо мне. Представляешь, что могло бы произойти в Париже и даже в Лозанне, если бы он сообщил Второму Отделу, что я причастна к покушению (...). Когда меня допрашивали по делу Рейсса, я спросила, когда это произошло. Они назвали число. Тогда я показала им паспорт. В этот день у меня были проставлены три штампа: советская виза, польская и еще транзитная германская. Меня отпустили с извинениями...»

Интересно, кто этот незванный «постукивающий» дух, явившийся из далекого прошлого, дабы воскрешать «старые воспоминания» (что совершенно не в духе Родзевича, в положении которого лучше мол-

чать)?.. Фрейдистские мотивы? Скорее всего, это чтение мемуаров пробудило старую боль, старые обиды или старые угрызения совести. Она по-прежнему все отрицает, и уже это достаточно красноречиво: кто бы стал сегодня требовать отчета у Веры Трайл? Только ее одиночество и боязнь старости, в которой, как написал Родзевич, «остаешься молодым».

Конечно же, эти письма были мощным стимулом, чтобы постараться выяснить: кто же такая Вера Трайл, русская старушка (ее письма к Родзевичу написаны по-русски) с английской фамилией? Жива ли еще? Почему была близко знакома с Ежовым, почему пытается оправдаться и доказать свою непричастность к похищению генерала Миллера, к убийству Рейсса, к смерти Седова (она явно путает его с Рудольфом Клементом, обезглавленный труп которого нашли в Сене)? Почему, наконец, — она упоминает об этом в одном из своих писем — МИ-5, британская контрразведка, неоднократно ее допрашивала? «Я очень позабавилась — обожаю допросы...», — комментирует она игриво этот факт.

Чтобы узнать об этом больше, достаточно было постучаться в нужную дверь: к потомкам русских эмигрантов — тем, кто сделал из воспоминаний профессию или просто пытается сохранить свою самобытность. «Вера Трайл, — переспрашивают нас, наморщив лоб, — да, конечно, это же дочь Александра Гучкова...» Как так — знакомая Ежова, сталинского гнома-палача, и одновременно дочь Гучкова, бывшего военного министра Временного правительства, центральной фигуры монархической эмиграции по-

сле Октябрьской революции? Какое причудливое переплетение!.. Мы сверились со знаменитой «Современной энциклопедией русской и советской истории» в тридцати томах, в которой, действительно, в статье «Гучков» упоминается «его дочь, Вера Трайл». Надо было выяснить, каким образом она, принадлежа к элите белой эмиграции, могла оказаться близка с человеком, ставшим символом сталинского террора.

Начнем с отца. Это, действительно, человек незаурядный. Родился в Москве в 1862 году в семье богатейшего купца. Его дед — городской голова, отец — член городской Думы. Александра Ивановича Гучкова не привлекало предпринимательство, его тянуло в общественную деятельность, к действию. По окончании учебы (по русской традиции — в лучших немецких университетах) он начинает политическую карьеру в Москве. Но скоро ему надоедает оседлый образ жизни, чуждый его пылкой и дерзкой натуре.

Гучков отправляется в Анатолию на помощь армянскому народу, жертве турецкого геноцида, потом в Сибирь, где командует военным отрядом, охраняющим строительство Транссибирской железной дороги, затем в пустыню Гоби, под Великую Китайскую стену, и, наконец, в Южную Африку, где вместе с бурами воюет против Британской империи, извечного врага русского национализма. Но это последнее приключение принимает скверный оборот: Гучков ранен и взят в плен англичанами. Благодаря своей фамилии и стараниям семьи он легко отделяется и возвращается в Россию, через Лондон и... Пекин, где бушует восстание Боксеров. В 1901 году Гучков женится и удаляется в деревню, впрочем, перед тем ус-

пев оказать поддержку восстанию четников в Македонии. Во время русско-японской войны он служит начальником госпиталя Красного Креста в Маньчжурii, в Мукдене. Попадает в плен к японцам, после чего возвращается в Москву — в самый разгар революции 1905 года.

Когда буря стихает, Гучков создает партию октябристов, своего рода «оппозицию Его Величества». Он — приверженец энергичных мер по «поддержанию порядка», сторонник столыпинской реформы «сверху», обличает неспособность военной администрации, представленной великими князьями, противник дворцовых интриг и Распутинской камарильи. Всем этим Гучков навлекает на себя сильное недовольство царя. В 1915 году он возглавляет военно-промышленные комитеты, ответственные за снабжение фронта. В конце 1916 года Гучков готовит государственный переворот, считая, что только отречение Николая II от престола может спасти положение в стране и на фронте. Но в феврале 1917 года происходит революция.

Монархист Гучков в роли военного и морского министра для радикалов является воплощением «контрреволюционной буржуазии», делить власть с которой невозможно: «Долой буржуазное правительство Милюковых и Гучковых!» — под таким лозунгом проходят большевистские демонстрации. В конце апреля 1917 года Гучков подает в отставку и возвращается к руководству военной промышленностью. Вскоре после Октября он бежит из Москвы в Берлин, затем в Париж, прихватив свое немалое состояние. Оставаясь человеком действия, он является

одним из столпов открытой контрреволюции: саботаж, отправка агентов на советскую территорию, даже теракты. В начале тридцатых годов Гучков часто бывал в Берлине, где встречался с нацистскими руководителями и готовил «проникновение» на вражескую территорию. Он умер в Париже 14 февраля 1936 года.

Одним словом, политический забияка, искатель приключений, человек более импульсивный, нежели рассудительный, — и явный белогвардеец, непоколебимый враг большевизма и советской системы. Одна из наследственных черт налицо: жажда действия, сила воображения, экстремизм, авантюризм. А откуда взялись остальные? Надо было продолжать поиски. Так я разыскал одного человека, который сохраняет верность русским традициям, каждое воскресенье ходит в православную церковь и с удовольствием вспоминает, как ребенком сиживал на коленях у Милюкова и других великих «атаманов». Очень любил он прогулки с «дядей Родзевичем» в Ботанический сад, а Веру Александровну Гучкову (Трайл) считал почти сестрой... Он очень интересно рассказывал (по русскому обычаю, за стаканом водки) об обстоятельствах нашей «истории» и помог мне многое понять в старой даме. Вера Гучкова была на десять лет моложе Эфрона и Родзевича и, наверняка, познакомилась с ними в Париже в середине двадцатых, так как была тогда замужем за Петром Сувчинским, музыковедом и одним из основателей и вдохновителей евразийского движения. Значит, наше «трио» сложилось еще в тот период и Вера тоже пережила евразийскую авантюру, которая надломила судьбы мно-

гих ее участников, отринувших «белую» культуру ради химеры и надежды на возвращение.

Что было потом? Вера возвращается в лучших кругах эмиграции, она знает всю политическую и интеллектуальную элиту белых, завсегдатаев салона ее родителей, а также писателей, художников: Прокофьева, Пастернака. Наследница знатного имени, типичная «великосветская дама» — сказал мой собеседник. Вскоре она расстанется с Сувчинским. И становится коммунисткой. Когда? В начале тридцатых годов. Зачем? «Чтобы эпатировать буржуа», — отвечает мой собеседник. Эта формулировка, ставшая банальной, некогда значила так много: в ней — дух той волны русской интеллигенции, что перед первой мировой войной, как Маяковский, обряжалась в «желтые блузы», желая бросить вызов консерватизму и обскурантизму, «отцам, святыням», мешая экстравагантность с огненным футуризмом.

Наш собеседник заявил весьма категорично: в «обращении Веры» решающую роль играла проблема отца: «В отце ее восхищал дух авантюриста, сорвиголовы (sic). Однако при случае она любила громко и во всеуслышание заявить, что ее отец — фашист. Но на самом-то деле — я знаю — все было далеко не так просто, ее чувства были куда сложнее. Когда мы оставались наедине и она переставала играть, то отзывалась о нем совершенно иначе...»

Подобный конфликт, надлом, со временем усиливающийся, мы уже встречали у многих наших героев, в частности у Эфрона. Кроме «проблемы отца» сыграли свою роль и среда, друзья, «группа»; в тридцатые годы Вера очень близка с Родзевичем — оби-

лие фотографий и тон былой возлюбленной, звучащий в письмах, которые будут написаны сорок лет спустя, недвусмысленно подтверждают это. «До того, как сделаться коммунисткой, она была славянофилкой», — вспоминает наш собеседник. Это тоже могло послужить мостиком при переходе к сталинизму — ведь Сталин, ставши фактически новым царем, восстановил былое могущество России...

В 1936 году Вера Трайл, как и Эфрон, работает в специальной «сети», занимавшейся вербовкой добровольцев в интербригады.

«В Испанию я отправила человек пятьдесят, главным образом русских эмигрантов, — сказала она однажды моему собеседнику. — Половина осталась там. Все остальные — за исключением Родзевича оказались в Сибири...» В это время, несомненно, благодаря своей деятельности, Вера встречает Роберта Трайла, шотландца, от которого отказалась его знатная и состоятельная семья после того, как он — и он тоже! — стал коммунистом. Любовь с первого взгляда, свадьба. Роберт Трайл уезжает в Испанию вместе с британскими добровольцами и погибает, как и десятки его соотечественников, в бою при Брунете в июле 1937 года. Его имя занесено в «Список чести» вместе с именами других британских интербригадцев, павших в Испании. В своих мемуарах («Британские волонтеры Свободы») бывший соратник Трайла, Билл Александер, вспоминает этого «лингвиста из Лондона с университетским образованием», одно время командовавшего второй ротой британского батальона. Еще он делает интересное добавление: до Испании Боб Трайл «работал в Москве».

Вера Трайл остается вдвоем с дочерью, родившейся от этого недолгого брака.

Нашему собеседнику она немало рассказывала о драматических событиях 1937—1938 годов. И клялась всеми святыми, что не обезглавливала Рудольфа Клемента, не бросала его в Сену, не убивала Рейсса. «Она горячо отрицала свою причастность, — вспоминает он, — и в конце концов я поверил ей, потому что в последний раз она повторила мне это в госпитале, в 1986 году, умирая от рака. Конечно же, Вера была великой лгуньей, выдумщицей, но при этом и обладала выдающимся интеллектом, в совершенстве владела четырьмя языками. Она была блестящей дилетанткой... Нет, я не верю, что она была способна на такое».

«Такое» — это убивать по указке НКВД. Значит, Вера Трайл вообще не имела никакого отношения к подобным делам? Здесь мой собеседник, человек откровенный и здравомыслящий, был менее категоричен:

«Какую-то роль в деле Рейсса она, бесспорно, играла». В общем, по его мнению, она участвовала в акции на «подготовительном этапе», на расстоянии...

В одном ваш свидетель был абсолютно уверен: вопреки «железному алиби», которое Вера Трайл упоминает в переписке с Родзевичем, впервые она отправилась в СССР не в день убийства Рейсса, а на следующий, покинув Францию второпях, как и Эфрон. Она рассказывала, что попала в Москву в самый разгар чисток и была смертельно напугана обстановкой, когда люди переставали здороваться со старыми знакомыми, чувствуя, что те обречены. Это воз-

мущало ее, повергало в смятение. А друзья, те, что еще уцелели, заклинали: «Замолчи, ну замолчи же!»...

Еще она рассказывала о Ежове: гном ее очень любил и даже предложил важную работу в Западной Европе, от которой она отказалась. И вот однажды... «среди ночи Ежов позвонил ей и сказал: «Вера Александровна, немедленно уезжайте! За вами должны прийти! В вашем распоряжении несколько часов, скорее уезжайте!» Вот почему она защищала Ежова, не помнила о его тике, находила его взгляд открытым и умным...

Этот драматический эпизод, романизированный (наши герои не чужды мифотворчества), несомненно, в основе своей верен; Веру Трайл, дочь предателя Гучкова, в разгар террора наверняка ожидал лагерь, а то и пуля в затылок, однако всего через несколько месяцев после своего скоропалительного отъезда в Москву она вновь оказывается на Западе. К тому же, как ни странно, в Париже, где еще не рассеялись подозрения в ее причастности к убийству Рейсса...

Занимает и еще одно обстоятельство. Елизавета Порецкая, жена Рейсса, пишет в своих мемуарах: «Из всех эмигрантских организаций, группа Гучкова была самой активной и, стало быть, больше всего обложенной советской агентурой. Созданная Гучковым (...) организация с первых же своих шагов стала объектом пристального внимания органов. Это ее имел в виду Слуцкий, Говоря Людвигу (Рейссу — А. Б.) и Кривицкому: «У нас там много своих людей», а Гравпен (коллега Рейсса — А. Б.), отвечая на мой удив-

ленный вопрос, откуда у него такие точные сведения о Людвиге, сказал: «В Париже у нас есть очень надежные люди в кругах белой эмиграции» (...). Это через группу Гучкова и «Русский Общевоинский Союз», где обретались «свои люди» Слуцкого, НКВД установил контакт с немецким генштабом и получил фальшивые доказательства «измены» маршала Тухачевского и других высших командиров Красной Армии, что позволило Сталину ликвидировать Тухачевского и весь командный состав, состоявший из участников гражданской войны, которые могли хранить верность Троцкому».

В другом месте она пишет об одном своем друге, агенте, решившем вернуться в Москву, несмотря на ожидавшую его там судьбу, и объяснившему свое решение так: «Меня и здесь легко убить. Они это сумеют. Можешь мне не верить, но я-то знаю, насколько они всесильны. В Париже есть группа белых офицеров, окружение Гучкова, которые работают на них. Они умеют это делать. Они предали своих, но обожают убивать коммунистов».

Словом, Гучков повторил судьбу генерала Врангеля, организация которого, ставившая себе задачу «проникновения» в СССР, сама к середине двадцатых годов оказалась в сетях ГПУ. При таком положении дел все чрезвычайно запуталось. С одной стороны, можно предположить, что дочь Александра Гучкова могла быть для НКВД козырем в этой игре. Но с другой — нам известно от нашего собеседника, что Гучков знал о коммунистических симпатиях дочери и «очень страдал». В этом котле, где варилась каша из белогвардейских интриг и козней НКВД, все

краски перемешаны. Но верх, в конце концов, неизменно одерживает сильнейший...

После объявления войны Вера Трайл, как и тысячи других «подозрительных» и «нежелательных» иностранцев, была отправлена в один из многочисленных концлагерей (они так назывались официально), организованных французскими властями. Лагерь Рьекро, неподалеку от Менда в Лозере, был не самым худшим — поначалу (во всяком случае, женщин даже выпускали в город за покупками). Там содержались немецкие, итальянские, французские коммунистки (в том числе жены Хосе Марти и Габриэля Пери), иностранки европейского происхождения, проститутки и эмигрантки... Похоже, что Вера Трайл пользовалась там определенными льготами: ей разрешили поселиться в гостинице «Золотой лев» в Менде, позже к ней приехала мать. Прежде Вера Трайл, при уже известных нам обстоятельствах, попала в поле зрения полиции, однако теперь, благодаря своему замужеству, она стала британской подданной и, значит, — союзницей.

Одна польская еврейка, коммунистка, тоже гостя поневоле лагеря Рьекро, так вспоминает о ней: «Она была высокого роста, очень близорука и всегда носила длинную меховую накидку. Была хорошим товарищем, но в партии не состояла и в подпольную организацию лагеря не входила. Когда она получила разрешение на жительство в Менде, поползли сплетни — правда, бездоказательные, — будто у нее интимные отношения с комиссаром полиции...» Извечная участь агента — быть чужим даже среди своих...

В это время у Веры Трайл серьезный «роман» с

немцем-антифашистом, ветераном Испании Бруно фон Заломоном, вероятно, братом знаменитого Эрнста фон Заломона, писателя-нациста. Бруно умер несколько лет спустя от туберкулеза. По возвращении в Англию Вера Трайл напишет книгу о своей последней большой любви. А позже, в шестидесятые годы, протрезвев от своих сталинских увлечений, постарается скупить все оставшиеся экземпляры, ибо десятки страниц в романе были заполнены восхвалениями «отца народов»...

Пока гестапо не успело наведаться в Рьекро за жертвами, охраняемыми жандармами Петена, Вера Трайл бежит классическим путем — через Испанию и Лиссабон. После войны она уже не коммунистка. Почему? Если верить моему собеседнику, ответ ясен: то, что она увидела в СССР в 1937—1938 годах, открыло ей глаза. В 1941 году Вера Трайл еще не переварила этот опыт, верит в антифашизм, пишет роман-оду Сталину, но после войны с этим покончено.

Уже в 1949 году, когда Виктор Кравченко в эпоху нарастания «холодной войны» открыл глаза западному общественному мнению своей нашумевшей книгой «Я выбираю свободу», она сопровождает перебежчика на публичных выступлениях в качестве переводчицы. На фотографии, опубликованной 4 мая 1949 года в газете «Ивнинг ньюс», Вера Трайл стоит рядом с Кравченко, нервно затягиваясь сигаретой. Тут, правда, тоже можно вообразить какой-нибудь сюжет в макиавеллевском духе...

Когда в начале шестидесятых годов наш собеседник решает вернуться в Москву, она отговаривает его: «Не будь идиотом...» — и рассказывает о чист-

ках, об исчезающих друзьях, хоть, конечно, и далеко не всех... А в своих письмах к Родзевичу, наряду с бранью в адрес забастовавших рабочих, резко замечает: «Как можно в наше время оставаться коммунистом? Если все произошедшее за последние сорок лет не переубедило тебя, то как мне это сделать словами? Я надеялась, что ты сумеешь мне объяснить, как ты с твоим умом и знанием жизни в 1978 году еще можешь верить в идеалы сорокалетней давности, которые сегодня абсолютно мертвы. По-моему, ты единственный, кто верит, будто они еще живы. Я ничуть не изменилась. Изменились только факты — и наше знание фактов. Не думай, что я влюбилась в систему капитализма. Нет, сегодня, как и тогда, я далека от этого...»

И тем не менее в шестидесятые годы (все обиды взаимно прощены?) Вера Трайл сопровождает в СССР делегации британских лейбористов, по-прежнему в качестве переводчицы. В конце семидесятых годов она сообщает тому же Родзевичу, что собирается съездить в Москву «за счет государства» (какого?!). Опять загадки...

Когда в 1986 году Веру Трайл хоронили на Кембриджском кладбище, рассказал в заключение наш свидетель, мало кто пришел. С дочерью она давно порвала, но зато присутствовала... внучка Сталина. В Кембридже Вера Трайл познакомилась со Светланой Аллилуевой, дочерью тирана, после ее сенсационного отъезда из СССР. Светлана даже подарила ей телевизор... Потом две женщины, сломленные бременем истории, поссорились: когда, все хорошенько взвесив, Светлана решила вернуться в СССР.

Ее дочь, внучка деспота, задержалась и пришла вместе с горсткой старух на похороны дочери Гучкова. Это можно счесть горькой, очень горькой эпитафией...

Другая смерть, другие похороны, два года спустя. В четверг 3 марта 1988 года нас было немного, когда выносили тело Константина Родзевича, скончавшегося накануне в возрасте девяности трех лет.

Пятеро служащих похоронного бюро суетились над иссохшими останками. Потом отошли, предоставив нам возможность «проститься с вашим другом». Человек-память быстро перекрестился, вздохнул. Я замер невдалеке от гроба, испытывая неясное волнение. Восковое лицо с огромным орлиным носом, из которого нелепо торчали длинные седые волосы... Мы удалились, передав «нашего друга» профессионалам, которым не терпелось поскорей отправить его на кладбище Тье. Наверное, такие малолюдные похороны на скорую руку были для них сущим надругательством.

Как-нибудь я наведаюсь на могилу Константина Родзевича, чтобы собраться с мыслями. Я больше не сержусь на него за то, что он не оказал последней услуги «правому делу», истории, так ничего и не рассказав. Его смерть освобождает меня от угрызений совести за то, что я вторгся в мир трех забытых «героев».

Эту историю поведал А. Бросс.

ВЛАСТЬ НЕИЗБЕЖНОГО

Светлана Аллилуева рассказывала, что обмолвилась отцу о своих денежных затруднениях. — Вспоминал сын Анастаса Микояна — Серго Микоян. — Тогда он разрешил ей ежемесячно получать крупную сумму. С какого счета? Члены Политбюро, по традиции, не получали гонораров за публикации (о зарплате Сталина не приходится и говорить — наверное, ее не хватило бы на 2—3 «ужина», о которых рассказано выше). Но этим далеко не кончилось. На радостях, что дочь развелась с мужем-евреем, он предоставил ей вообще открытый счет в банке.

Будучи довольно скромной женщиной (в отличие от своего беспутного брата Василия), Светлана все же невольно обрадовалась, позвонила жене моего старшего брата и сказала: «Элька, ура! Теперь с деньгами у меня вообще нет проблем!» Наивная подруга спросила: «Как это — открытый счет? На какую сумму?» — «Ну, понимаешь. Он сказал, что я могу брать сколько хочу, без ограничения».

Или обратимся к его знаменитым «ужинам», начинавшимся в 10—11 вечера и кончавшимся в 3—4 утра. Собиралось, скажем, 8, 10 или 12 человек. Изысканные блюда подавались на стол в большом количестве. Шампанское, коньяк, лучшие грузинские вина, водка лились рекой. Сам хозяин пил много, отдавая предпочтение сладкому шампанскому и винам типа «Хванчкары». Но других пить заставлял исходя из тезиса «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Отказ пить воспринимал как боязнь проболтать-

ся о чем-то, желание что-то скрыть. Поэтому никто в конечном итоге не отказывался. Даже иностранных гостей вроде Тито Сталин заставлял напиваться до неприличия. (Тито однажды сказал наутро своим товарищам, что к Сталину на ужин больше никогда не поедет; об этом, конечно, Сталину доложили те, кто прослушивал все разговоры в резиденции гостя, и — кто знает? — не отсюда ли пошло подозрительное отношение к югославскому лидеру?).

Запасные чистые тарелки, приборы, хрустальные фужеры в изобилии стояли неподалеку во время разговоров. Иногда хозяин вдруг произносил по-грузински два слова, в переводе означавших «новая скатерть» или «свежая скатерть». Немедленно появлялась «обслуга», брала скатерть с четырех углов, поднимая ее. Все содержимое — икра вперемешку с чуть остывшими отбивными, капуста по-гурийски с жареными куропатками (а Сталин их особенно жаловал), притом вместе с посудой, приборами и бокалами — оказывалось как бы в кульке, где лишь звенели битые фарфор и хрусталь, и уносилось. На новую, чистую скатерть приносились другие яства, любимые Сталиным, только что приготовленные. Думаю, даже Лукулл и Нерон не назвали бы все это аскетизмом!

Непрактичная Светлана Аллилуева столкнулась в Америке с проблемами, которые были ей неизвестны...

Заявление Светланы Аллилуевой, сделанное в посольстве США в Дели, Индия, 6 марта 1967 года:

(Подлинник на английском языке) Я родилась в Москве 28 февраля 1926 года. Мои родители —

И. В. Сталин и Н. С. Аллилуева. Моя мать умерла в ноябре 1932 года, и, только достигнув шестнадцати лет, я узнала, что она покончила с собою. Она была на двадцать два года моложе моего отца, который хорошо знал ее родителей еще с 1890-х годов: ее родители были также вовлечены в социал-демократическое движение. Мои отец и мать поженились после Октябрьской революции. Моя мать была второй женой моего отца. Первой женой его была Екатерина Сванидзе, грузинка, умершая вскоре после того, как родился их сын Яков. Хотя Яков был намного старше меня, он был моим дорогим другом, намного более, чем мой брат Василий.

В 1943 г. я окончила десятилетку в Москве и в том же году поступила в Московский университет. В 1949 году я окончила университет по специальности новейшая история.

Еще студенткой я вышла замуж за студента Григория Морозова. В 1945 году родился наш сын Иосиф. Мой муж был студентом Института международных отношений. Мы разошлись в 1947 году, и мой сын остался со мной. Проф. Г. И. Морозов занимается сейчас международным правом и недавно выпустил свою книгу об Организации Объединенных наций, известную в Америке. Он часто ездит за границу на встречи со своими коллегами в Канаде, Париже, Варшаве. Мой отец не одобрял нашего брака и ни разу не встретился с моим мужем, так как Г. Морозов — еврей. Но он никогда не настаивал на нашем разводе.

В 1949 году я вышла замуж второй раз за Юрия Жданова, сына А. А. Жданова. Мой отец хотел этого

брака, так как он любил Ждановых. Но брак этот был несчастливым, и, хотя в 1950 году родилась наша дочь Катя, мы вскоре разошлись.

С тех пор я жила одна с моими двумя детьми. Я занималась историей русской литературы, а позже начала делать переводы для издательств. Некоторые из моих переводов были изданы в Москве: глава в книге А. Ротштейна (Лондон) «Мюнхенский заговор», глава в книге Джона Льюиса (Лондон) «Человек и эволюция». Я также писала внутренние рецензии для издательства детской литературы в Москве на переводы с английского языка.

Смерть моего отца в марте 1953 года мало что изменила в моей жизни. Я давно уже жила отдельно от него, и моя жизнь была всегда простой, такой она оставалась и после его смерти. Мой отец прожил последние двадцать лет на своей даче возле Кунцево, под Москвой.

Мой старший брат Яков, находясь в действующей армии в Белоруссии, был захвачен в плен в августе 1941 года. Когда мой отец был в Берлине на Потсдамской конференции 1945 года, ему сказали, что немцы расстреляли Якова незадолго до того, как лагерь был освобожден американскими войсками. Один бельгийский офицер прислал моему отцу письмо о том, что он был свидетелем гибели Якова. Позже, через несколько лет, о том же факте сообщалось в статье одного шотландского офицера в английском журнале. Но семья Якова так и не получила официального известия о его гибели из его военной части, и потому его вдова, дочь и я часто думаем, что, возможно, он все еще жив где-нибудь: так много совет-

ских военнопленных все еще остается в разных странах мира.

Мой брат Василий был летчиком, после окончания войны он стал генералом и командующим авиацией Московского военного округа. После смерти нашего отца он оставил армию и вскоре был арестован. Он говорил всем, что «отца убили соперники», и поэтому правительство решило его изолировать. Он оставался в тюрьме до 1961 года, когда его, совершенно больного, освободил Хрущев. Вскоре он умер. Причиной его смерти был алкоголизм, совершенно подорвавший его здоровье, и — конечно — семь лет тюрьмы. Но многие до сих пор не верят, что он умер, и часто спрашивают меня: «Правда ли, что он в Китае?..»

В 1963 году, находясь в больнице в Кунцево, я встретила с коммунистом из Индии, по имени Баджеш Сингх, приехавшим в Москву на лечение по приглашению КПСС. Такие приглашения рассылаются каждый год всем компартиям мира.

Сингх принадлежал к старому аристократическому роду Индии. Его племянник Динеш Сингх сегодня является министром иностранных дел. Баджеш Сингх вступил в коммунистическую партию в начале 30-х годов в Европе. Он подолгу жил тогда в Англии, Германии, Франции и стал близким другом и соратником М. Н. Роя. Он был европейски образованным человеком, а также хорошо знал классическую Индию.

В 1963 году после нашей встречи он уехал в Индию, чтобы вернуться в Москву в 1965 году в качестве переводчика издательства «Прогресс». С этого

времени он жил в нашем доме, и мы планировали пожениться. Мы также планировали путешествовать вместе и поехать в Индию через три года, когда истечет срок его контракта с издательством «Прогресс».

Но Советское правительство и лично премьер Косыгин были против этого брака. Хотя закон СССР сейчас не воспрещает браки с иностранцами, мне этого не могли позволить. Нам не разрешили зарегистрировать наш брак, так как правительство полагало, что тогда я уеду из СССР навсегда.

Брадждеш Сингх оставался в Москве полтора года, живя у нас. Мы все, включая моих детей, полюбили его. Но все эти запреты и препятствия потрясли его. Он был слабого здоровья (много лет страдал от астмы), и в Москве ему становилось все хуже и хуже. 31 октября 1966 года он умер. Я считала, что моей обязанностью было привезти его прах в Индию для погребения в Ганг.

Для этой печальной миссии мне нужно было специальное разрешение премьера Косыгина. Он дал таковое, но лишь на две недели. Однако мне удалось задержаться дольше, так как в Индии я встретила друзей и родственников Сингха и начала думать о том, чтобы остаться в Индии. Но я встретила препятствия: ни советское правительство, ни правительство Индии не разрешили бы мне этого. Я должна сказать, что были и другие причины, почему я не желала возвращаться в СССР.

Свои американские проблемы Светлана Аллилуева описала с присущим ей литературным талантом в книге «Далекая музыка».

«Когда я прилетела в аэропорт Финикс в марте 1970 года, я все еще знала очень мало о Товариществе Талиесин, расположенном в пустыне Аризоны. Я знала также мало о Ф. Л. Райте, основателе этой артистической коммуны. Он умер одиннадцать лет тому назад, и его архитектурное дело, так же, как его Школа архитектуры и то, что они называли «братство», — все это находилось с тех пор под надзором его вдовы, Ольги Ивановны, урожденной Милиановой, внучки национального героя Черногории (ныне часть Югославии). Ольга Ивановна была воспитана еще в царской России, говорила по-русски, и в Америке стала четвертой женой знаменитого архитектора..

Она и ее дочь Иованна Л. Райт прислали мне несколько книг об их «прекрасной жизни в коммуне» в пустыне, на кампусе, спроектированном и построенном Райтом в начале 30-х годов. (Другой — первоначальный кампус этого товарищества находился в Висконсине, как я узнала позже.) Просматривая их стильные фотографии, не слишком восхищенная ландшафтами пустыни и архитектурой, напоминавшей театральные декорации, я больше думала о том, куда я поеду после визита в эти странные места. Приглашение от русской художницы Елизаветы Шуматовой поехать позже летом с нею на Гавайи было куда как привлекательнее для меня. Не пустыни Аризоны, а уединенные пляжи, ненаселенный остров в океане — вот куда меня, действительно, тянуло. В те дни меня часто приглашали малознакомые мне люди, и отвечать на их приглашения было частью моего образа жизни, а также способом больше узнать об этой стране.

Тем не менее, посещение Аризоны предполагало один очень личный момент. Ольга Ивановна Райт провела свою юность в России, а именно в Грузии — Батуми и Тифлисе, вышла там замуж первый раз и там же, в городе столь знакомом моей семье, родила дочь Светлану. Имя Светлана, редкое тогда, взято из поэзии Жуковского, — образ задумчивой девушки, бродящей в лесу — как Офелия.

Ольга Ивановна и ее муж, музыкант из «русских немцев», эмигрировали после революции и после многих скитаний обосновались в Чикаго. Здесь молодая тридцатилетняя женщина встретила с уже всемирно известным шестидесятилетним Райтом (только что оставленным его третьей женою) и начался страстный роман. Девочка Светлана, десяти лет, была впоследствии удочерена Райтом. Вскоре появилась на свет ее сестра — Иованна Райт, и все они составляли ядро и центр «Товарищества Талиесин», артистической коммуны, идею которой молодая Ольга Ивановна заимствовала от Гурджиевской школы гармоничного человека во Франции, где она была ученицей несколько лет.

Светлана Райт позже вышла замуж за одного из архитекторов Товарищества, родила двух мальчиков и, ожидая третьего ребенка, трагически погибла в странной автомобильной катастрофе в Висконсине, недалеко от городка Спринг-Грин. Только пятилетний мальчик уцелел. Мать Светланы не могла успокоиться с тех пор — и, по ее словам — совпадение имен заставило ее написать мне в первый раз. Мне тоже казались фатальными совпадения имен и мест, а также факт, что миссис Райт была одного возраста

с моей матерью и росла в тех же краях, которые так всегда любила Надя Аллилуева. Короче говоря, мы обе решили что мы должны встретиться, и обе втайне надеялись на еще большее сходство с любимыми образами, которые мы носили в своих сердцах.

Родом из Черногории, крошечной восточно-европейской страны, так же мало известной в Америке, как и моя Грузия, Ольга Ивановна прошла через нелегкую жизнь, полную борьбы за существование, и теперь грелась в поздних лучах славы и авторитетного имени Райта. Она была теперь президентом Фонда Райта, архитектурной школы и фирмы — руководителем огромного дела и известной американской аристократкой. Помимо этого, я мало что знала о ней лично. Но тем любопытнее было мне встретить ее.

В аэропорту Финикса меня должна была встретить Иованна Райт, которая, если судить по ее письмам, была артистической натурой и сердечным человеком. Она тоже писала мне, что взволнована предстоящей встречей с женщиной, носящей имя ее погибшей сестры. Очевидно, что совпадение имен имело глубокое мистическое значение здесь для всех. Но я даже не знала, как Иованна выглядит, и пыталась представить ее себе, оглядываясь вокруг.

Мой взгляд привлекла ярко одетая красивая женщина примерно моих лет, в коротком платье (мода тех лет), с копной длинных, кудрявых волос и сильно подведенными глазами.

Неожиданно она заметила меня и с криком «Светлана!» устремила ко мне, заключив меня в горячие объятия. Не привыкнув еще к эмоциональ-

ному поведению перед публикой, я смутилась, но не могла не ответить на ее порыв.

Сильно нажимая на газ в своей спортивной машине красного цвета, поглядывая на лиловые горы, окаймлявшие долину, она еще раз кратко повторила мне историю гибели ее сестры. «Я так надеюсь, что вы будете моей сестрой?», — сказала она без остановки, и я опять смутилась и не знала, что ей ответить.

Иованна была яркой, красивой, очень уверенной в себе женщиной и говорила громким голосом. «Вполне в гармонии с ландшафтом», — подумала я, любуясь яркостью красок весенней пустыни. «О, мы всегда ездим быстро через эти пространства!», — засмеялась она, заметив, как моя правая нога инстинктивно «нажимала» на воображаемую педаль тормоза... Это — рефлекс всех шоферов, которым приходится быть пассажирами. Мы неслись по степной дороге, и, наконец, я рассмеялась и почувствовала себя легко с моей новой «сестрой».

В середине марта воздух наполнял аромат цветущих апельсиновых рощ, раскинувшихся на орошаемых землях вокруг Скоттсдэйла. После холодного, еще зимнего Нью-Джерси, переход к солнцу и теплу, напомнил мне недавний перелет из зимней Москвы в Индию — контрасты были такими же. Я начала чувствовать колдовские чары всей красоты вокруг, упиваясь ароматом, цветами и теплым воздухом пустыни. Я даже заметила яркие малиновые цветы буганвиллии, вьющегося растения, столь популярного в Индии, карабкавшегося здесь на изгороди и дома.

И, наконец, через аркады, обвитые цветами, я была проведена к самой миссис Райт. С самого первого момента я поняла, что мои надежды увидеть женщину, возможно, напоминающую внешне мою любимую маму, были дикой фантазией. Она была маленькой, худощавой, с желтым, как пергамент, лицом в морщинах, с быстрыми умными глазами, в простом элегантном платье и громадной шляпе бирюзового цвета на очень черных (крашенных?) волосах. Датский дог черного цвета сидел у ее ног. Ничего не было здесь от мечтательной, мягкой красоты моей мамы, ее застенчивости, ее бархатного взгляда. Передо мной была царственная вдова знаменитого архитектора, президент и продолжатель его дела, с быстрым, кошачьим взглядом светло-карих глаз, напоминавшим куда более быстрый взгляд моего отца...

Она улыбалась мне, мое имя было пропето опять и опять, она протянула ко мне руки и прижала меня к своей груди.

Меня повели в коттедж для гостей, где все было исполнено вкуса и роскоши — по сравнению с пуританским Восточным побережьем. Еще одна хорошо одетая женщина показала мне маленькую очаровательную кухню, и сказала: «Вы всегда можете пить здесь кофе. Отдыхайте, устраивайтесь, возможно, вам захочется немного погулять. Мы — оазис посреди пустыни, сейчас все цветет! Миссис Райт будет вас ожидать к обеду в ее доме, коктейли в большой гостиной». И меня оставили одну с моими первыми впечатлениями. Я не видела ничего подобного возле Принстона, Нью-Йорка или Филадельфии. Это был другой мир.

Позже пришла Иованна осведомиться, привезла ли я с собой вечерние платья, как она мне писала. Нет — я просто не смогла найти ничего подходящего в известных мне лавках Принстона. «Но у нас всегда официальный прием по субботам! — настаивала Иованна. — Я принесу вам свои платья, мы как будто одного размера», — решила она вдруг и быстро ушла, не дав мне возможности ответить. В Америке я привыкла, что никто не обращал внимания на костюм, и «маленькое черное платье» подходило и к Карнеги-Холлу и к обедам, куда меня приглашали. Никто никогда не давал мне советов, и хозяйки всегда настаивали: «Приходите в том, в чем вы есть». Здесь же особое внимание обращали на одежду. Ну что ж, это занимательно!

Несколько ярких созданий из шифона и шелка появилось в моей спальне. Это были очень дорогие платья, сшитые для «специальных случаев». Я пошла на сегодняшний обед в своем коротком светло-зеленом платье и черных туфлях. За мной был прислан «эскорт», чтобы сопровождать в большую гостиную.

Дамы в вечерних туалетах, мужчины в смокингах, все увешанные драгоценностями и блестящие, как рождественские елки, уже ждали возле горевшего камина. Вошел высокий, темноволосый человек и был представлен мне хозяйкой: «Светлана, — это Вэс. Вэс, — это Светлана».

Мне следовало помнить, что вдовец той Светланы был все еще здесь, что он был одним из архитекторов и старейших учеников Райта. Но его не было среди всех писавших и приглашавших меня, и я за-

была о его существовании. Я взглянула на его песочного цвета смокинг, на фиалковую рубашку с оборками, на массивную золотую цепочку с кулоном — золотая сова с сапфировыми глазами — и подумала: «О, Боже». Но его лицо было строгим и исполненным достоинства, глубокие линии прорезывали щеки — как у Авраама Линкольна. Он был спокоен и даже печален, выглядел лучше всех остальных, напоминавших каких-то ярких райских птиц, сидел спокойно, естественно, держа стакан в руке, и мне понравилась его сдержанность. Только однажды вдруг я заметила внимательный взгляд очень темных глаз, пристально разглядывавший меня, но он тотчас же отвел глаза, продолжая молча сидеть. Он казался одиноким и печальным.

Затем мы проследовали к столу в другой комнате, где тяжелые грубые камни стен и низкого потолка странно контрастировали с полированным большим столом ярко-красного цвета. Приборы были золотыми (или так они выглядели), высокие вычурные стаканы блестели хрустальными гранями. Композиция цветов посередине стола представляла собой образец тонкого вкуса. Старинные китайские вышивки украшали каменные стены.

Мы уселись, и я подумала, что все это напоминает фантастическую пещеру где-то в центре земли. Хозяйка рассадила всех сама, и Вэс был справа, рядом со мной. Нас было около восьми человек, узкий круг вертушки Товарищества Талиесин (как я узнала позже), и этот прием был дан в мою честь, как почетного гостя. Все это было интересно, но я чувствовала себя не на месте.

Обед был мексиканский, первый в моей жизни. Вино было налито в хрустальные бокалы, прислуживали за столом молодые люди в ярких мексиканских рубашках с оборками: некоторые стояли позади стульев. Мне никак не пришло в голову тогда, что это были студенты-архитекторы, для которых работа в общей кухне и прислуживание за столом у миссис Райт были обязанностью и даже честью. Тогда же я ломала себе голову, пытаясь догадаться, кто были эти молодые люди с интеллигентными лицами, никак не походившие на нанятую прислугу. Когда я наливала себе в тарелку острый мексиканский соус «Сальза Брера», я вдруг услышала моего соседа, не произнесшего до сих пор ни слова: «Этот соус очень острый!». Я ответила, что это не страшно, так как мне знакома кавказская кухня, столь же острая и перченая. Голос моего соседа был низкий и тихий, и он ничего больше не сказал.

Разговор за столом вела хозяйка, наблюдавшая каждого уголком своих быстрых глаз. Она задавала тему и тон всему, иногда шутила, и каждое ее слово присутствующие слушали с молчаливым вниманием. («Совсем, как за столом у моего отца, — подумалось мне. — Как глупо было вообразить, что хоть что-либо здесь могло напомнить мне маму! Ничего, билет на Сан-Франциско у меня уже есть».) «Я так рада, что Вэс и Светлана, наконец, встретились!» — произнесла хозяйка, со значительностью подчеркивая наши имена. Все смотрели на нас двоих. Значит, меня пригласили сюда для этого? Значит, все готовилось для этой встречи? Следовало бы мне быть более прозорливой насчет планов этой умной хозяйки. Но я была

беспечна. Мне было все равно. Я медленно погружалась в незнакомую мне атмосферу роскоши и тонкого вкуса, и просто решила понаслаждаться немного всем этим, еще несколько остававшихся дней. Я не чувствовала, что мне грозило что-либо, и крепко спала в своем коттедже, до дверей которого меня снова сопровождал «эскорт».

Наутро Вэс пришел рано и сказал, что миссис Райт прислала его, чтобы показать мне всю территорию Талиесина, а потом также и город Скоттсдэйл. Мы обошли весь кампус, спланированный Райтом посреди пустыни как причудливый оазис, построенный из здешнего камня. Массивные низкие постройки с плоскими крышами, везде — горизонтальные линии, тяжелая каменная кладка, толстые стены и очень маленькие окна и масса зелени. Райт боготворил Землю, ее цвета, традиции Пуэбло и Наваха — эстетику искусства американских индейцев. Он хотел славить индейскую адобу, противопоставляя ее белым домикам пуритан Восточного побережья.

Как-то мы пошли вдвоем в ресторан, и в тот вечер я задала ему немало вопросов. На этот раз он заговорил. Он хотел рассказать мне все сразу — о женитьбе на шестнадцатилетней девушке, об их детях, об их счастливой жизни вместе. Он говорил о той ужасной автомобильной катастрофе, в которой погибла его жена, беременная третьим ребенком, и о том, как их двухлетний сын погиб тоже. Боль и ужас были все еще живы, как будто с того дня не прошло двадцати пяти лет. Мы оба рассказывали друг другу о своих жизнях, как старые друзья. Ресторан закры-

вали, мы были последними его посетителями. Это был чудесный вечер.

Я вдруг как-то сдалась, полностью попав во власть неизбежного, что и было тайным желанием моей хозяйки и всех этих людей вокруг. Брак, самый обыкновенный брак, семья, дети, все то, чего я всегда так желала с юности, и что никогда не получалось. Теперь, в возрасте сорока четырех лет, я даже боялась мечтать об этом, не то что сделать еще одну попытку. Но что-то было в этом человеке такое печальное, такое порядочное, что сострадание к нему перевешивало все остальные разумные соображения. И с этим состраданием пришло чувство готовности сделать все, что угодно для него, — а это и есть любовь. Он не хотел легкой связи, он хотел брака, и эта серьезность привлекала меня еще больше.

Через неделю мы поженились, — всего лишь три недели спустя после моего приезда сюда, — и не скрывали своего счастья. Множество гостей съехалось на свадьбу, друзья миссис Райт и Баса. С моей стороны я позвала только Алана Шварца, младшего партнера фирмы «Гринбаум, Вольф и Эрнст» (который был лучше, чем все остальные, и долгое время поддерживал со мной дружбу, я была долгое время откровенна с ним и с его женой). Сначала он был поражен, но потом присоединился ко всеобщему ликованию.

«Моя дочь — Светлана!» — так представляла меня каждому из своих гостей миссис Райт. Я чувствовала, что было что-то искусственное в этом отождествлении двух совершенно разных характеров, к тому же погибшую мою тезку все помнили такой моло-

дой. Я боялась, что не смогу повторить ее образ — то, чего все от меня здесь так хотели. Но теперь уже было поздно думать и сомневаться. Я просто старалась быть естественной, радоваться со всеми и следовать желаниям этого человека.

Нас засыпали цветами, письмами, пожеланиями счастья, подарками всех видов и возможностей. Что-то было от волшебной сказки в нашей встрече. Те дни никогда не забудутся, даже если позже пришли иные чувства и другие события. Но что бы ни было позже, я не могу стереть из памяти весну 1970 года. Мне лишь хотелось знать, чувствовал ли Вэс то же, что я: но этого я не могла знать. Он оставался молчаливым, как обычно, и никогда не говорил о своих чувствах ко мне. Мне это даже нравилось.

Он казался счастливым, по крайней мере, в продолжение первых месяцев после свадьбы. И только однажды, когда нашей Ольге было уже несколько месяцев от роду и мы теплой дружеской компанией сидели в доме его друзей в Висконсине, он сказал: «Ты вернула меня к жизни. Я был мертв все эти годы».

Я поразилась. Это было много больше того, что я когда-либо слышала. Больше, чем я могла желать.

Через два или три дня после свадьбы миссис Райт позвала меня в свою комнату. Она выглядела серьезной и озабоченной. Я не знала, к чему готовиться.

«Вэс всегда страдал от одной слабости, — начала она. — Он тратит деньги совершенно бездумно, следуя какому-то внутреннему побуждению, и мы все ничего не можем с этим поделать. Он всегда держит

много кредитных карточек и покупает всем подарки. Его все любят, и он любим всеми. Он постоянно дарит всем драгоценности, предметы искусства, дорогую одежду, и, кажется, — он не может остановиться и не делать этого. Сейчас у него колоссальный долг, и, если он не выплатит его, ему придется объявить банкротство. Он продает свою ферму в Висконсине, которая ему очень дорога как память: его мать жила там, его дети и моя Светлана жили там многие годы. Мы не можем спасти его от долгов, так как это повторяется с ним опять и опять. Вам придется следить за ним, чтобы этого не повторилось! Моя Светлана всегда страдала от этого».

Итак, я выплатила его долги, потому что мы были теперь едины. Это было моим свадебным подарком ему. Я сделала это с радостью и с надеждой, что он никогда не пустится вновь в ненужные траты. Я также выкупила его ферму из долгов, потому что это был теперь маленький кусочек нашей общей, семейной собственности. Не какие-то там архитектурные причуды, а простой старомодный сельский дом среди лесов и полей. Не было такой силы на земле в те дни, которая остановила бы меня от помощи моему мужу и моему пасынку, молодому человеку 30-ти лет. Я стала на путь семейственности и хотела залечить все раны, полученные этой семьей раньше.

Вскоре после того, как мы поженились, я попросила моих адвокатов в Нью-Йорке, в чьих руках были все деньги, перевести мой личный Фонд в Аризону. Благотворительный Фонд Аллилуевой оставался в Нью-Йорке. Адвокаты были возмущены и испуга-

ны моим требованием. Но — любовь не знает полумер: я была целеустремлена на спасение своего мужа. Адвокаты согласились, и вклады были переведены из банка Бейч и К (в Нью-Йорке) в Вэлли-банк в Фениксе, Аризона. Мы немедленно же открыли объединенный счет.

Наша свадьба получила такое широкое освещение в печати, как будто мы были из королевской семьи. Фонд Райта надеялся, что таким образом о них вспомнят и увеличится приток клиентов фирмы «Объединенные архитекторы Талиесина». Число заказов, однако, падало. Фирма работала в то время, главным образом, в Иране, где заказчики — сестра шаха — хорошо платили. После того как улегся шум в прессе, я решила что вдовец с 25-летним стажем имеет право на небольшой «медовый месяц». Тогда вежливый, мягкий китаец-архитектор был послан ко мне с дипломатической миссией. Он объяснил мне — «непосвященной», новобрачной и глупой, что «Фирма находится в цейтноте со своими проектами». Мне оставалось только принять вещи такими, как они были, и сказать «прощай» недолгому отдыху вместе. Я же полагала, что работавший годами без отпусков и выходных дней Вэс заслужил такой отдых.

Мы смогли лишь уехать на несколько дней в Сан-Франциско, под предлогом визита к сестре Вэса, и она устроила нас в мотель в Соселито, на берегу прекрасного Сан-францисского залива... Это было чудесно. Мы бродили по берегу залива, заходили в местные лавочки и просто оставались в своей маленькой комнатке, читая газеты и слушая гудок «туманного сигнала» с ближайшего маяка. Но он звучал

здесь не так, как тогда, на острове Монгихан... Или, может быть, это мне только казалось.

Поздно ночью междугородные деловые звонки находили Вэса и здесь. Как-то раз я взяла трубку и сказала: «Он спит, позвоните в 9 часов утра». На другом конце провода кто-то задохнулся от удивления. Наутро Вэс был рассержен происшедшим и потребовал, чтобы я «не вмешивалась в работу». Он признался, что это был его образ жизни долгие годы, и просил: «Пожалуйста, не пытайся это изменить». Он старался изо всех сил продемонстрировать всем свою преданность делу и Товариществу, и что с женьтибой для него — ничего не изменилось.

Все свободное время — когда таковое случалось — он проводил в магазинах. Мы не посетили ни одного интересного памятника, музея, галереи, ни старых миссий в Сан-Франциско... Мы только носились из одного магазина в другой, всегда выходя с множеством покупок. Я никогда не видела, чтобы мужчина так же любил лавки, как это обожают женщины! Вэс часто выбирал платья для меня: он считал, что мой пуританский вкус в одежде должен быть забыт. Я же пыталась оставаться в своей «традиции незаметности». У нас был теперь общий счет в банке, и мы тратили с каким-то безумством, покупая одежду, драгоценности, обувь — не только для себя, но также и для других... Мне казалось, что мы скоро будем снова в тех же долгах, которые мы только что выплатили. Но привычки Вэса было невозможно преодолеть. Он любил жить, следуя годами установившемуся шаблону.

Его жажда к красивым вещам — вышивкам, рез-

ному камню, особенным ювелирным изделиям, необычайным вечерним платьям (которые его жена должна была носить) была какой-то детской, как будто ребенок вдруг очутился в игрушечном магазине своей мечты. Но зная, каким безденежьем страдали все в Товариществе, он так же покупал платья для «девочек», часы для «мальчиков», не обходя никого. Может быть, он чувствовал тайную вину перед ними, оттого что он имел теперь все, что хотел. Я не препятствовала этой его щедрости, хотя мне, выросшей среди весьма «мужественных мужчин», казалось странным такое увлечение тряпками и безделушками. Но это был новый для меня мир художников, кому нужна красота и гармония во всем окружающем. Это был совершенно незнакомый для меня образ жизни, а мне всегда нравилось узнавать новое.

Любимым отдыхом для Вэса были многолюдные коктейли у местных богачей. Он знался только с богачами, и только их приглашали в Талиесин. Никаких бедных артистов. Никаких застенчивых интеллектуалов. Только те, кто имел деньги, а потому и власть, были представлены здесь. «Зачем меня так зазывали сюда? — часто думала я. — Для чего я была нужна им? Для чего я была нужна ему?»

Иногда мы выходили вместе в ресторан. И — странно — нам не о чем было говорить! Он знал так мало, хотя бывал не раз в Европе и Азии. Ему было неинтересно сравнивать разные страны и культуры. К Индии он был совсем равнодушен: «бедная страна, неинтересное искусство». Все, что так занимало меня, было ему чуждо. Иногда меня поражало его безразличие к моим знаниям и опыту, к моему мнению,

просто к событиям моей жизни, столь отличной от его... «Каким он был со своей первой Светланой? — иногда думала я. — О, нет, она ведь была частью Товарищества, ее родители — создали его, ее отчимом был сам Франк Л. Райт. Тогда было все иначе, наверное... Так зачем все эти люди зазывали меня сюда?» Я была все еще влюблена и не могла дать прямой ответ: из-за денег.

Наша Ольга Питерс родилась в небольшом местном госпитале в Сан-Рафаэле, в прекрасном маленьком городке, основанном францисканцами в XVIII веке. Все было легко и счастливо, ребенок был здоровый и сильный, и единственное, что огорчило меня, это отсутствие Вэса, которого мы не могли разыскать, когда нужно было ехать в госпиталь... Профессор Хайакава сам отвез меня туда.

Нам не удалось избежать глупых, назойливых публикаций, и это тоже было досадной ложкой дегтя в большой, сладкой бочке меда. Отношение к прессе в семействе Хайакава было таковым, что «лучше дать им то, что они хотят, чем убегать от них». Поэтому меня вовсе не защищали тут от прессы, а скорее «подали» ей, как на блюде. А когда дочка родилась, Вэс, всегда обожавший «паблисити», привел в госпиталь целую бригаду с телевидения, — совершенно разозлив этим доктора, а также и меня. Но он сам так наслаждался! «Кто-то остановил меня на улице и поздравил с новорожденной!» — говорил он в восхищении, и с гордостью, как это говорят молодые отцы первого ребенка... Он был рад, и это была искренняя радость.

Пресса принесла множество писем с коммента-

ями, большинство было поздравительных и теплых. Меня всегда поражает эта способность американцев отзываться на любое внешнее событие с таким глубоко личным интересом! Но, конечно, мы не избежали и злобных политических писем от русских эмигрантов. А какие-то ханжи (неподписанная анонимка) даже написали так: «Как это ужасно — в вашем-то возрасте!»

Когда у них уже было двое детей, Вэс спроектировал дом для семьи, совсем рядом с Талиесином, на соседнем холме. Однако миссис Райт запретила такое «отделение от Товарищества». Дом остался только в чертежах.

Примерно в это время, уже ожидая третьего ребенка, Светлана с двумя сыновьями вела свой «джип» по дороге в Спринг-Грин, как вдруг «джип» потерял управление, и покатился под откос сельской дороги. Она погибла, и двухгодичный Даниэль тоже. Старшего мальчика выкинуло из машины, он ударился, но уцелел. Однажды, вспоминая эту историю, я остановилась возле Часовни Джонсов, где была похоронена Светлана и стала искать ее могилу. Найдя ее, я была потрясена: на могильном камне было написано мое имя — «Светлана Питерс». Маленький Даниэль был похоронен вместе с нею. Моя Ольга была так похожа на него! Я похолодела. По дороге домой я вела машину с особой осторожностью.

Безусловно, я давно знала, что у нас одинаковые имена. Но эта странная встреча на кладбище с той, чью роль меня взяли исполнять, была мне, как предупреждение. С тех пор я опасалась проезжать вместе с Ольгой по той самой дороге. У меня была те-

перь «идея фикс», комплекс, и я ничего не могла поделать с этим. И потому, что я была здесь, чтобы повторить жизнь этой женщины, стать женой ее мужа, мне, возможно, было не миновать такой же трагичной развязки... И, возможно, даже моей дочери, тоже.

Этот внезапный страх заставил меня серьезно задуматься о крещении Ольги. Я твердо верила, что тогда она будет защищена Богом.

Вэсу эта идея очень понравилась, но у него были иные причины для этого. Дело в том, что Ф. Л. Райт спроектировал — а Вэс построил десять лет назад греческую православную церковь в Милуоки. Теперь предполагалось праздновать «обновление» церкви Благовещения, и архиепископ всех американских греков Яковос должен был прибыть на празднование. Чем не блистательный случай крестить нашу Ольгу!

Я не знала ничего этого и только хотела крестить ее — все равно где — тихо и незаметно. Остальное было мне неважно. Но Вэс хотел крестить Ольгу перед алтарем, расписанным его другом Джином Масселинком, взявшим первую жену Вэса и его сына в модели для икон Богоматери с младенцем... Эти современного стиля иконы (совсем не традиционные) украшали царские врата церкви Благовещения, которую Райт решил построить в виде греческого театра. Греки проглотили такое богохульство, а позже церковь стала привлекать туристов и, наконец, была одобрена всем приходом. Теперь же архиепископ приезжал освятить заново алтарь, и никто уже более не удивлялся странным очертаниям перевернутого

блюдца, накрытого таким же огромным блюдечком... Фрэнк Ллойд Райт не был ни в одной церкви с детства, но решил, что именно амфитеатр более присущ духу греков, а не традиционная крестово-купольная планировка.

Все были очень довольны. Ольга орала своим громким, сильным голосом на всю церковь, когда ее окунули три раза в глубокую купель — по-гречески. Облаченные в черные рясы священники пели молитвы. Крестил ее сам архиепископ, а судья — крестный — принял ее в церковное махровое полотенце. (Поскольку все было решено в последнюю минуту, мы не смогли приобрести соответствующее крестильное платье, что очень огорчало крестную. Но я, наоборот, считала, что все было прекрасно!) Даже имя Ольга, данное в честь моей бабушки Ольги Аллилуевой, маминой матери, не могло быть лучше! Это одно из самых популярных имен в Греции, где все еще помнят царицу Ольгу, очень любимую в Греции в 20—30-х годах. Даже день рождения ребенка всех обрадовал: 21 мая, день святых Константина и Елены, основателей христианства в Греции. Вся церковь была наполнена глубоким чувством святости после обновления, и наша дочь получила, наверное, самое прекрасное крещение, которое только можно было получить...

Она благоухала маслами и благовониями несколько дней, но, намучившись долгой церемонией, спала несколько часов кряду.

Страх воды остался у нее, однако, на несколько лет.

После Рождества 1971 года Ольга и я въехали в

наш новый дом, зарегистрированный на имя мистера и миссис В. В. Питерс. Памела продолжала приходить и сидеть с Ольгой. Здесь было так спокойно! Я сразу успокоилась, как только исчезли эти вечные посетители вокруг, туристы и принудительная «общность» в сущности очень разных людей, собранных как в какой-то детский сад для взрослых. Но Вэс остался в Талиесине. Он был глубоко уязвлен моим желанием выехать, и после того как мы переехали, он дал волю своим горьким чувствам и словам. Он знал, что его всегда ждали, что двери были открыты для него в любое время дня и ночи, но он бывал очень редко с нами...

Местная пресса, конечно, узнала «новость» (не от Талиесина ли?), что мы купили дом и живем в разных местах. Через несколько месяцев нашего мирного житья в Тенях Горы — как романтично назывался наш поселок в Скоттсдэйле — у моих дверей появился утром местный журналист. Несмотря на ранний час, я была чрезвычайно вежлива, хотя и осталась босиком в кухонном утреннем балахоне. В те времена я все еще верила, что если говорить с журналистом просто и искренне, он все так и расскажет публике. (Роковое заблуждение!) Я не пустила, однако, его в дом, и мы разговаривали через сетчатую дверь. Заглядывая в дом через мое плечо и пытаюсь разглядеть, кто там и что там, он с поддельным изумлением спросил: «Но почему вы здесь?» Я ответила ему, что «это наша с мистером Питерсом частная резиденция».

Но он уже слышал что-то иное. «Вы живете раздельно? Вы подаете на развод?» — тараторил он. —

«Конечно, нет! Я только отделилась от коммунальной жизни в Талиесине».

Этот мой ответ был немедленно сообщен в местных газетах, и начались звонки без перерыва. Талиесин уже выдал свою версию: «Они разделились, и ее муж желает теперь только развода». Не знаю, чьи слова это были, но мне было пока что неизвестно о таком желании моего мужа.

Доктор Х., известный в Финиксе специалист по проблемам брака, был пожилым человеком с приятными спокойными манерами. Он выслушал мою долгую историю полностью, начиная с самого детства. Он был тактичен, внимателен и умел слушать. Потом он вызвал Вэса, ожидая такой же искренности. Потом — опять меня. И таким образом, несколько раз. Каждый раз он беседовал с каждым из нас в отдельности, и мы не общались между собой в это время.

Затем он изложил передо мною свои заключения. Они были неутешительны ничуть. Он сказал, что он убедился в следующем: в то время как жена ищет компромисса, чтобы сохранить семью, муж заинтересован только в том, чтобы скорее «выбраться» из этого брака. «Мне жаль это говорить, — сказал он, — но я не смог уловить ни тени сомнения в нем — он хочет освободиться. Я думаю, он был вполне искренен со мною, вполне честен насчет своих чувств».

Он был, конечно, прав. Я приходила к нему еженедельно, страдая от искушения вернуться, рассказать и согласиться на все, что угодно. Без помощи доктора Х. я, наверняка, так бы и сделала!

Однажды поздно вечером я просто не могла боль-

ше сопротивляться, села в машину и поехала к Талиесину. Было уже темно, и я остановилась вдалеке от входа. Я знала, как пройти задом к нашей комнате и террасе, смотревшей на дорогу, и никто не увидел бы меня. В это время все обычно находились в своих комнатах, уставшие от долгого дня работы. Я тихо прокралась из сада по нашей террасе и приблизилась к стеклянной двери, ведущей в дом.

Мое сердце упало. Все было в том же порядке, как я оставила, все здесь — старинное оружие на стене, иранская средневековая сабля, подвешенные растения, книги, друзья и другие минералы — все, что Вэс любил видеть вокруг себя. Я тихо прошла по гостиной и увидели Вэса, сидевшего в шелковом халате, босиком, спиной ко мне. Он смотрел телевизор и не шевелился, совсем, как камень. Тогда я подошла ближе, коснулась его плеча рукой, и слезы полились из моих глаз.

Он встал с таким же точно лицом, как тогда, когда я увидела его в первый раз: печальным, с глубокими вертикальными складками вдоль щек. Он был бледен, уставший и не мог найти слов. «Ты должна уйти, — сказал он, боясь, что кто-нибудь увидит меня там. — Ты должна... Ты должна...» Больше он ничего не мог сказать и я тоже. Он направился к двери, все еще босиком, и я последовала за ним. Он знал путь, которым я пришла сюда, и пошел со мной к моей машине, стоявшей среди кактусов и крупных камней пустыни. Вокруг никого не было. Только яркие звезды мерцали на черном небе. Мы молчали.

И я поехала обратно, все еще не в состоянии сдерживать слезы. В зеркальце машины я могла ви-

дети его, все еще стоявшего у дороги. Я ехала через пустыню, среди кактусов, по той же дороге, по которой меня привезла сюда впервые Иованна. Каменистой, пыльной дороге, ведущей к асфальтовому шоссе невдалеке. Я была здесь в последний раз».

А вот трогательное воспоминание Хрущева о маленькой Светланке: «Сталин всегда называл ее «хозяйкой». Одевали ее нарядно. Костюмчик на ней был украинский, вышитая сорочка или сарафан. Прямо как куколка нарядная. Она была очень похожа на мать — волосы темно-каштановые, лицо с мелким крапинками. Правда, волосы у матери были несколько темнее, чем у дочери. Я помню, бывало, когда мы приходили, Сталин говорил: «Ну, хозяйка, угощай. Гости пришли».

Когда мне сказали, что Светлана уехала в Индию и не захотела возвращаться в Советский Союз, я не поверил: как можно? — это, видимо, очередная клеветническая «утка» со стороны буржуазных журналистов. Потом прошел день-два, и уже не было никакого сомнения, что она не вернулась.

Мне и сейчас жалко ее. Как это у Некрасова: «Ей и теперь его жалко (о лесе говорит) до слез, сколько там было кудрявых берез». Мне жалко ее, жалко, что так сложилась ее судьба. А судьба у нее сложная.

Она лишилась матери в детском возрасте и воспитывалась сама, собственно, с няней.

Отец уделял ей очень мало внимания. Отдыхал Сталин всегда один и не брал детей с собой. Таким образом, она воспитывалась, не чувствуя родительской ласки. Даже животным и тем приятно, когда

мать облизывает их на солнышке. Все звери любят и требуют ласку, а на внутреннее содержание человека, который был лишен всего этого, это накладывает какие-то психические наслоения, как у Светланки».

«ДЕНЬГИ НА СВАДЬБУ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ЗАРАБОТАЛ САМ»

В день выборов, когда советское телевидение готовилось устроить шоу с Черненко в главной роли, ни о чем не подозревающие иностранные корреспонденты были приглашены на избирательный участок в Дом Архитектора, где обычно голосует Константин Черненко. Однако вместо него там появился Горбачев в сопровождении своей жены, дочери Ирины и внучки Ксюши.

Михаил Сергеевич передал свой бюллетень пятилетней Ксюше, помог ей опустить его в щель избирательной урны. Когда умиленные фотокорреспонденты попросили его повторить эту сцену, он широко развел руками, улыбнулся и сказал: «Голосуют только один раз».

Никколо Макиавелли (1469 — 1527) в трактате «Государь» советовал политикам «уподобиться» зверям — льву и лисе.

«Надо знать, что с врагами можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых си-

лой. Первый способ присущ человеку, второй — зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать ко второму.

Отсюда следует, что государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя.

Не это ли иносказательно внушают нам античные авторы, повествуя о том, как Ахилла и прочих героев древности отдавали на воспитание кентавру, дабы они приобщились к его мудрости? Какой иной смысл имеет выбор в наставники получеловека-полузверя, как не тот, что Государь должен совмещать в себе эти природы, ибо одна без другой не имеет достаточной силы.

Итак из всех зверей Государь пусть уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса — Волков. Следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана. Из чего следует, что разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание».

А теперь о концепции итальянского социолога Вильфредо Парето (1848—1923), который создал «Трактат всеобщей социологии». Парето научно обосновал деление общества на правящее меньшинство (политическую элиту) и управляемое большинство (неэлиту).

Парето доказывал, что движущей силой всех человеческих обществ является круговорот, циркуляция элит — их зарождение, расцвет, деградация и

смена на новую элиту. Циркуляция ЭЛИТ лежит в основе всех великих исторических событий.

Согласно этой концепции, индивиды, от рождения предрасположенные к манипулированию массами при помощи хитрости и обмана (лисы) или применения насилия (львы), создают два различных типа правления. Львы — это убежденные, преданные идее лидеры. Придя к власти, львы утомляются, стареют, силы покидают их в борьбе с молодыми, полными амбиций лисами. Лисы — коварные беспринципные, циничные.

Эти типы правления приходят на смену друг другу в результате деградации элиты, приводящей ее к упадку.

Принадлежность к элите необязательно наследственная: дети чаще всего не обладают всеми выдающимися качествами своих родителей.

Главное заключается в том, что в среде элиты не может быть длительного соответствия между дарованиями индивидов и занимаемыми ими социальными позициями.

Законы наследственности гласят: нельзя рассчитывать, что дети тех, кто умел повелевать, наделены теми же способностями. «Если бы элиты среди людей напоминали отборные породы животных, в течение долгого времени воспроизводящих примерно одинаковые признаки, история рода человеческого полностью отличалась бы от той, какую мы знаем». Поэтому постоянно происходит замещение старых элит новыми. Парето пишет: «Феномен новых элит, которые в силу непрестанной циркуляции поднимаются из низших слоев общества в высшие слои, все-

сторонне раскрываются, затем приходят в упадок, исчезают, рассеиваются».

По мнению Парето, в любом обществе идет бесконечный круговорот политических элит. Представим себе, что одна элита (лисы) хитростью заставила признать себя и вобрала в себя наиболее хитрые элементы населения. Тем самым она оставила вне себя людей, наиболее способных к применению насильственных методов. При таком отборе со временем оказываются с одной стороны отборные хитрецы (лисы), а с другой — люди, наделенные силой (львы). Как только львы находят вождя, знающего, как применить силу, они вступают в борьбу, одерживают победу над лисами и оказываются у власти.

И все начинается сначала!

Элиты приходят на смену друг другу... История становится их кладбищем. Массовые убийства и грабеж, по Парето, — внешний признак, который обнаруживает, что происходит смена лис сильными и энергичными львами.

Владимир Тимофеевич Медведев возглавлял охрану президента СССР Михаила Горбачева:

«Летом 1984-го мне поручили сопровождать в Болгарию Раису Максимовну Горбачеву. Мне наметнули, что эта поездка повлияет на мою судьбу. Руководство КГБ понимало, кто будет следующим Генеральным. Это понимала и Раиса Максимовна, каждый день спрашивая: «Какая информация из Москвы?» Но Черненко еще держался. Она подробно узнавала у меня, кто подбирает службу генсеку, кто входит в службу — повара, официанты, уборщицы, парковые рабочие, кто еще. Я был наслышан о ее са-

мовлюбленности и вздорности, но Раиса Максимовна сперва мне понравилась.

Придя к власти, Горбачев сменил свою охрану, которая верой и правдой служила ему семь лет, и не позаботился ни о ком из ребят. Так у нас было не принято. Меня ему представил мой начальник — генерал Плеханов. Горбачев спросил, чем я занимался. Я начал коротко рассказывать про службу при Брежневе, новый генсек перебил: «Знаю я, как вы там служили. Все офицеры пьянствовали». Так я познакомился с еще одной его манерой: спрашивать и, не выслушивая, самому же отвечать».

Телохранитель Горбачева, опубликовавший свои мемуары под псевдонимом Ян Касимов также не обошел вниманием жену и дочь Хозяина.

«Вообще, молва много сложила легенд о «первой леди», часть из них — не более чем легенды. Но мнение, что Р. М. энергично вмешивалась в политику, не лишено оснований. Вспоминаю, как Р. М. на тропинке долго, настойчиво пыталась «уломать» мужа в одном назначении. Наконец М. С. не выдержал, рубанул рукой воздух: «Я со своими министрами сам как-нибудь разберусь!»

Конечно, это был исключительный случай!

Но вообще М. С. в узком кругу мог не раз «матюгнуться».

Для разрядки.

Мои коллеги, работавшие с Горбачевым до того, как М. С. стал первым человеком страны, вспоминают, что тогда Р. М. была совсем другой. Она могла кататься за городом на велосипеде, общаться с окружающими. В общем, вела себя вполне естественно.

К сожалению, я застал ее уже взбалмошной, избалованной всеобщим вниманием и внешним поклонением женщиной. Впрочем, «благодарить» за это следует ее и ее ближайшее окружение. Сколько раз я слышал семейные голоса Кручины, Болдина, обращенные к ней. Но только ли они? Высокопоставленный дипломат умилялся: «Ах, какой у вас замечательный английский! Это же Нью-Йоркский диалект!»

Кстати, о дочери Ирине. Она все эти годы ездила на машине мужа, в «Жигулях» — «восьмерке» — цвета мокрого асфальта. Анатолий, правда, их несколько раз разбивал. Тогда на заводе по спецзаказу делали новые, но точно такой же марки и цвета. И за Ириной, и за Анатолием всегда, без исключения, следовала машина с «целью наружного наблюдения». Это делалось так аккуратно, что супруги могли не замечать, хотя, наверное, догадывались. В любую минуту дня и ночи Горбачев мог спросить: «Где Ирина?» — и ему немедленно давали исчерпывающий ответ.

Знал он все и об Анатолии, о том, для чего тот вечерами, случалось по несколько часов, просиживал в гараже. Поэтому М. С. не раз проводил с ним воспитательные беседы на тему «трезвость — норма жизни».

На скорости двести километров в час мы влетаем на дачу (подмосковная Барвиха-4). Кругом редкостный лес: реликтовые корабельные сосны. Дача невысокая, но просторная, с небольшим бассейном, каминным залом, домашним кинотеатром, двумя спальнями на втором этаже, кабинетом и гостиной.

Есть еще дань номенклатурной традиции — бильярдная. Ею М. С. вообще не пользовался. Он вообще не играл ни в какие игры, любой спорт игнорировал. Единственное, что действительно любил, так это спокойно поплавать, понежиться в бассейне, особенно по утрам, перед работой.

Дом был поделен на две половины. В одной жили М. С. и Р. М., в другой — члены семьи: Ирина, Анатолий, внушки Ксюша и Настенька. Иногда приезжали мама и сестра Р. М. И — все. Ни единого гостя, никаких шумных «посиделок». Жизнь затворников.

Если М. С. был пунктуален, то Р. М. — типичная «копуха». Когда за рубежом супруги готовились идти на официальный прием, то М. С. вечно ждал жену, которая мучительно долго выбирала, в какой наряд ей облачиться. Она пристально следила и за его внешним видом. Ходят многочисленные слухи о ее расточительности за границей. В зарубежных поездках я был при Р. М. только эпизодически и чего-то подобного не припомню. Скажу больше, у нее с собой не было не только «золотой» кредитной карточки, но и элементарной наличности. И приходилось как-то выходить из положения. Р. М. изобрела нехитрый способ — пользуясь тем вниманием, которое естественно или искусственно создавалось вокруг нее, она выбирала магазинчик и заходила «поглядеть».

В Мадриде — это была чуть ли не последняя их поездка в качестве главы государства и «первой леди» — Р. М. приглянулся парфюмерный магазин. Она зашла в него и, как написали в светской хронике, «выразила восхищение» дорогими духами. По практике нескольких лет она, видимо, предполагала,

что хозяин вручит приглянувшийся флакон в подарок.

На сей раз вышла осечка.

Тогда Р. М. в растерянности повернулась к начальнику протокола Владимиру Шевченко. Он же — хранитель финансов во время визитов. Шевченко, конечно, не мог отказать.

Другая зарубежная традиция Р. М., на сей раз совершенно невинная: посещение кафе. В составленной заранее программе непременно фигурировала «прогулка по городу», где полчаса уделялось «чашечке кофе» в какой-нибудь «забегаловке» на старинной площади».

Раиса Максимовна Горбачева рассказывала:

«Из массы впечатлений, которые остаются в моей душе после поездок Михаила Сергеевича в разные страны, главное — тысячи открытых, дружелюбных человеческих лиц.

Помню Дели, Нью-Йорк, Миннесоту, Прагу, Краков, Щецин, Берлин, Дортмунд, Штутгарт, Шанхай, Мадрид, Барселону, Рим, Мессину, Милан, Нагасаки...

Заполненные улицы и площади городов. На лицах симпатия и дружелюбие. В сердцах и глазах людей надежда и вера: мир может жить без насилия, мир может жить без войны.

Италия. Земля Данте и Петрарки. Россыпи памятников великой культуры. Соборная площадь Милана: мраморный удивительно красивый ажурный собор. И столь же удивительный и незабываемый всплеск чувств многих и многих тысяч собравшихся здесь людей. Миланцы приветствуют Михаила Сер-

геевича и делегацию. «Горби, Горби, Горби!» — не-
сется над площадью. Эдуард Амвросиевич Шевард-
надзе и я — рядом. Мы отстали от Михаила Сергее-
вича и пробиваемся через плотную массу народа.
Смотрю на него: на глазах — как и у меня — слезы.

«И ради этого, — сказал он мне тогда, — тоже
стоило начинать перестройку...»

Все любят говорить, но мало кто умеет слушать.
«Вздорная и самовлюбленная» Раиса Горбачева
предпочитала, чтобы на нее смотрели любящими
глазами, не переставая восхищаться. Как известно,
если сам себя не похвалишь — никто не похвалит.

Книга Раисы Горбачевой «Я надеюсь...» можно
назвать «похвалой себе». В предисловии к этому из-
данию жена первого и последнего советского прези-
дента объясняла причины, побудившие ее взяться за
литературный труд так: раз в обществе есть интерес
к жизни семьи Президента СССР, то лучше, чтобы
люди узнали о ней, как говорится, из первых рук».

Книга имеет подзаголовок: Раиса Горбачева рас-
сказывает о себе, прожитом и настоящем в беседе с
писателем Георгием Пряхиным.

«Детство — мир фантазии, мечты. Время тысяч
вопросов. И первых поисков ответов на них. Оно бы-
ло у каждого из нас. И тогда, в детстве, казалось, что
другого детства быть не может. Такое, какое было,
оно и дорого.

Ходили в школу, на пионерские сборы, потом на
комсомольские собрания. Гордились Магниткой,
Днепрогэсом, Комсомольском-на-Амуре, челюскин-
цами, Валерием Чкаловым, Валентиной Гризодубо-
вой. Восхищались подвигом Александра Матросова,

Зоей Космодемьянской, молодогвардейцами. Зачитывались книгами. Мечтали о далеких путешествиях, дальних странах, городах. Я лично мечтала быть капитаном дальнего плавания... Мечтали найти клад. Все время искали клад!

Я была первым ребенком в семье. По православной традиции меня крестили. Не в церкви — какая уж там церковь в 1932 году, в самый разгар борьбы с ними, церквями, — а на квартире у священника. Правда, имя выбрали не из святцев. Вы же знаете традицию: раньше священник предлагал имя, отыскивая его в святцах. А мое имя выбирали уже сами родители. Отец выбрал. Известно, как много у нас красивых народных, славянских, русских имен. А тогда уже появились и новые имена. Новые имена нового времени.

Среди моих сверстниц много Октябрин, Владилен. Стали появляться и имена новой интеллигентной волны — Нелли, Жанна, Алла. А отец назвал меня Раисой. Раечка. Он мне потом объяснил, что для него оно означало «рай». Райское яблочко.

Картинки моего детства лишены цельности. Они как бы рваны. Возможно, одна из причин — бесконечная перемена мест. В связи с частыми переездами семьи, мне пришлось менять много школ. Это, конечно, создавало определенные трудности. Каждый раз новые учителя, разный уровень преподавания, разные требования, другой школьный коллектив. И — в общем-то — неизбежный в подобных случаях повышенный интерес к новичку.

Учебник на четырех-пятерых. В годы войны — ежедневная миска жидкой похлебки на обед. Вспо-

минаю всех нас, тогдашних детей, одетых в фуфаячки, телогреечки, в лучшем случае — в курточки и «пальто» из домотканой или бумажной материи. Был такой материал — саржа. Первое настоящее пальто получила в подарок от отца с матерью, когда была уже студенткой университета. С каракулевым воротником, «бостоновое», как уверяет мама. Носила я его долго. Пальто помнит вся семья. Тогда отец по облигации выиграл тысячу рублей. И знакомые, рассказывает мама, помогли в сельпо купить его. Дефицит! Все помнят пальто — это была прямо веха в истории семьи. Даже подруги мои студенческие и те вспоминают его. Ведь все мы приехали в университет кто в чем — кто в материнском пальто, кто в чьей-то куртке. Так было.

Первая встреча — на вечере танцев в студенческом клубе Стромьнки. Михаил Сергеевич пришел со своими друзьями: Володей Либберманом и Юрой Топилиным.

Мы тогда не изучали свой гороскоп. Да, честно говоря, и не знали о существовании гороскопов. Это сейчас они в моде. А мы действительно не знали, что означает для нас знак Зодиака Козерог, под которым родилась я, или знак Рыбы, под которым родился Михаил Сергеевич. Не знали, будут ли устойчивы, согласно этим знакам, наши отношения или нет. Будет ли гармоничен наш брак. Даже не задумывались над этим. Нас это не волновало. Не коснулись нас и меркантильные соображения: наследство, родственные связи, чье-то положение, протекционизм. Нет. Не было ни наследства, ни родственных связей. Все, что мы имели, — это мы сами. Все наше были при

нас. «*Omnia mea mecum porto*», т. е. «Все свое ношу с собой».

В наши времена на катке крутили всегда одну и ту же пластинку. Пытаюсь вспомнить эту песенку. Почему-то больше ее нигде не встречала. «Вьется белый, какой-то там снежок. Догони, догони...» Да, только на катке крутили.

Больше я эту песню нигде никогда не слыхала. Не могу вспомнить. Но именно она звучала на Сокольническом катке.

Не забыть мне и встречу нового, 1954 года в Колонном зале. Елка, музыка. Кругом молодые лица, и мы. Помню, что окружающие почему-то обращали на нас внимание. Не знаю, почему.

Поженились мы накануне, осенью пятьдесят третьего.

Регистрировались в Сокольническом загсе, на другом берегу Яузы. Но когда вновь приехали в Москву и побывали там с Михаилом Сергеевичем, загса уже не нашли. Его перенесли во Дворец бракосочетаний. Сейчас на том месте какая-то коммунальная служба. А загс был как раз напротив нашего общежития.

Свадьба отшумела на Стромынке, студенческая, веселая, с песнями, тостами, танцами. Деньги на свадьбу, на новый костюм для себя и на мое «свадебное» платье (условно свадебное, возьмем это слово в кавычки: тогда специальные платья не шили. Да и колец обручальных не было. Но платье было новое) — деньги на все это Михаил Сергеевич зарабатывал сам. Родители, если честно, даже не знали о наших намерениях.

Расскажу вам подробнее о комнатке, которую мы снимали в Ставрополе, она встает перед глазами, как живая.

В ней с трудом умещалось даже наше тогдашнее «состояние». Кровать, стол, два стула и два громадных ящика, забитых книгами. В центре комнаты — огромная печь. Уголь и дрова покупали. Еду готовили на керосинке в маленьком коридорчике.

Здесь, в этой комнатке, в ночь под православное Рождество, 6 января 1957 года родилась наша дочь Иринка.

В роддоме в медицинском паспорте записали: «Вес при рождении 3 килограмма 300 граммов. Рост 50 сантиметров. Вес при выписке из роддома 3 килограмма 100 граммов. Здоровая.» Запись эту помню наизусть, а в те счастливые дни она для меня вообще звучала как музыка.

В том же году, благодаря усилиям коллег Михаила Сергеевича, мы получили «государственную квартиру».

У нас росла дочь. Ходила в городской детский сад. Училась в городской общеобразовательной школе. В обычной, рядовой школе микрорайона, где мы жили. Занималась музыкой, на каникулы ездила к бабушке с дедушкой в село. Жили мы всегда сами, без старших. И наша дочь делила вместе с нами радости и трудности тех лет. В меру своих сил помогала убираться по дому, готовить. Ходила в магазин, овладевала навыками составления домашней библиотечной картотеки и даже классификации и обработки моих многочисленных социологических анкет и документов. Надо сказать, Иришенька очень рано

научилась составлять библиотечную картотеку, а у нас в семье это — работа, поскольку книг в доме всегда было очень много.

Но ребенок есть ребенок. И я постоянно испытывала и испытываю чувство, что где-то в детстве обделила ее материнским вниманием... Не отдала столько, сколько могла, или еще точнее — сколько она того требовала. Родилась она у меня в то время, когда по закону декретный отпуск был всего два месяца. Материальные условия нашей жизни, трудности с работой не позволили мне хотя бы какое-то время жить на зарплату мужа. И я никогда не забуду, как ранним утром, недоспавшую, наспех одетую, едва не бегом несла ее в детские ясли, сад. А она приговаривает: «Как далеко мы живем! Как далеко мы живем!» Не забуду ее глазенок, полных слез и отчаяния, расплющенный носик на стекле входной двери садика, когда, задержавшись допоздна на работе, я опять же бегом врывалась в детский сад. А она плакала и причитала: «Ты не забыла меня? Ты не оставишь меня?» Вот так...

Она часто и много болела. Врачи, консультации, разные диагнозы, разные рекомендации — порой взаимоисключающие. Все это тоже не проходило мимо материнского сердца. Стараешься лишний раз не брать больничный лист: ведь на работе заменить тебя некому. Когда Иришка стала старше, она оставалась дома и одна. А малышкой, чего греха таить, я частенько вела ее с собой в институт. Она терпеливо сидела, играла в преподавательской, ожидая конца рабочего дня. Взрослые, заметив ее, задавали вопросы. И она с детской непосредственностью, шокируя

их, отвечала. «На кого ты похожа, девочка?» — «На папу — у нас совершенно одинаковая ладонь». — «Как тебя зовут, девочка?» — «Захареныш». — «Да?! А твою маму?» — «Захарик».

Еще в студенческие годы на одной из фотографий я, восемнадцатилетняя, напомнила Михаилу Сергеевичу Захарку с картины Венецианова, русского художника XIX века, «Захарка». И он стал так меня шутливо называть. Так и вошло это в историю нашей семьи. А сейчас, между прочим, повторилось — на новом витке. Недавно Настенька, младшая, четырехлетняя наша внучка, в присутствии весьма солидных приглашенных гостей на вопрос Михаила Сергеевича: «Где же Раиса Максимовна?» — вполне серьезно сообщила: «Твой Захарка пошел по лестнице». Приглашенные удивленно переглянулись и рассмеялись. Ничего не поделаешь, пришлось и им объяснить, кто такой «Захарка» и почему «Захарка».

Во втором классе Иришка писала сочинение «За что я люблю свою маму». Оказалось, за то, что у меня «много книг», за то, что «все студенты любят маму, потому что говорят маме «Здравствуйте!» и главное — за то, что «мама не боится волков». Я храню это сочинение.

Школу Ириша окончила с золотой медалью. За десять лет учебы, помню, в четверти у нее была только одна четверка: по черчению. Так же и мединститут окончила — вообще без четверок. И знаете, я этим горжусь.

В годы отрочества, юности дочь много читала. Только теперь признается мне, что очень часто — но-

чами, как она говорит, «втихаря». «Мне нравилось, — говорит, — что никогда и никто из вас не указывал мне, что можно читать, а что нельзя, мол, еще рано. Все книги в доме были в полном моем распоряжении». Ей это, как видите, нравилось! Любит читать художественную литературу и сейчас. Некоторые вещи Толстого, Гоголя, новеллы Мозама, пьесы Пристли, роман Митчелл «Унесенные ветром» перечитывает вновь и вновь. «Унесенные ветром», по-моему, вообще выучила наизусть.

В шестнадцать лет у дочери появилась и своя молодежная компания, свои музыкальные кумиры: Алла Пугачева, «Битлз», Джо Дассен, Демис Руссос, опера «Иисус Христос — супер-стар».

Правда, сейчас Иришка говорит мне, что ей больше всего нравятся танго 20—30-х годов. И так же, как и мы с Михаилом Сергеевичем, очень любит музыку Чайковского, его симфонии, балетную музыку. Любит «Аве Мария» Шуберта, «Паяцев» Леонкавалло, «Норму» Беллини. Налицо, если хотите, сближение вкусов «отцов и детей»...

В семьдесят четвертом поступила в Ставропольский мединститут. Недавно в интервью корреспонденту «Медицинской газеты» сказала, что после школы она осталась в Ставрополье, потому что не хотела расставаться с родителями. Кого из родителей не тронет такое признание?

На первом курсе института познакомилась со своим будущим мужем Анатолием. Училась в одной группе. Мать Анатолия врач-невропотолог. Отец — высокий, красивый, инженер-геодезист, преданный своему делу человек. Но он рано умер — в возрас-

те 56 лет. У него был рак. Перед смертью очень страдал. Об этом сейчас тяжело вспоминать... Дважды его оперировали в Москве — мы жили уже здесь.

В 1978 году Ирина и Анатолий поженились, и Анатолий вошел в нашу семью. Когда меня спрашивают, сколько у вас детей, я отвечаю: четверо, Ирина, Анатолий, Ксения и Анастасия. Но вырастила я все-таки одну дочь. Один ребенок в семье. Сегодня говорят, что работающая женщина с двумя детьми — это уже многодетная мать. Нелегко совмещать профессиональные, общественные обязанности с семейными, с ролью матери и жены.

«Искушения властью» для меня прежде всего означало новые, добавившиеся к моим ежедневным профессиональным, семейным заботам бесконечные тревоги и волнения, связанные с работой мужа. Сопереживание за судьбу дел в крае — это, конечно, прежде всего... Хотя в определенной мере новое положение изменило нашу жизнь и с другой стороны: оно улучшало материальное состояние семьи, возможности пользования медицинской помощью, расширило круг контактов, знакомств».

Владимир Соловьев и Елена Клепикова в книге «Заговорщики в Кремле» по своему трактуют искушения властью.

«Как секретарь ЦК, Горбачев получил в Москве пятикомнатную квартиру в правительственном доме на улице Алексея Толстого, откуда спустя три года переехал в еще более роскошную квартиру в доме 26 по Кутузовскому проспекту, где его соседями оказались Брежнев, Андропов и Черненко, и это тесное

соседство сыграло немаловажную роль в его дальнейшей карьере.

Предприимчивая Раиса Максимовна быстро обставила квартиру в 200 квадратных метров дефицитной финской мебелью, украсила ее дорогими бухарскими коврами, старинным фарфором и новинками западной техники. В отсутствие мужа она приглашала своих прежних приятельниц полюбоваться своей «королевской» — по советским стандартам — квартирой. Благодаря этому, мы и смогли ее вкратце описать.

Хотя Брежнев и брал Викторию Петровну за границу (в народе ее называли «бесплатным приложением к Брежневу»), ей было строго-настрого заказано говорить о политике, об экономике, о собственном муже и о фактах его биографии, а также обо всем, что так или иначе касалось внутренней жизни СССР. Единственные дозволенные ей темы были погода и семья, однако даже о собственной семье она была обязана говорить поверхностно, без интимных деталей. К этому надо было добавить тщательно придуманный «представительный» туалет для кремлевских жен за границей, который включал туфли на высоком каблуке, хотя у себя дома они явно предпочитали, ввиду своих габаритов, устойчивый низкий каблук.

Общительная и болтливая Галина Брежнева рассказывала, какая мука была для ее грузной матери носить эти обязательные модные узкие лодочки, в которые с трудом, как в знаменитое орудие пытки, втискивали ее распухшие от ходьбы ноги. Схожие муки испытывала прежде и Нина Петровна

Хрущева, но она хоть иногда во время неофициальных приемов потихоньку снимала туфли и давала отдохнуть гудящим ногам, а вот Виктория Петровна Брежнева — не смела. Короче, вряд ли заграничные турне кремлевских первых леди были для них легки и отрадны.

Впрочем, время шло, и старомодный, чопорный кодекс поведения кремлевских жен за границей был в срочном порядке модернизирован в приближении к европейскому вольному этикету Раисой Максимовной Горбачевой, которая оказалась на целых два поколения моложе своих «коллег».

Когда она прибыла с мужем накануне Рождества 1984 года в Англию, у нее, единственной из всех кремлевских жен, было свое, независимое от официального, расписание встреч и экскурсий. Вместо того, чтобы посетить могилу великого теоретика пролетарской революции Карла Маркса или, на худой конец, его музей (что ей, по крайней мере, полагалось как специалисту по марксизму-ленинизму), Раиса Максимовна отправилась осматривать королевские драгоценности, прихватив с собой мужа. Будучи женщиной тщеславной и модной, она разбила в пух и прах многолетнюю традицию солидного и непременно представительного гардероба кремлевских жен на официальных приемах (вспомним темную униформу и неизменное жабо мадам Брежневой) и предпочла модные шелковые блузки и удлиненные костюмы, попеременно сменяя белую норковую горжетку на шубу из нутрии, произведя сенсацию, появившись на приеме в советском посольстве в кремовом атласном платье и шитых золотом открытых туфлях.

«Что за контраст с другими женами советских руководителей, которые выглядят так, как будто их только что привезли со строительства сибирской плотины!» — писала одна из английских газет.

Даже по западным представлениям о поведении первой леди, Раиса Горбачева слегка перебрала с гардеробом, который меняла иногда несколько раз в день. Лондонский визит мадам Горбачевой был ее первым выходом в свет, и, наслаждаясь вниманием и восторгами западной прессы, она безусловно переувлеклась в своем женском тщеславии, которое никак не могла удовлетворить на Родине, где кремлевские жены живут как монастырские затворницы, хотя и в очень привилегированном монастыре. В отличие от Хрущева и Брежнева, которые во времена официальных заграничных поездок держали своих жен в железной узде, и также Андропова, который из профессиональной любви к тайнам, ухитрился само существование своей жены сделать проблематичным (советские и зарубежные граждане впервые увидели ее на похоронах), Горбачев предоставил своей жене полную свободу действий за границей.

Произошло это по той причине, что супруги Горбачевы более эмансипированы и современны, чем старомодные пары брежневского поколения, где жена всегда была домохозяйка, а муж — на правах добытчика.

Была и другая причина такой независимости и полной раскованности Раисы Горбачевой в ее первом официальном турне на Запад. Она всегда верховодила в своей небольшой семье, и Горбачева, в бытность его партийным секретарем в Ставрополе, шутливо

называли «подкаблучником». Когда же его провинциальная карьера пошла в гору, без особых усилий с его стороны (он был воистину «баловень судьбы» и, как одному сказочному персонажу, ему осталось только фартук подставлять под золотые яблоки, падающие с волшебной яблони), Раиса Максимовна продолжала ревностно опекать его, всячески подталкивала его честолюбие, заводила нужные знакомства. Уже в Москве, когда Горбачев взошел на Кремлевский престол, а Раиса Максимовна — в эзотерический круг кремлевских жен, она сохранила руководящую роль в семье, простирая ее даже на семью своей замужней дочери.

Поэтому в Англии, а позднее во Франции, Швейцарии, мадам Горбачева вела себя вольнее и чувствовала непринужденнее, чем все предыдущие кремлевские жены, как бы сознательно взрывая традицию их унылого, церемонного престарелого существования. Она позволяла себе даже шутливо пройтись на счет «скуки» марксизма-ленинизма, который сначала прилежно штудировала, а потом преподавала.

Однако шутки шутками, а Раиса Горбачева допустила серьезный тактический промах с точки зрения советской государственной морали.

Не совладав со своей страстью к драгоценным камням, которая сама по себе предосудительна для почетной представительницы государства рабочих и крестьян, Раиса Горбачева купила в фешенебельном лондонском магазине «Картье» бриллиантовые сережки стоимостью в 2500 долларов и расплатилась за них с помощью кредитной карточки «Америкэн Экс-

пресс». Это было уже беспрецедентное, из ряда вон выходящее событие: никогда раньше ни один руководитель Советского Союза, ни тем более его жена не имели «Америкэн Экспресс», наличие которой предполагает, что у владелицы имеется счет в одном из западных банков или, что значительно вероятнее, советское правительство, имеющее такие счета, оплачивает ее покупки.

Ведь даже Брежневу, с его почти патологической страстью к иностранным автомобилям, приходилось заниматься ловким вымогательством у правительств западных стран, чтобы добыть очередную машину-люкс для своей коллекции, в то время как жена будущего кремлевского лидера спокойно и даже демонстративно покупает бриллиантовые серьги за государственный счет. (Все члены Политбюро и Секретариат имеют право, разумеется, секретное и нигде не обнародованное, на «открытый счет» в Государственном Банке, откуда могут брать когда угодно и сколько угодно рублей, но не твердой, свободно конвертируемой валюты за границей!)).

Владимир Медведев:

Первое время личность Горбачева вызывала восхищение. После многих лет болезней и полусонного состояния Брежнева вдруг — вулкан энергии. Работа — до часу, двух ночи, а когда готовились какие-нибудь документы, он ложился спать в четвертом часу утра, а вставал всегда в семь-восемь. Пока поднимался от подъезда в кабинет, на ходу кому-то что-то поручает, советует, сообщает — ни секунды передышки.

Однажды я в полном восхищении сказал ему:

«Вы как будто родились генсеком». Он улыбнулся, ничего не ответил.

Я невольно сравнивал. Брежневы общались при мне как люди: «Леня, ты...», «Витя...» Эти — как на сцене: «Михаил Сергеевич...», «Раиса Максимовна, вы...» Однажды мы ехали по Кутузовскому проспекту. На фасаде дома, где жил Брежнев, была, приделана маленькая полочка. Каждый раз на ней лежали свежие цветы. Горбачев по пути на работу увидел эти цветы и прямо из машины позвонил Плеханову: «Ты проезжаешь мимо дома двадцать шесть? Полочку эту на фасаде видел?» На другой день не было ни полочки, ни цветов. Рядом с Брежневым я не чувствовал себя слугой, хоть и случалось обкуривать его среди ночи, оберегать от падений, разбавлять «зубровку» кипяченой водой, но при этом я никогда не был унижен, а тут — высокомерная отчужденность, скрытность и внезапные всплески резкости Горбачева, барстванные прихоти и капризы Раисы Максимовны... Тем более я с расстояния вытянутой руки наблюдал раздвоение человека, у которого полный разлад между словом и делом. Он привык общаться с народом, а не с людьми. Встретит по пути в Кремль итальянских туристов: улыбается, сфотографируется на память! А шел с моря на даче в Крыму и встречал местных электриков, так даже в лице переменялся и резко сказал мне: «Если подобное повторится, я покину эту дачу!» А в чем была их вина? Шли по делу, одеты были аккуратно. Брежнев, хоть и не объявлял себя демократом, спросил бы запросто: «Что случилось, хлопцы?»

Когда мы из ЦК отправлялись в Кремль, случа-

лось, шли пешком. Я старался говорить охране: не трогать людей, не привлекать к себе внимания. Некоторые прохожие просто не замечали нас, другие узнавали, улыбались, и все проходило спокойно. Но молодые охранники, шедшие впереди, нервничали, не выдержав, полушепотом, жестко говорили: «Посторонитесь, освободите дорогу». Люди расступались, терялись, и Горбачев, видя это, сердился: «Володя, ну что это такое?»

Он, как и Брежнев, не любил бронированную машину. Она была более тесной, с низкой крышей, вентиляция в ней хуже, окна не открывались. Но могучая, оконные стекла толщиной сантиметров семь, не меньше. Не только пуля, никакая граната не достанет. Разве что из огнемета или из пушки можно взять. На наши рекомендации по поводу безопасности Горбачев отшучивался: «Что будет, то будет — от судьбы не уйдешь».

Все помнят: когда в СССР полыхали межнациональные войны, Горбачев в Швеции получал Нобелевскую премию мира. Он произносил речь, зал полон. Вдруг из рядов встала женщина с букетом цветов и двинулась к сцене. Ни один из сотрудников шведской охраны ее не остановил. Она свободно дошла до первого ряда. Тут ее притормозил сотрудник нашей охраны: куда и зачем вы идете? Она: хочу вручить Горбачеву цветы. Он: надо подождать, пока Михаил Сергеевич кончит говорить. Поняв, что ее не пустят, женщина громко закричала грязные ругательства и проклятия в адрес Горбачева, из зала ее поддержал мужской голос, генсек замолчал, в зале зашумели. Только тут шведская охрана спохвати-

лась и вывела обоих из зала. Оказалось — жители Афганистана, акция была спланирована. В лучшем случае она бы бросила цветы в лицо, а в цветах могло быть все, что угодно.

Находясь с визитом в Киеве, президент по своему обычаю, а точнее по обычаю Раисы Максимовны, решил показать себя народу: неожиданно для нас остановил машину и вышел на людную площадь. Охрана расположилась по боевому расписанию. Внезапно из задних рядов в сторону президента полетел кейс. Офицер охраны Беляков на лету перехватил его, прижал к животу, закрыл своим телом и бросился в сторону от Горбачева, он думал, что в чемоданчике взрывчатка. К счастью, взрыва не последовало. Того, кто бросил, так и не нашли. Возможно, это был отвлекающий маневр, а угроза таилась в другом источнике. Да и без всяких других угроз, если бы кейс попал в голову Горбачева — выходка бы оправдала себя. Андрея Беликова наградили ценным подарком. Михаил Сергеевич, увлеченный собственным красноречием, так ничего и не заметил.

В Америке президент тоже любит поговорить с гражданами, но там у охраны заранее есть расписание: где остановится, сколько пробудет, а у нас президент выходил из машины там, где заблаговременно ждала его жена. Внушить ему, что это ни на что не похоже, не получалось: «Это что же, охрана будет учить генсека?» В итоге ситуации получались безобразные, возникали давка, аварийные ситуации, люди получали синяки и ушибы, сколько раз мы просто чудом избегали трагедии, когда огромная масса народа могла смять и раздавить стариков, женщин, де-

тей, — Горбачев рисковал чужими жизнями, он знал, что его самого охрана всегда спасет. Насмотревшись на приемы Горбачева в США, один американский охранник очень точно сказал: «Это очень не-серьезные игры!»

На отдыхе в Крыму я, отпустил двух женщин из obsługi в Ялту, у них был выходной: они попросились съездить в магазин за школьными тетрадками, в Москве их было не достать. А супруге генсека вдруг потребовалась свободная от работы женщина. Узнав, что я их отпустил, да еще в магазин, она устроила разнос всей obsługi, вызвала меня к подъезду, привела мужа, я спокойно все объяснил, что забочусь о людях. Михаил Сергеевич распалился, закричал, что заботиться о людях не мое дело, о людях заботится государство, а мое дело — поменьше своеволия!

Думали, но Раиса Максимовна (как всегда, решала она) изрекла: «Поменяешь — такие же придут».

Жена первого президента СССР во время визитов любила менять наряды раз по пять в день. Прилетели в Ташкент для встречи с лидером Афганистана Наджибуллой. После прибытия Раиса Максимовна решила поменять костюм, вызвала меня: где вещи? А вещи в дороге, местные гаишники не разобрались и притормозили машину с багажом. Еще раз она меня спросила, потом еще, а потом вызвали меня уже вдвоем, накачала она мужа крепко, он еле сдерживался: «Почему так долго не было вещей? А какого черта ты здесь делаешь?» — «Я занимаюсь своими обязанностями». — «На хрена ты мне здесь нужен, ты должен был вещи доставить!»

Он так кричал, что крик разносился по всему коридору. Я вдруг почувствовал, что он готов меня ударить, лицо его покрылось краской: «Прилетим в Москву — я тебя выгоню!» — «Я готов».

Особые хлопоты доставляли нам взаимоотношения супруги президента с телекорреспондентами. Она требовала, чтобы кассеты с записями давали ей на просмотр, и всегда спешила к программе «Время», чтобы увидеть себя. Но снимать ее было сложно. На встречах, приемах стоит при Михаиле Сергеевиче спокойно, а как только наводят на нее камеру, тут же начинает кому-то указывать, поднимать зонтик и потом делала замечания: снимают «неудачно».

Кто-то осмелился намекнуть Горбачеву, что, может, не стоит так часто брать жену в поездки, он резко ответил: «Ездила и будет ездить».

Борис Ельцин в своей «Исповеди на заданную тему» писал: «Может быть, я выскажу небесспорное мнение, но, думаю, перестройка не застопорилась бы даже при всех тех ошибках в тактике, которые были совершены, если бы Горбачев лично мог переломить себя в вопросах спецблаг. Если бы сам отказался от совершенно ненужных, но привычных и приятных привилегий. Если бы не стал строить для себя дом на Ленинских горах, новую дачу под Москвой, перестраивать еще одну дачу в Пицунде, а затем возводить новую суперсовременную под Форосом. И в конце концов, с пафосом говорить на Съезде народных депутатов, что у него вообще нет личной дачи. Как же лицемерно это звучало, неужели он сам этого не понимал? Все могло бы пойти иначе, ибо не была бы утеряна вера людей в провозглашение лозунги и са-

мые чистые преобразования. А когда люди знают о вопиющем социальном неравенстве и видят, что лидер ничего не делает, чтобы исправить эту бесстыдную экспроприацию благ высшей партийной верхушкой, испаряются последние капельки веры.

Почему Горбачев не смог этого сделать? Мне кажется, тому виной его внутренние качества. Он любит жить красиво, роскошно, комфортно. Ему помогает в этом отношении его супруга. Она, к сожалению, не замечает, как внимательно и придирчиво следят за ней миллионы светских людей, особенно женщины. Ей хочется быть на виду, играть заметную роль в жизни страны. Наверняка, в сытом, богатом, довольном обществе это было бы воспринято нормально и естественно, но только не у нас, по крайней мере, не сейчас.

Это тоже ошибка Горбачева, он не чувствует реакции людей. Да, впрочем, откуда он может ее чувствовать, если прямой и обратной связи с народом у него нет. Его встречи с трудящимися — маскарад, да и только: несколько человек стоят, разговаривают с Горбачевым, а вокруг целая цепь охраны. А людей этих, проверенных, изображающих народ, на специальных автобусах подвозили... И всегда это — монолог. Ему что-то говорят, а что, он не слышит и слышать не хочет, говорит что-то свое... да, картина, не веселая.

А «ЗИЛ» для жены? А инициатива Горбачева поднять заработную плату составу Политбюро? Люди все это как-то узнают, скрыть ничего невозможно. У меня дочери на работе получают по куску мыла в месяц, хватает с трудом. Когда жена по два, по

три часа в день ходит по магазинам и не может купить самого элементарного, чтобы накормить семью, даже она — спокойная, уравновешенная — начинает нервничать, переживать, расстраиваться».

ПОЖЕНИЛИСЬ В ДЕНЬ ДЕСАНТНИКА

«Любовникам достаточно нравиться друг другу своими привлекательными чертами, но супруги могут быть счастливы лишь в том случае, если связаны взаимной любовью или хотя бы подходят друг другу своими недостатками». Так писал в XVIII веке французский литератор Никола-Себастьян де Шамфор.

Прислушайтесь к его словам: «Любовь, по-видимому, не ищет подлинных совершенств; более того, она их как бы побаивается: ей нужны лишь те совершенства, которые творит и придумывает она сама. В этом она подобна королям: они признают великими только тех, кого сами и возвеличили.

Наихудший из неравных браков — это неравный брак двух сердец».

Корреспондент «Комсомольской правды» в мае 1996 года посетил Любовь Алексеевну Грачеву на даче. Тогда еще Павел Сергеевич был министром обороны России.

— Наверное, надо рассказать, как мы познакомились? — говорит Любовь Алексеевна. — Все произо-

шло совершенно случайно, как это обычно и бывает. Однажды подружка позвала меня на танцы в клуб, там я Пашу и увидела. Он сразу понравился, я ему тоже приглянулась, но... Мешало одно обстоятельство: я собиралась замуж за другого, вопрос, можно сказать, уже был решен. С тем моим кавалером мы очень давно дружили, и вдруг — Павел. Все перемешалось, у меня в голове. Любовь!

Не знаю, можно ли рассказывать это о министре обороны, но Паша даже бегал ко мне в самоволку. И всегда приходил с цветами. А когда его отпускали в увольнительную, цветов не дарил. Павлуше казалось странным: военная форма и цветы. Мне поэтому его самоволки даже больше нравились...

Я работала технологом на заводе, Паша учился на четвертом курсе Рязанского десантного училища. Поженились мы 2 августа, в День десантника. Честно говоря, специально не подгадывали, так получилось. Свадьба была шумная, гостей позвали очень много. Нам подарили 650 рублей, целое состояние по тем временам — четыре лейтенантские зарплаты. Вместо свадебного путешествия мы поехали в Каунас, к месту службы. До этого я практически нигде не была — мамина дочка, а тут — Литва, почти за-граница. Словом, мы все деньги потратили за три дня. Даже 30 рублей не осталось, чтобы за квартиру заплатить. На последние 11 рублей Паша купил мне билет в Рязань и отправил обратно к маме. Приезжаю с одной легкой сумочкой, меня встречает бабушка и давай голосить: «Говорила я, не надо было всего приданного отдавать. Он вещи забрал, а тебя выгнал. Мне Павел сразу не понравился, здоровый,

бугаина...» И соседи решили, что мы развелись. Только когда мне стали письма через день приходить, все успокоились...

Через два месяца Павел получил комнатку в разделенном на четыре части бараке, и я вернулась в Литву. Началась самостоятельная жизнь. В комнате стояла печка, мне нужно было ее топить, а я не знала, с какой стороны к ней подойти. Павел прибегает на обед, я сижу на полу, перемазанная золой, и реву. И готовить я тогда не умела. Паша терпел, молча проглатывал мою отварную вермишель с жареной колбасой, пока к нам в гости не приехала моя сестра и не привезла нам мамину кулинарную книгу. Зато потом у меня такие таланты открылись! Все, кто пробовал мои блюда, говорят, что очень вкусно. Я теперь миллион рецептов знаю. Кстати, попробуйте мои пирожки, я их специально испекла. Эти — сладкие, а эти — с капустой...

— Спасибо, но может, сначала вопрос?

— Вы спрашивайте, спрашивайте.

— Много за мужем попутешествовать пришлось?

— Ой, много! Нас практически через каждые два года переводили на новое место.

— Став офицерской женой, вы уже не работали?

— Нет, когда муж служил в Рязани, я вернулась на завод. Потом была и машинисткой, и бухгалтером, бралась за то, что предлагали в гарнизоне. Окончательно я оставила работу после возвращения Паши из Афганистана и переезда в Москву. Супруг настоял на моем переходе в домохозяйки, да и я не возражала, поскольку по натуре человек семейный, меня никогда никуда не тянет, дом для меня — все. Я

очень люблю шить, и себя одевала, и детей. Сейчас, правда, в моем шитье уже нет необходимости...

— Вы с мужем ездили в Афганистан?

— Нет, туда брали только жен советников, а Павел был командиром. Всего он провел в Афганистане пять с половиной лет. Раз в год муж приезжал в отпуск, а в остальное время писал письма. Я их все сохранила — огромная пачка. Даже стихи в мою честь сочинял. Никогда не жаловался, ничего не рассказывал о службе. Одна фраза: «Не волнуйся, у меня все хорошо». Я только через время узнала, сколько у него была ранений и контузий... Помню, приехал Павел в отпуск в Фергану, переодевается и как-то боком стоит, словно от меня прячется. Я присмотрелась и ахнула, увидев огромный безобразный фиолетовый шрам, идущий от колена почти до ступни. Наверное, без ноги можно остаться... Я чуть в обморок не упала. Молодая была... Потом выяснила о других ранениях, о том, что гепатитом болел...

— Догадываюсь, ваша жизнь круто изменилась, когда вы стали женой министра. Хочу услышать, в какую сторону, на ваш взгляд, изменения произошли.

— Сложно ответить... Конечно, в худшую. Я всегда в душе возражала против этого назначения, и Паша не рвался к должности. В первый раз, в августе 91-го, он отказался, тогда министром стал Шапошников. А в мае 92-го мужа, как я поняла, поставили перед фактом. Я узнала о случившемся в Рязани, где Сережа заканчивал четвертый курс десантного училища. 17 мая мы праздновали день рождения сына, когда мне позвонили из Москвы. Честно

скажу, у меня от новости оборвалось сердце, я очень испугалась. Понимала, какая жизнь нас ждет. Но предвидеть, что на Пашину долю выпадет и октябрь 93-го, и Чечня, конечно, не могла.

И для семьи это все не прошло бесследно. Я теперь почти не вижу мужа, он постоянно в своих мыслях, заботах. Помню, собрались, наконец, отдохнуть в Сочи. Ночью накануне отъезда вижу: не спится мужу, что-то его беспокоит. Он, когда волнуется, вслух разговаривать начинает. Спрашиваю: о чем думаешь? Отвечает: где найти деньги, как заплатить офицерам зарплату? Я даже не выдержала: Господи, спи, не изводи себя! Хочешь, мы продадим все, что имеем, это делу поможет?

— Есть что продавать?

— Ждете рассказа о семи дачах — на Кипре и в других частях света? Павел Сергеевич уже пообещал подарить эти дачи тем, кто их найдет. У нас есть одна-единственная — в Архангельском. И пресловутого «Мерседеса» у нас не было и нет. А вот «Волгу» могли бы отдать. Кое-какие мои побрякушки. Пожалуй, это все.

У нашего Сережки имеются отцовские «Жигули», правда, уже достаточно старые.

— А дача, на которой мы сейчас беседуем?

— Это все служебное. Здесь когда-то жил член Политбюро Демичев. Видите лифт, ведущий на второй этаж? Раньше многие вожди были немощными, не могли сами в спальню подняться. После Демичева дача пустовала лет семь, пока нам не приказали заехать.

— Вам здесь понравилось?

— Тяжело жить в чужом доме. Очень уж все казенно. Мы на даче ничего не меняли, не перестраивали, я только какие-то безделушки расставила, чтобы хоть немножко очеловечить вид. Мешает сознание, что ты тут временно. На мебели бирки с инвентарными номерами, на коврах, картинах и даже на постельном белье — штампы... Правда, в последнее время с казенным бельем сложнее стало, дают его меньше и реже, допроситься нового трудно, поэтому я привезла из города свое домашнее, им пользуюсь. Видимо, у правительства денег нет не только на зарплату офицерам, но и на белье для министров...

— Камин в гостиной для декорации или вы им пользуетесь?

— Павлуша очень любит зажигать камин. В семейные торжества всегда собираемся здесь.

— Вы по-прежнему готовите?

— Честно говоря, у нас есть некому. У старшего сына семья, он живет отдельно. Наш младший, Валера, и Павел любят яичницу с... тем, что раньше называлось салом, а теперь зовется беконом. Часто могут уехать без завтрака, выпив по стакану сока. Паша у меня ванька-встанька. Спит мало. Никогда не встает в постели. Проснулся, вскочил, побежал. Встает без будильника, его у нас отродясь не было. Не позже половины седьмого уже на ногах.

— Вам тоже приходится вставать?

— Даже если Паша и не завтракает, все равно любит, чтобы я его провожала. И для меня эти минуты дороги. Хоть пылинку с кителя стряхнуть... Возвращается домой поздно вечером, не раньше де-

вяти. Уже не до ужина. Раньше у нас был ритуал вечернего чаепития, когда мы обменивались новостями, беседовали, сейчас это уже ушло. Готовить себе одной не хочется, поэтому...

— Вопросов, почему поздно приехал, не задаете?

— Поначалу пыталась. После Академии Генштаба, когда муж приходил домой строго в восемь вечера, трудно было привыкнуть к новому графику жизни. Раньше и в театры ходили, и в кино. Сейчас практически нигде, кроме официальных приемов, не бываем. Ему некогда, а я одна не пойду.

— Кто в семье финансами распоряжается?

— Я. Павел на это даже внимания не обращает. Отдает мне зарплату и больше ни во что не вмешивается. Ему достаточно карманных денег. Какие у него траты? Только на сигареты. Насколько я знаю, министров государство кормит бесплатно.

— И одевает?

— Военную форму выдают, как положено. А гражданские костюмы мы шьем или покупаем в магазинах, как все.

— Сколько сегодня зарабатывает министр обороны?

— В последнее время муж приносит около трех миллионов.

— Каково быть женой опального министра?

— Я мужа опальным не считаю. Я устала ждать и бояться. Все перегорело. Думаю, для меня отставка мужа станет облегчением. Скорее бы все закончилось!

— Это вы так думаете. А что муж по этому поводу говорит?

— Он тоже успокоился. Нельзя вечно жить на взводе.

— Вы обсуждали, что будете делать после отставки?

— Жить! Павел Сергеевич без работы не останется — уверена. Если вы спрашиваете, готовит ли муж запасной аэродром, то это не в его характере.

— Но и добровольный уход — тоже не его стиль?

— Говорила: уйди! Муж отвечает: я дал слово офицера президенту и буду держать его до конца.

Но мне-то видно, какой ценой эта верность достается.

— Говорят, у Павла Сергеевича даже был микроинфаркт?

— Неправда. Если бы что-то случилось подобное, я бы заставила мужа подать в отставку. Его здоровье дороже поста. Для меня самое главное сегодня — удержать Павла, не дать ему сорваться. Сама тоже закаляюсь. Сначала жутко переживала, даже в госпитале месяц лежала, стресс снимала, а сегодня научилась и на откровенные оскорбления не реагировать.

— Неужели к этому можно привыкнуть?

— Полагаете, у меня есть варианты? Травля ведь продолжается с момента гибели Димы Холодова. Первая мысль, когда я об этом услышала: «Господи, за что этого мальчишку? Не он, так другой писать будет». В то, что мой муж причастен к гибели, я сразу не поверила. Но сделать убийцей попытались Павла.

Потом Чечня добавилась, и — пошло-поехало. В чем мужа только не обвиняли!

— Наверное, не без оснований?

— Я жена. Мне трудно судить беспристрастно.

Его обвиняют в крови, в бездумных приказах, но я-то помню, что в ночь перед вводом войск в Чечню мы оба не спали, даже не ложились. Это были страшные часы. Павел ходил из угла в угол, курил. Он знал, чем все может закончиться.

На долю мужа много всякого выпало, но Чечня — самая большая его боль, поверьте.

И для меня это даже хуже Афганистана. Хуже, чем октябрь 93-го: Павел шел по мосту через Москву-реку в сторону «Белого дома», а я даже глаза закрыла, ожидая выстрела снайпера... Помню, в августе 91-го сын по радио услышал сообщение, что за отказ выполнять приказ министра обороны СССР Язова генерал Грачев арестован и помещен в «Матросскую тишину»... Но в тех случаях я переживала за жизнь Павла, а в Чечне за всех наших солдат. У меня ведь два сына. Всегда думаю: не дай Бог, и с моими что-нибудь случится.

— Пока Павел Сергеевич министр, пожалуй, не случится.

— Почему вы так думаете? Моим мальчикам приходилось рисковать жизнью, и не раз. Поверьте, мне было бы даже легче, если бы сыновья прошли Чечню...

— Солдатские матери к вам обращаются?

— Да. Стараюсь помогать, но многое ли в моих силах?

— Наверное, вам приходит много писем с проклятиями?

— Возможно, меня бережет окружение Павла

Сергеевича, не всю почту показывает, но в той, что до меня доходит, ругательных посланий все же меньше, чаще — просьбы. Правду сказать, после начала войны я даже побаивалась на людях появиться, однако за все время мне ни один человек плохого слова не бросил, ни один!

— Вы всегда позволяете себе говорить мужу в лицо то, что думаете?

— За это он меня даже называет «моя внутренняя оппозиция». Никто ему не скажет того, что я скажу. Поэтому и новости по телевизору всегда смотрю, если армию критикуют (там завшивели, там голодают...), обязательно записываю, потом Павлу все пересказываю.

— Злится?

— Сначала я думала, что он относится к моим рассказам безразлично, а потом заметила: все запоминает и пытается решить вопросы.

... Мой муж ничего не забывает. Вы спрашивали, как можно к плевкам в душу привыкнуть? А к изменам тех, кого считали друзьями? Павел, по-моему, до сих пор простить не может, что его Кондратьев и Лебедь предали. Ведь столько вместе было прожито, сделано, как это перечеркнуть?

Кстати, вспомнила забавный эпизод. Когда муж командовал ротой в Рязанском училище, у него взводами были лейтенанты Кротик, Лисицын, Лебедь. Бывают же такие совпадения — фамилии, как на подбор. Комбат роту Грачева даже называл уголком Дурова, что не мешало ее всегда признавать лучшей. Я это помню и Павел помнит, а помнят ли другие?

У мужа есть хорошая черта: он вслух никого не хает, хотя по натуре очень вспыльчивый.

— Крепкое слово в сердцах позволяет?

— При мне — никогда. Хотя иногда вижу: хочет выразиться от души, но что-то мешает.

— Может в гневе посуду бить, стулья крушить?

— Максимум — накричит. Хотя сыновей, бывало, и ремнем воспитывал. Старший как-то дневник с двойками в сугроб закопал. Снег растаял, дневник выплыл. Тогда отец Сережке и врезал: не за двойки, за вранье. Терпеть не может, когда обманывают.

Кстати, когда на мужа накат начался, даже детей к делу приплели. То напишут, что Сергею дачу подарили, то сочинят, будто он в Германии служил. А старший наш полтора года провел в Забайкалье в Могоче.

Только после свадьбы вернулся в Москву.

— Вы уговорили мужа перевести сына?

Ой, да. Плакала, умоляла, Павел долго отказывался, я сломала его аргументом, что нашей снохе придется бросать университет и ехать в эту проклятую Богом Могочу... Убедила.

Сейчас у сына замечательная семья. Сережа и Оля растят нам внука — Игорька. Малышу семь месяцев.

— В чью честь назвали?

— Не в честь, просто так. Молодые хотели, чтобы был еще один Павел Сергеевич Грачев, но я возражала. Зачем обижать сватов, родных Оли?

— Павел Сергеевич ревнивый?

— Если я с кем-то подолгу разговаривала или танцевала, мог подойти и строго посмотреть. Я знала

границы, которые нельзя нарушать, серьезных оснований для беспокойства мужу не давала.

— А он вам?

— У нас все в семье строится на доверии. Конечно, я получала письма от «доброжелателей», особенно когда муж в Афганистане был, но я верила Павлу. Он обманывать не стал бы, скорее ушел бы из семьи. Случались и ссоры, и размолвки, но до серьезного не доходило. Знаете, мы 27 лет вместе, а у меня чувство, словно встретились вчера. Может, это потому, что редко видимся, успеваем соскучиться?

— Будь ваша воля, кем бы вы хотели видеть Павла Сергеевича?

— Как будет, так и будет. Это его судьба. А значит, и моя.

БЕЗ ЗАТЯЖНЫХ ССОР

Пусть женщина любит, пусть любовью покоит и вдохновляет мужчину, пусть она будет непреодолимо верна своему мужу — таков идеал. Он, конечно, прекрасен.

Слова Сенеки «считай себя счастливым тогда, когда сможешь жить у всех на виду, когда стены будут защищать тебя, а не прятать» можно вполне отнести к Инне Лебедь, давшей интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Елене Левиной.

— Я за своим мужем в самом деле, как за каменной стеной. Это правда, — говорит Инна Лебедь.

— И как это на семейной жизни отражается, кто вообще в доме хозяин?

— Когда муж переступает порог дома, он сразу становится другим. Расслабляется. Готов подчиняться. Сам говорит, что его жена на звание выше. Он — генерал-лейтенант, а я, выходит, — генерал-полковник.

— Я знаю, что муж вас Иннушкой зовет, а как вы его?

— Когда познакомились, я его Шуриком звала. Очень долго. А потом как-то так случилось, что перешла на Сашу. Иннушка — это когда очень интимно. А так, в семье, когда нас много и дети кругом бегают, то я — мамочка.

— Семья часто собирается вместе?

— По возможности. Очень весело бывает. Мой смех генеральский бас Лебеда только так перебивает. Кстати, меня уже упрекнули после интервью на НТВ, что смеюсь очень громко и неприлично. Но я не могу себя изменить.

— Конфликты в доме иногда случаются?

— Ну как же без этого. Я еще, видите, женщина импульсивная. Могу обидеться. На взгляд, на слово какое-нибудь. На то, что собаку муж резко в сторону оттолкнул, не так она ему под ноги попалась. Сразу могу надуться. Но я очень отходчивая. У нас тяжелых ссор не бывает.

— А кто первым идет на примирение?

— Чаще муж, конечно. Но если чувствую, что совсем виновата, то приходится первой сдаваться.

— Мудрая вы женщина...

— У нас так сразу сложились отношения. Саша

очень долго ухаживал за мной. Почти четыре года. Мне в этом плане очень повезло. Не хочу сказать, что я долго выбирала, прикидывала, приценивалась. У меня чувство пришло постепенно. Но он своего добился. Ухаживал очень нежно и очень красиво. Всегда огромные букеты роз дарил.

— Жена офицера — это профессия?

— Я закончила Рязанский педагогический институт, по профессии — учитель математики. Только поработать по специальности и дня не пришлось. Поженились, когда Лебедь перешел на второй курс Рязанского воздушно-десантного училища. Мама Саши — Екатерина Григорьевна — просила: вы с детьми поосторожнее. Мы заверили, что до окончания училища детей железно не будет. Но через год уже родился Александр. На выпуске — Катюша. Потом — Иван. 14 июня, как раз накануне выборов, младший заканчивает Суворовское училище в Твери. Поедем к нему на выпуск.

— Вы уже бабушка?

— Дочка, она в Туле живет, недавно вторую внучку подарила. Только до конца я себя в этом новом качестве не прочувствовала. И внуки для меня не стали важнее, чем дети. У меня, знаете, и дети всегда были на втором плане. После мужа. Он — главный. И я для него — на первом месте. Потом уже — внуки, дети.

— А правда, что Александр Иванович пить бросил?

— Уже три года назад. Только я до сих пор не разобралась: почему? Случилось так, что я одна сына уехала забирать на каникулы. А телефон в мос-

ковской квартире оказался отключен. Легла спать. В два часа ночи стук в дверь. Соседка сверху. Говорит, тебя муж разыскивает, что же ты трубку не берешь? Поднялась к ней, переговорила. Муж был страшно возбужден. Ему, видно, почудилось Бог знает что. Было это — 26 декабря. Вот с того дня, как выяснилось, муж и не пьет.

— Думали когда-нибудь генеральшей стать?

— Как-то не задумывалась об этом. Я не вижу особой разницы — жена лейтенанта, майора, генерала. Когда муж был командиром дивизии в Туле, сначала — полковником, а потом получил звание генерала, я думала — ну, сейчас обломится генеральская зарплата. А получилось — разница всего в 20 рублей.

— Сейчас вам, наверное, часто приходится выезжать вместе на официальные встречи, приемы?

— Мы просто привыкли, что, куда бы муж ни ехал по службе, то если мы могли ехать сразу, ехали. Мы так редко видимся, что любую возможность побыть вместе используем. В самолете можно лететь вместе или в поезде — целую ночь. У нас если есть свободная минута, мы тянемся друг к другу. Нам в любом случае хорошо — чай ли пить вместе, мультики смотреть. Или в нарды играть.

— Кто обычно выигрывает?

— По очереди. Я злюсь, если проигрываю. Проигрывать не люблю.

— В вашей нынешней жизни многое изменилось?

— Муж изменился. Мне теперь к нему приходится как бы заново привыкать. Уже в новом качестве. Плохо, что постоянно охрана рядом. Раньше вдвоем с мужем по лесу бегали, а сейчас — неудобно.

— Сзади бегут?

— Должны бежать. Большой минус, хотя, когда я с этим столкнулась в Приднестровье, там мне это было понятно. Сейчас не очень нравится.

— Вам как жене должно быть видней — может Александр Иванович стать президентом?

— Думаю, что может. Он к цели, если задастся, идет очень серьезно. И, как правило, своего добивается. Другой вопрос — радует ли меня это? Только куда деваться. Здесь мое мнение ничего не значит. Не получится? Я отнесусь к этому очень спокойно. Может быть, даже обрадуюсь.

— Тяжело из армии было уходить?

— Мне кажется, не случись Лебедю уйти из армии, вряд ли он так серьезно занялся бы политикой. Просто, может быть, на свою беду его кое-кто вытолкнул. Полжизни в армии прошло. Конечно, муж переживал. Но он сильный человек. У нас так по жизни сложилось, что муж меня бережет от всего этого.

— Как вы переживали Афганистан и жуткое известие о гибели мужа?

— Официально известия я не получала. Это были слухи. Я просто ждала. Надеялась. Нельзя было не надеяться. Кольца обручальные в армии не принято носить. Муж не стал носить, и я сняла. Когда в Афганистан проводила, сказала — буду носить, пока не вернешься. Недавно серебряную свадьбу сыграли и опять кольца надели.

— Теперь Александр Иванович в костюме и при галстуке ходит, наверное, непривычно ему?

— Мне кажется, он во всем этом не очень уютно

себя чувствует. А, главное, что я не очень могу ему помочь. Поскольку вся жизнь была вне этих забот. Я сама теперь в новом положении.

— Муж не советуем, какое платье надеть?

— У меня не такой богатый выбор. Пока. Потом, может быть, что-то изменится. Если уж доберусь до тех высот. Думаю, помогут. В смысле подскажут, что надеть.

— А чем вы своего могучего мужа кормите?

— Александр Иванович, неприхотлив, что есть на столе, то и ладно. Иногда попросит — свари борща, давно не было. А сказать, что любит что-то особое, нет. Он равнодушен к пище, и я тоже. Хотя готовить люблю. Печь. Особенно пироги. И рецепты у меня великолепные. У меня тесто чудесное получается. А куличи какие...

— Говорят, героя фильма «Особенности русской национальной охоты» с Лебедя списывали?

— Посмотрела. Почему-то все говорят — похож, а мне так не показалось. Я мужа в такой ситуации даже представить не могу. Он не любитель бани, охоты и прочих мужских развлечений. А вот по гри-бы любит ходить.

— А как насчет «упал — отжался»?

— Лебедь так никогда не говорил. А «Куклы» я очень люблю. Муж считает, что это остроумная передача. Он там скорее положительный герой. Каждую субботу жду эту передачу и тороплюсь посмотреть. Приобрела две кассеты на одном развале и очень довольна. Я сама люблю старые передачи смотреть.

— Собака у вас — преогромная, это что за порода?

— Бобтейл. Специально заказывали в московском питомнике. Интересно получилось. Приезжаем в Тирасполь, папа нас встречает на аэродроме с цветами. Щенок у меня завернут в одеяло. Спускаюсь с этим свертком, а муж его у меня берет. Ну точно младенца из роддома. Хорошо принял. Хотя всю жизнь был против живности. Пса зовут Чесли. Чесочка. Лапочка моя. Они с мужем борются. Играют. Любят просто поваляться. Мне нравится на них смотреть...

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Алмилуева С.* Далекая музыка. — М., 1992.
- Авторханов А.* Сила и бессилие Брежнева. — Посев, 1979.
- Бажанов Б.* Кремль, 20-е годы. — «Огонек», 1989, № 39.
- Бросс А.* Групповой портрет с дамой. — «Иностранная литература», 1989, № 12.
- Берия С.* Мой отец — Лаврентий Берия. — М., 1994.
- Буденная М.* Страницы большой жизни. — М., 1981.
- Ванденко А.* Внутренняя оппозиция министра обороны. — «Комсомольская правда», 1996, 5 мая.
- Возвращенные имена.* Сборник. — М., 1989.
- Гордеева В.* Девочка, которая боялась потеряться. — «Смена», 1993, № 2—3.
- Гордон Брук-Шеперд.* Судьба советских перебежчиков. — «Иностранная литература», 1990, № 6.
- Дзержинская С.* В годы великих боев. — М., 1975.
- Драбкина Е. А. И.* Ульянова-Елизарова. — М., 1970.
- Доднесь тяготеет.* Сборник. — М., 1989.
- Ельцин Б.* Исповедь на заданную тему. — М., 1990.
- Женщины в революции.* Сборник. — М., 1959.
- Касимов Я.* Подмосковные вечера последнего генсека. — «Московские новости», 1993, № 7.
- Ларина А.* Незабываемое. — «Знамя», 1988, № 10—12.
- Левина Е.* Инна Лебедь: мой муж — генерал-лейтенант, а я генерал-полковник. — «Комсомольская правда», 1996, 5 мая.
- Логинов А.* Мужчина и женщина. — Мн., 1987

Мастыкина И. Жены и дочери маршала Жукова. — «Комсомольская правда», 1996, 7 июня.

Медведев В. Человек за спиной. — «Совершенно секретно», 1996, № 5.

Медведев Р. Л. И. Брежнев. Личность и эпоха. — «Дружба народов», 1991, № 1.

Морозов О. Последний диагноз. — «Неделя», 1988, 28 сентября.

Папоров Ю. Покушение на Троцкого. — «Огонек», 1990, № 36.

Папоров Ю. Убийство Троцкого. — «Огонек», 1990, № 37

Самохин М. Анка-пулеметчица. — Версия-плюс, 1996, июнь.

Семенов В. Кремлевские тайны. — М., 1995.

Сопельняк Б. Загнанных лошадей пристреливают. — «Совершенно секретно», 1995, № 6.

Соловьев В., Клепикова Е. Заговорщики в Кремле. — М., 1991.

Троцкий Л. Дневники и письма. — М., 1994.

Троцкий Л. Моя жизнь. — Иркутск, 1991.

Хрущев Н. Воспоминания. — «Огонек», 1990, № 5—8.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	3
ВЕНЧАНИЕ ПОД ГЛАСНЫМ	
НАДЗОРОМ ПОЛИЦИИ	14
ТАНЕЦ ЖИЗНИ И СМЕРТИ	24
«ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ»	73
ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ	
ДРУЖЕСКИЕ ВЕЧЕРИНКИ	89
КАК ВАША ФАМИЛИЯ?	112
ТЕМНЫЙ УГОЛ	137
«АННУ МИХАЙЛОВНУ ЖДЕТ	
СТРАШНАЯ СУДЬБА!»	156
«ВСЕ МЫ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ, И ВСЕХ НАС	
АРЕСТОВАЛИ»	194
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ КРАСНЫХ ЯГОДОК	209
СКЕЛЕТ В ШКАФУ	233
«ТВОЯ ВЕРНАЯ СОБАКА»	257
АВАНС ЗА УБИЙСТВО ТРОЦКОГО	279
«СЕГОДНЯ ВЫ ЗДЕСЬ, ЗАВТРА ВАС НЕТУ»	294
ЗА ВЫСОКИМ КАМЕННЫМ ЗАБОРОМ	308
«ЧТО ДАЛО ПОВОД ТАК ПОЗОРНО	
ЗАКЛЕЙМИТЬ МЕНЯ?»	321
НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА	340
БРЕЖНЕВ ПЫТАЛСЯ ДЕРЖАТЬ	
СВОЮ ДОЧЬ В СТРОГОСТИ	353
НА СКЛОНЕ ЛЕТ ЕЙ ДОСАЖДАЛ ДОМОВОЙ.	384
ВЛАСТЬ НЕИЗБЕЖНОГО	402
«ДЕНЬГИ НА СВАДЬБУ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ	
ЗАРАБОТАЛ САМ»	431
ПОЖЕНИЛИСЬ В ДЕНЬ ДЕСАНТНИКА	459
БЕЗ ЗАТЯЖНЫХ ССОР	470

Научно-популярное издание

Краскова Валентина Сергеевна

КРЕМЛЕВСКИЕ НЕВЕСТЫ

**Редактор С. М. Зайцев
Ответственный за выпуск Л. М. Шейко**

**Подписано в печать с готовых диапозитивов 24.10.96.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская. Печать высокая
с ФПФ. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 25,62. Тир. 15 000 экз.
Заказ 909.**

**Фирма «Литература». Лицензия ЛВ № 1181. 220050, Минск,
ул. Ульяновская, 39.**

**При участии ТОО «Харвест». Лицензия ЛВ № 729. 220034,
Минск, ул. В. Хоружей, 21-102.**

**При участии МППО им. Я. Коласа. Лицензия ЛП № 82.
220005, Минск, ул. Красная, 23.**

**Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграф-
комбинат МППО им. Я. Коласа. 220005, Минск, ул. Крас-
ная, 23.**

**Качество печати соответствует качеству предоставленных
издательством диапозитивов.**

